

МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД

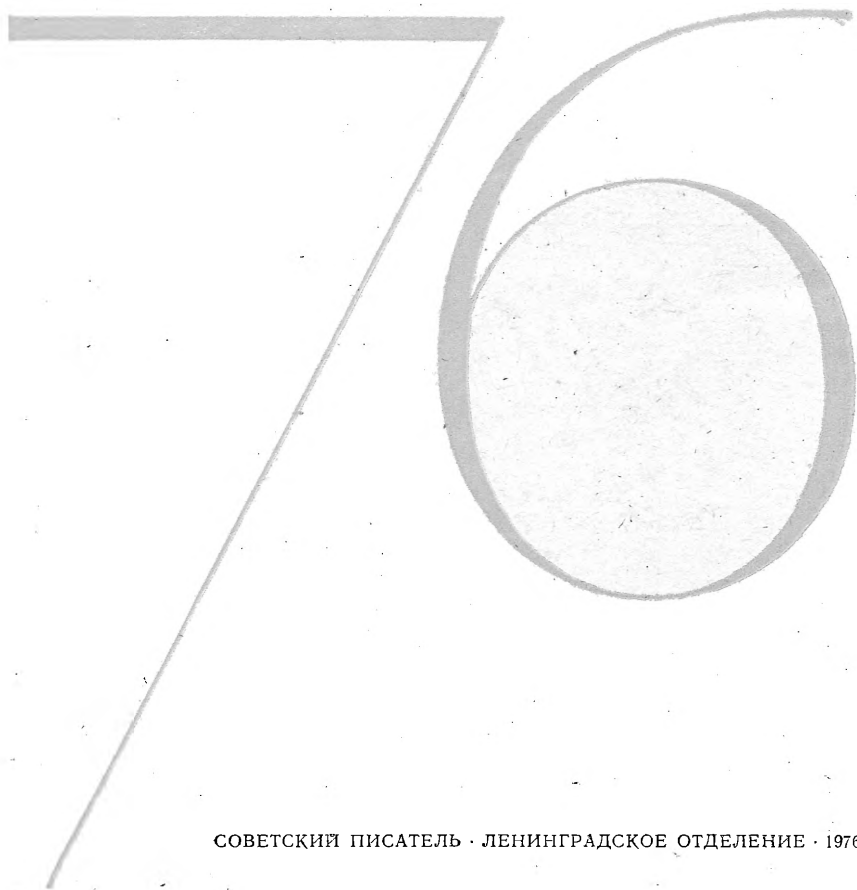
76

МОЛОДОЙ
ЛЕНИНГРАД



*Литературно
художественный
альманах
молодых
писателей*

МОЛОДОЙ **ЛЕНИНГРАД**



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1976

Главный редактор

П. Капица

Редакционная коллегия:

Арк. Минчковский

Н. Пантелеймонов (составитель)

А. Шевелев

С. Давыдов

Ю. Ростовцев

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.

СЕРГЕЙ ДРОЗДОВ

СЛОВО О КИРОВЦЕ

(Поэтическая хроника)

Константину Яковлевичу Яковлеву —
первому трактористу

1

Новейший,
 К-701-й,
оратай-75...
И нет у него
 соперников!
Рокочет стальная сталь,
сверкая веселой охрой,
подрагивает у ворот.
Суммируются эпохой
и пахота
и полет!

2

Из деревеньки Ларино
в далекий Ленинград
отстукал весть неладную
те-ле-граф.

На трактор понадеялись,
попродавали кляч,
а трактор лиходейский
заглох.
Хоть плачь.

Был ветер по-над юром,
угрозы не тая.
Был страшноватый юмор
в усмешках кулачья:

«Так как у вас там, значитца?
Коммуна, говоришь...
Мучица-то зана-а-адобится.
Ан —
шиш!»

Но прибыл парень в кожанке,
заводом отряжен.
Всю ночь корпел,
и ожил
«Путиловец-Фордзон»!

Спасенный от позора,
дымя, гремя, пыля,
по утречку
лазоровому
протарахтел в поля!

... А мастер знай покуривал,
глядел с-под козырька,
а трактор —
круг за кругом —
один
без седока!

Глазели обалдело
и поп
и агроном.
А мастер — эко дело —
руль закрепил
ремнем.

3

Финиширует главный конвейер,
где ворота в огромной стене.
Все готово, и через мгновенье
станет трактором больше в стране.

Вот уже испытатель в кабине,
хлопнул дверцей.

Сверкает капот
абрикосовой краской на синем
ослепительном небе ворот.

Только в этом же кадре,
в ста метрах,
упираясь под самый обрез,
настороженный танк
с постамента
смотрит трактору наперерез.

4

Переливается
синячище.
Тяжко зареванному сорванцу.
Помнишь, как после драки
мальчишкой
плакал и жаловался отцу?

Дышат соляжкой, пахотой, сталью
руки, крученые, как канат.
Глянет — придавит,
миску отставит,
кинет угрюмо: «Сам виноват».

Преодоленьем
ведал он землю
шире, чем собственный дом
и сад.

Пусть недороды!
Пусть невезенье!
Двигатель сильных — «сам виноват»!

Преодоление.
Преодоление!
Время и лемех!
Стройка!
Строка!
...Скачет твой циркуль,
ватман белеет
ростной пашней черновика.

Мы в коридорчик выйдем,
 закурим,
 ты подмигнешь мне: «Есть вариант!»
 Пульт дирижерский,
 трактор ли,
 кульман —
 двигает миром
 «Сам виноват»!

5

За окном едва
 пошевеливает
 обнаженные тополя.
 Засыпает в пашнях вельветовых
 запрокинутая Земля.

А старик все глядит насупленно,
 к ледяному стеклу приник,
 будто ищет в железном сумраке
 сорок третьего года
 миг,
 где, продутый сибирским ветром,
 тяжело шагнув к верстаку,
 оторвал уголок конверта,
 как из сердца
 рванул
 чеку!

.. Постреленок с корзинкой ягодной,
 в звонких россыпях заревых! ..
 «Ваш сын,
 старший сержант Яковлев,
 проявив. . .»

6

Пусть его колея
 пониже.
 Минсельмаш не Аэрофлот.

ВИКТОР ХВОЩЕВСКИЙ

КОРАБЛИК

Повесть

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЛЮДЯМ

Мое путешествие к людям началось много лет назад. От рождения до сегодняшнего дня прошло время длиною в четыре детства.

Когда я родился, то мама, наверное, сказала отцу: «Ну вот, теперь у нас есть ребенок». А отец ответил: «Пусть он узнает больше радости в жизни, чем мы».

Все самое первое было для меня непонятным и туманным. После моего рождения мы всего несколько месяцев жили на Калашниковской набережной, а потом переехали в Петроградский район.

Ходили по нашей новой комнате две женщины. Туда-обратно, туда-обратно. Пятна света из окон. А я стоял во весь рост, завернутый в одеяло. Мама меня на руках держала. Все! И опять ничего не было. Ни света, ни темноты. Словно и меня не существовало.

Когда прошло несколько лет, я вспомнил об этой сцене и рассказал родителям. Удивились они, но признались, что так и было.

Затем песня: «Улетел орел домой, солнце скрылось за горой...» — мама пела, меня спать укладывала.

— А как понять, кто родился, мальчик или девочка? — спросил я у нее однажды.

— Когда ребенок начинает говорить и первое слово будет «папа», значит, он мальчик, а если скажет «мама», то тогда девочка, — объяснила мать. — Ты сказал «папа».

— А я хочу быть девочкой, — попросил я, — девочкой.

— Но уже поздно, — возразил отец.

Тогда я заплакал, и родители уступили. Мама повязала мне большой розовый бант, он туго тянул волосы. Даже стало немного больно, но зато, как мне показалось, из меня получилась девочка.

Потом захотелось иметь собачку, не игрушечную, а живую. Но где ее взять?

Хлеб и булки продавали в булочной, в других магазинах продавали всякие продукты, а где взять собаку?

Я слышал, что их разводят. Разводят и чернила. Для этого надо взять воду и чернильный порошок, хорошенько размешать, и чернила готовы! Вода и порошок — это пища для чернил. Собак кормят водой, кашей и хлебом. И они растут!

Я нашел бутылку, налил воды, напихал хлеба, каши и спрятал все это под кровать.

Каждое утро я с нетерпением ждал, когда мама выйдет из комнаты, мне хотелось поскорее узнать, не получилась ли собака. Ее все не было и не было, а пока появился только подозрительный запах.

Мать обнаружила бутылку, узнала, в чем дело, и пообещала вместо собаки купить рыбок.

— Ведь собаку надо водить гулять, кормить, мыть. А кто будет этим заниматься? Ты маленький, — сказала она, — а мне некогда.

И правда, подумал я. Мы жили на третьем этаже. Меня одного на улицу не пускали. Там трамваи, автомобили, хулиганы-мальчишки.

О собаке оставалось только мечтать. Я даже о ней стишок сочинил — первый раз в жизни: «По улице Бак шел отряд собак, собаки все завыли и кошек победили».

Бак — я придумал для рифмы, чтобы было складнее.

А через тридцать лет узнал, что на свете действительно существует улица Бак. Она находится в Париже. Если буду там, то обязательно схожу на улицу моего детства.

Кинокартина «Солдатский сын». У колодца стреляют, бегут.

Свет зажгли. Не могу опомниться. Стали выходить. Головой верчу. Не понять, где все было? Кругом стены.

Потом я видел во сне всякие приключения, самые невероятные. Например, много-много маленьких свечек, они мерцают, как звезды на небе. Это «сачерня», — такого и слова-то нет в русском языке, а я проснулся и вспомнил, что видел во сне «сачерню». Почему «сачерня» — неизвестно.

Мама принесла жаворонка — из булки сделан. Глаза — изюминки. Изюминки съесть можно даже до обеда.

На улице продают живых раков.

— Купи, — прошу маму.

— Надо папу спросить. Они полтора рубля стоят.

Вечером отец говорит:

— Напиши цифрами полтора — купим.

— Не умею, — говорю.

— Тогда не купим.

Заплакал я. Лучи от лампочки разными цветами переливаются, как радуга. До чего интересно плакать и на лампочку смотреть.

На следующий день мама научила, как полтора цифрами написать. Оказалось, один рубль пятьдесят копеек.

Двух раков купили.

Взял рак лапками свой глаз, повертел, потер, потом другой глаз почистил. Осмотрелся. Видит, банка тесная, а их двое. Пошуршали они, пошептались, загрустили.

После я их в Неву отпустил. С разрешения моих родителей, разумеется.

А мне раков жалко. Замерзли они, наверное. Никто их там не согреет и не выручит из беды, как Герда своего брата Кая. Его заколдовала Снежная королева. Она сказала: «Поцелуй меня, мальчик». Кай сначала испугался, а после согласился. Почему испугался, я не понял, ведь перед ним была не ведьма, а королева, очень красивая, в платье из настоящих снежинок. Неправду какую-то показали в ТЮЗе, после я долго не хотел в театр ходить, чтобы опять не обманули. Сам-то я всегда правду говорил, если не считать того, как мы с Гришей в Поповке на глазах у взрослых собирали сморщенные яблоки-опадыши, складывали на игрушечный грузовик, возили за дом и... съедали.

— Хорошо дети играют, — радовалась бабушка. — Вы их там в кучу сыпьте, — советовала она.

— Сыпем, сыпем, — отвечал я.

КАК ОХОТИТЬСЯ НА ЗАЙЦЕВ

В Поповку, к бабушке на елку, я начинал собираться за-долго до отъезда. Клад на видное место компас. Старательно натирал свечкой лыжи, чтобы лучше скользили. Хотя мы их никогда не брали. Мама считала, что мне их тяжело нести, а у нее руки заняты. А я-то все мечтал зимой на зайцев поохотиться — из лука. Ружья-то у меня не было и быть не могло.

Главное, что зайца по следу можно найти. Где три лапки на снегу отпечатались, там перед, где одна — зад, — так Гриша говорил, а он всю жизнь в Поповке жил и в лесу часто бывал — то за дровами ходил, то за шишками для самовара.

И когда у нас было все готово к отъезду, я вечером с папой прощался, а утром со всем остальным.

— До свиданья, кубики, — говорил, — до свиданья, боженька, — это я иконе — там за стеклом две свечки уже начатые. С ними мама с папой венчались.

Каждый вечер мама вставала на колени и молилась, чтобы мы все хорошо жили, чтобы я не болел и слушался родителей. Икона маме принадлежала, а у папы бильярд был. Папа иногда и мне разрешал по шару ударить.

Но что это по сравнению с тем, чтобы вдруг оказаться в Поповке. Снег такой чистый, словно его из сахара сделали. Возле почты галки кричат, как мы в школе на переменке. Над крышами струйки дыма, потому что все печки топят. А я с мамой иду по Шестой дороге. Вот колодец с большим колесом, как у паровоза. А вот и бабушин дом. На калитке надпись: «Осторожно, злая собака» — это мой дядя про Янку написал. Только калитка скрипнет, а уже лай слышен. Наверное, Янка по комнатам бегает, всем сообщает, что мы приближаемся.

Дома натоплены печи. В гостиной тепло, ветер поет за окнами, мебель тонет в красноватом полумраке от керосиновой лампы. Из темноты поблескивают настольные часы. Под ними тяжелая скатерть, расшитая всякими узорами. Над циферблатом серебряные кони скачут в разные стороны, один в прошлое, а другой в будущее. В углу елка до самого потолка, на ней игрушки, свечи. . . В комнате — запах леса, какого не бывает даже в лесу. В кадках много растений: одни как зеленая паутина, другие с толстыми смешными листьями.

Мы садимся за стол, и на елке зажигают свечи, гасят лампы. Всюду трепещут призрачные тени. На столе в вазочках варенье из черной смородины и малины. Пыхтит самовар с маленьким чайником на голове. Крышка на чайнике вздрагивает и позвякивает.

Взрослые ведут неторопливый разговор. На блюдечках нарисованы розовые закаты и одинокие деревья. Они стоят над заснеженными избами, как часовые на посту.

Потом меня укладывают спать. Тепло и мягко на пуховой перине. Всю ночь горит лампа с голубым абажуром. Она на

золотых цепочках подвешена к потолку. В углу на подстилке Янка смотрит свои собачьи сны. Она иногда тяжело вздыхает и вздрагивает, а потом долго ворочается, наконец уляжется поудобнее и опять спит.

Самая яркая звезда заглядывает в окно. Она здесь всегда в это время. И так будет вечно.

А за ветрами и вьюгами вдруг слышится приглушенный гудок паровоза. Кто-то едет по холодным полям в Ленинград или в Москву. Москва, по-моему, это такой красный мост, а вокруг город. А у нас здесь Степановский мост. Когда мы едем в Поповку и проезжаем его, то мама начинает собирать вещи, чтобы нам ничего не забыть. Хорошо начальнику станции, он все время живет в Поповке, а я бываю здесь только на каникулах.

Снова еле слышный прерывающийся гудок. Мчатся поезда, как те кони, что на часах в гостиной. Один направо — другой налево. А я здесь. Мне тепло и мягко.

Быстро пролетит неделя. И опять в город. От Московского вокзала по Невскому на двенадцатом трамвае домой. А в руке ветка рябины из бабушкиного сада.

«ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА»

«Осторожно, злая собака», — написано на дощечке. Я отворил калитку. Цвела сирень. Мама сказала:

— Ты смотри под ноги!

— Гриша! — крикнул я, задрал голову.

В уголке окна появилось его улыбающееся лицо. Еще мгновение, и он с грохотом, перепрыгивая через две ступеньки, сбегал с лестницы.

— Как живешь? — спросил я.

— Мирowo, — ответил он, — машину достал на неделю.

— Какую? — удивился я.

— Велосипед, — ответил он, — после и тебя прокачу.

Янка лаяла-заливалась — меня приветствовала. Я сказал Грише:

— Домой сбегая, поздороваюсь и приду.

— Давай быстрее, — попросил Гриша, — расскажешь, какие кино смотрел!

— Ладно, — сказал я, — а потом в прятки сыграем.

— Вдвоем-то? — удивился Гриша.

— Зачем вдвоем, — возразил я, — Каля позовем, Ольгу Данилову, Людку.

— Каля на рыбалку ушел, Ольга, может, и дома, а Людка еще не приехала.

«Не приехала», — повторил я про себя.

Гришка относился к ней как к самой обыкновенной девчонке, хотя она была старше нас на два года. Гришка, наверное, просто не замечал, что у нее всегда очень аккуратно заплетены косы, отглажено платье и чистые руки, а ведь так трудно все время быть в порядке. И никто ей не напоминал: «Туда не ходи, сюда не садись» — сама догадывалась. Да и вообще она была вся такая, что от нее в пасмурную погоду светлее становилось.

— Ну что же, тогда на велосипеде покатай, — предложил я.

— Пока не очень могу, — признался Гриша.

— Не умеешь, значит?

— Как не умею, — возмущился он. — Я тебе высший класс покажу. Просто с грузом трудно.

— С каким грузом? — удивился я.

— С тобой, — ответил Гриша, не моргнув глазом. — Я только еще повороты отрабатываю. Выйдешь, покажу.

Я поздоровался со всеми, Янку погладил.

Гришка велосипед приволок и давай ездить вокруг пруда.

— Видишь, — крикнул он, — мировой трюк! Только сегодня! Велосипедист-орденоносец! Полет над. . .

Над чем я не понял — брызги воды полетели.

Я зажмурился, а когда открыл глаза, то Гришка уже вылезал из пруда. На лице у него, как вуаль, висела тина. Он потряс головой, чтобы вылить воду из ушей, и полез обратно за велосипедом.

Моя белая рубашка была в рыжих пятнах, словно в веснушках. Грише стало жалко меня, и он, помолчав, сказал:

— Обсохну — прокачу.

— Не-е, — протянул я, — лучше в прятки. . .

— Дрейфишь, — заключил Гришка.

— Ничуть, — возразил я, — ты же мокрый, не скоро сохнешь.

— Ну, ладно, — примирительно согласился он, — только не говори, что я в пруд упал. Скажи, камни в воду бросали — вот ты и забрызгался.

Я так и сделал.

Мама руками всплеснула.

— Не успел приехать, — говорит, — а уже в грязи. Придется тебя мыть с Янкой в одном корыте. До ужина на улицу не пойдешь!

А Янке и правда собирались баню устроить. Уже на плите стоял огромный бак с водой.

Вечером пришел с работы дядя Петя, он даже не стал дышать, а сразу прикатил большое овальное корыто, оно как бочка, только ниже и продолговатей.

Я пробрался в тети Олину спальню, где за дверью на соломённом матрасе лежала Янка. Она встала мне навстречу, завиляла хвостом и прижала уши. Я ее хорошо понимал, она тоже не любила мыться, поэтому я тихо шепнул ей на ухо:

— Янка, мыть будут!

Она встрепенулась, суетливо огляделась и побежала в последнюю комнату. Зимой там спал дядя Петя, а летом мы с мамой.

Янка забилась под кровать и притаилась, как на границе в секрете. А на кухне уже согрелась вода. На табурете лежал кусок хозяйственного мыла и щетка с приделанным к ней ремнем, чтобы рука не соскользнула, когда Янке начнут тереть спину.

Корыто установили посередине кухни и налили в него теплой воды. Тетя Оля принесла простыню — Янкино полотенце. Дядя Петя засучил рукава и направился за Янкой. Никакие уговоры не помогли. Она отказалась выходить из-под кровати. Тогда дядя Петя вытащил ее за ошейник и поволок через все комнаты на кухню. Янка ни разу не переступила лапами. Она ехала, как игрушечный бычок!

Когда все же Янку затащили в корыто, дядя Петя все время очень крепко держал ее, а тетя Оля намыливала, скребла ногтями и терла щеткой. Янка стояла понурив голову.

Меня вымыли тоже, правда в другом корыте, но, как и Янку, посередине кухни.

СТРАСТИ

Дождь льет, как из пожарной кишки. Сидим мы с Гришей на террасе и на улицу смотрим. Бабушка пришла и говорит: «Как на лужах пузыри появятся — значит, дождь весь вылился». Ждали мы, ждали этого момента, смотрели, смотрели — пузыри есть, а дождь сильнее пошел.

— Давай, — говорю я Грише, — Люду позовем, сыграем во что-нибудь.

Он согласился. Я бы и сам за ней с удовольствием сходил, да меня в такую погоду не отпустят. А Грише все можно. Он босиком, да еще зонтик возьмет, чтобы рубаху не замочить, и в три прыжка там будет.

Обратно-то он дольше возвращался. Я уж подумал, не расселся ли чай пить, а то от Людиной мамы так просто не уйдем.

Но вот Янка залаяла, а там и шаги послышались.

— Что так долго? — спрашиваю, когда они на террасе появились.

— Разве долго? — Гришка говорит и смеется, ему-то что — вдвоем веселее.

А Люда только посмотрела на меня снисходительно и спрашивает безразлично так:

— Ну, что делать будем?

— Все равно, — отвечает Гришка.

И мне как-то расхотелось что-либо делать. Если бы Люда не пришла, я бы попросился под дождем голым побегать. Мне иногда разрешали, если дождик теплый. С дороги все равно не видно, что в саду делается. Деревья и кусты сирени мешают. Много не разрешали. Раза два-три обежать вокруг дома, и все. А там на крыльце уже мама с полотенцем ждет.

— Давайте страсти рассказывать, — говорит Люда.

Мы с Гришкой согласились. Нам что, мы страстей не боимся. Сели потеснее. На террасе темно от дождя, только изредка молния сверкнет, а потом гром обрушивается.

— Ну вот, — сказала Люда, — в полдвенадцатого ночи я зашла в чулан, поставила зеркало, зажгла свечки и жду. Сначала ничего не было, а потом рябь пошла, как по воде. И вдруг... лохматый мужичище показался. Глаз прищурил и смотрит на меня. А в ухе у него серьга, как маятник, качается: тик-так, тик-так... Я закричала и бежать, даже подошва оторвалась.

Рассказала это она и чуть-чуть мне глазом мигнула, чтобы я ее не выдал. В действительности Люда видела не лохматого мужика, а блондина с галстуком, но ведь это совсем не страшно. Гришку блондином не испугаешь.

— А еще гадают, — говорю я, — черную кошку в кастрюльке варят. Начинают с вечера, а в двенадцать часов зажигают свечку, кошку вытаскивают, кладут на блюдо и разбирают по косточкам. Только кости надо все до одной разделить.

— Брр, — сказала Люда и съежилась.

А Гришка говорит:

— Это что, вот я про тетю Маню расскажу.

— Не надо, — прошу я, — Люде и так страшно. (Я-то знал, в чем дело.)

— Нисколько, — говорит Люда, — не боюсь. — А у самой руки дрожат.

Гришка вредный — видит, что она испугалась, заранее глазищи вытарачил, руки растопырил и начал шепотом:

— В прошлом году зимой поселилась к нам тетя Маня. Там наверху одна комната, возле кухни, где хлам всякий хранился. Она попросилась пожить хотя бы временно. У нее перед Новым годом сестра умерла. Да и она совсем старая, лет сорок, а то и все пятьдесят. Но все еще работала в Колпине на Ижорском заводе, только весной уволилась и летом на Волгу уехала к родственникам.

— А это было зимой, — продолжал Гриша, — пришел как-то я поздно из школы, меня после уроков оставили. Валенки разул, иду на кухню. Вдруг слышу: «бу, бу, бу» — она разговаривает и свою сестру по имени называет. Я заглянул в дырку для ключа. У нее стол накрыт. Чай пьет. А на другом конце стола тоже чашка налита, сахар щипцами на мелкие кусочки наколот и положен возле блюдечка. А стул пустой. Тетя Маня пустому месту рассказывает, что на заводе было. Кто ее что спросил и кому что ответила. Я не удержался да как шевельнусь. Она и говорит: «Подожди, Вера, я сейчас» — и к двери. У меня ноги к земле приросли, хочу бежать и не могу.

— Что вы в темноте сидите? — спросила, входя, тетя Оля.

— Ах! — вскрикнула Люда и руками глаза закрыла.

— Мы так, — ответил Гриша, — беседуем.

— А в темноте-то зачем, сейчас свет зажгу.

— Нам не бегать, а говорить, — ответил Гришка, — темнота не помеха.

— Бегать что! Летать можно, — говорит тетя Оля.



Гришка только плечами пожал.

— Пожалуйста, давайте самолет, я не боюсь.

— А это совсем не страшно, — возразила тетя Оля.

— Тогда пусть Люда, — сказал я, мне хотелось сделать ей что-нибудь приятное.

Люду посадили на стул. Завязали глаза.

Гришке тетя Оля дала большой альбом, а меня послала за дядей Петей. Он в последней комнате с моим отцом слушал радио. У одного один наушник, у другого — другой. А радио — бочонок, обмотанный проволокой.

Дядя Петя очень неохотно согласился, но все же пришел.

Взяли мы за ножки стул, на котором сидела Люда, подняли чуть-чуть над полом и покачиваем. Гришка над ее головой альбом держит — потолок изображает.

— Ниже, ниже голову, — говорит тетя Оля, — а то уши-бешься.

У Люды глаза завязаны, вцепилась она руками в стул, думает, что и правда ее высоко подняли.

Жалко мне Людочку стало за то, что так обманывают. А Гришка ее тихонько по спине альбомом постукивает и говорит:

— Потолок! Потолок!

Люда, бледная, нагибается ниже и ниже. А ведь это я посоветовал по комнате полетать, а они смеются над ней.

— Хватит, — сказал я и свой край стула на пол опустил, а Гришка как треснет ей альбомом по спине и говорит:

— Слезай, приехали! — Потом на меня посмотрел нахально и спрашивает: — Что же ты ее без цветов встречаешь?

А я говорю:

— Сейчас дождик, завтра соберу.

— А завтра некогда будет, мы с твоим отцом на Ижору идем.

— Вот по дороге и соберу, — упрямо повторил я.

НАВОДНЕНИЕ

Еще было очень рано, когда папа меня разбудил.

— Гриша уже на кухне, — говорит он, — поторапливайся.

Смотрю, сирень в окно скребется, по стеклу царапает. Значит, ветер, — хорошо, идти будет не жарко.

Только роса сейчас на траве — вода в сандалии нальется.

На речке обсохнем. Я быстро в кухню направляюсь, там Гришка, как кот, в углу сидит, он и правда на кота похож — лицо круглое, поросшее пушком, он и по деревьям здорово лазает.

Умылся я. Молока попил.

Гриша от завтрака отказался. Взрослые как-то про него говорили, что хватка у Гриши есть, нигде не пропадет, себя в обиду не даст. Другие ребята его сторонились, одним словом — разбойник. А вот стеснительный. Надо его долго упрямить, чтобы тарелку киселя съел.

Итак, взяли мы удочки, завтраки и червяков. Пошли. Папа впереди шагает, а мы с Гришей сзади. Папа курит, мы беседем. Он длинный, да еще удочка на плече. Идет, как тростник покачивается. Его на работе звали «Минога во фраке». Он на фабрике работал бухгалтером.

Когда к реке подходили, кое-где еще туман за кусты цеплялся, но солнце уже появилось. Воды после дождя как никогда много. На том берегу два парня прямо в брюках в реке стоят. Один с картофельным мешком, а другой по дну возле кустов шарит.

— Ловят раков, — объяснил папа.

— Так руками и ловят? — спросил я.

— Видишь же, — ответил папа.

— На дохлую кошку надо, — вставил Гриша. — Ее на веревку в реку, а утром вынимают.

— Можно проще, — возразил папа. — Опустить руку под корягу или возле камня, он схватит клешней, ты и тащи.

А сам уже удочку закинул и на поплавок смотрит.

— Эй, дядя! — парень кричит ему через реку. — Клева не будет, надо так брать, — показал нам огромного окуня и бух в мешок, — плотину прорвало!

Мы с Гришей рукава засучили. Легли на живот, руки в воду опустили, ищем рыбу в траве. Я чувствую, что-то скользкое, живое трепыхается, хватаю — окунь. Оказывается, со дна муть поднялась и только среди травы да у самой поверхности вода чистая.

— Смотри! — Гришка кричит.

А там щука, как крокодил, плывет, глаза из воды торчат, и пасть зубастая. Гришка схватил удочку да как стегнет щуку. Она на бок перевернулась, а потом вдруг снова выравнивается, но вглубь не уходит.

Гришка в чем был в воду бросился. Щука метров пять проплыла и сознание потеряла, тут он ее и схватил.

И пошли мы рыбу собирать, как грибы. Где кустики в воде у берега или трава — там и плотва, и окуни.

Когда сели отдыхать, вижу, холмик у берега над водой возвышается. Как копна маленькая. Оказывается, это муравейник был. Муравьи по муравьям бегают, а вода поднимается, вот-вот затопит.

Я муравьям свою удочку положил, и папину, и Гришину — на берег мосты сделал. У одной удочки конец далеко над водой свисает. Так муравьи один или два побежали по тому мосту, посмотрели, что никуда не ведет, и обратно сразу. А за ними все на берег бросились. Некоторые срываются, в воду падают, и их сразу течением уносит. Я еще веток наломал, и по ним муравьи толпами ринулись. Здесь и Гриша подоспел. Он сушился за кустиками.

Надо будет ребятам в классе рассказать, как я муравьев спасал. Ведь это приятно — помощь оказывать тем, кто бедствие терпит. Все мне завидовать будут! Ждать оставалось недолго. Вскоре мы приехали в Ленинград. Гулко раздавались всякие звуки со двора. За окнами, вместо веток сирени, серый заплаканный дом.

Через два дня в школу. Там ничего нового, кроме немецкого. Анна унд Марта бадэн — купаются, или Анна унд Марта фарэн нах Анапу — в Анапу едут.

Они жили в Германии, и мальчишки их дергали за косы, как мы наших девчонок. Они ехали в гости в Анапу, а в это время их папы уже подкрадывались к нашему детству.

Но с вами, Анна и Марта, мы расстались друзьями. Где вы сейчас живете — в ГДР или в ФРГ? Вы уже взрослые, и у вас, наверное, тоже есть дети. Прочитайте им, пожалуйста, мою повесть. Пожалуйста, прочитайте. Ведь мы с вами расстались друзьями. Я не беру своих слов обратно!

Когда я окончил пятый класс, мы опять собирались в Поповку. Но я уже не прощался с боженькой и кубиками. А жаль, потому что вернулся домой только после войны.

Как обычно, мама упаковала вещи: кое-что из своей одежды и для меня все, что может пригодиться летом. Папа был на работе. Я с ним попрощался накануне вечером. (Навсегда.)

Мама проверила, закрыты ли форточки, затворила дверь, ключ положила в сумочку. Мы спустились по нашей лестнице. (Мама — в последний раз.)

От Введенской шестерка автобус повез нас на Московский вокзал.

ПОСЫЛКА ЛЮДЯМ БУДУЩЕГО

— Когда я вырасту, — сказала Люда мечтательно, — я буду архитектором, построю много красивых домов, тогда придется сдать в музей керосиновые лампы и в Поповке вместо колодцев появится водопровод.

— Электричество и без тебя собираются провести, — вставил Гришка, — да я не хочу, с лампой уютнее. А то включат свет и ты весь как голый.

— Это потому, что ты дикий, оттого тебе так и кажется, — возразила Люда. — А люди будущего все поймут и вспомнят меня, — сказала она, закрывая глаза.

Ее короткие косички с темно-синими бантами торчали в разные стороны, и казалось, будто две бабочки готовятся вот-вот улететь. Я никак не мог представить нашу Люду важным архитектором с чертежом в руках. Возле нее будут толпиться всякие инженеры с галстуками и папиросками в зубах. «Может быть, мне научиться курить? — подумал я. — Сразу буду выглядеть старше. Но все равно те инженеры уже сейчас кончают школу».

— Ты лучше иди радистом, — посоветовал я, — на мой парход.

— А где он у тебя, на Марковском пруду, что ли? — спросила Люда и, весело прищурившись, посмотрела мне в глаза. Она словно боялась взглянуть в полную силу. Я и так почувствовал некоторую неловкость, но давно заметил, что ей нравится, когда она нравится, и поэтому решил сделать ей приятное, не считаясь с тем, что Гришка обсмеет мое предложение.

— Пожалуй, и я стану архитектором, — уверенно заявил я, — и построю очень шикарный дворец, вроде Эрмитажа.

— А я буду строить мосты, — словно дразня меня, промолвила Люда. — Надо делать такое, чего не было. Например, мост, похожий на кружево, и чтобы он звучал, как песня!

И Люда опять стала смотреть куда-то вдаль, сквозь меня.

— Есть тайна, — объявил Гриша, прерывая молчание, — давайте им отправим посылку.

— Кому? — удивилась Люда.

— А им, людям будущего. Возьмем монеты от одной копейки до двадцати, упакуем в коробку: такие у нас были деньги. Положим перья: такими перьями мы писали. Конфеты можно положить... по одной... разных.

— Конфеты растают, — сказала Люда.

— Ни фиги! — возразил Гриша. — Мы положим их в стеклянную банку, а банку зальем смолой.

— И обязательно письмо! — подхватила Люда. — Напишем что-нибудь хорошее. Приятно получать хорошие письма.

Долго мы сочиняли, но получилось очень коротко:

«Здравствуйте, дорогие люди будущего! В Поповке сейчас лето. На улице тепло, осенью будет много яблок. Такие у нас деньги. Такие конфеты. Такими перьями мы пишем в школе. Я буду архитектором. Люда. Я буду летчиком. Гриша. Я буду летчиком или капитаном», — написал я, подписался, поставил число, месяц, год.

Смолы найти не удалось. Банку закрыли крышкой, обернули тряпкой. Сверху обмазали мазью для велосипеда, чтобы вода не прошла.

Посылку людям будущего закопали в землю и договорились сто лет никому не сообщать точного места, где она зарыта.

Через несколько дней снова на Гришином лице появилось загадочное выражение.

— Еще одна тайна, — объявил он торжественно.

Мне даже завидно стало. Как это у него получается тайна за тайной? И, наверное, опять что-то интересное.

— Не гусарь, — сказал я, — брось воображать.

Но Гриша молчал. Ничего не говорил — терпел.

Сейчас я ему благодарен за это.

Он подарил мне еще несколько минут. . . мирного времени, а тогда казалось, что ничего не изменилось. Был обыкновенный теплый июньский день.

Гришино имя больше не встретится в этой повести, но оно останется в моей памяти. В трудное время на крыше последнего поезда он уехал в Ленинград. Скитался без прописки и хлебных карточек. Устроился на завод. Умер во время блокады.

КАК ПОЛУЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ

Сельсовет распорядился, чтобы возле каждого дома было выкопано укрытие. Сверху должны лежать бревна определенной толщины. Но где их взять — никто не знал.

— Придется пилить яблони, — решил дядя Петя.

Бабушка заплакала. Когда-то все эти деревья она сажала сама, а теперь их спилят для каких-то щелей.

— Ни себе, ни людям, лишь бы погубить, лишь бы погубить, — бормотала она.

Но война надвигалась и заполняла собой страницы газет, радиопередачи, разговоры домашних. Она разливалась, как река весной, когда вода поднимается все выше, выше. . . Сначала впадины, а потом кочки и кустики скрываются под водой. На берегу не остается ни одного сухого места.

— Вчера под Колпином появился немецкий самолет, — сообщил дядя Петя. — Зенитки открыли такой огонь, что стекла звенели. Одна зенитка взяла очень низко, и снаряд попал в верхний угол дома. К счастью, все жильцы были на работе.

Чувство тревоги мне было тогда незнакомо, а любопытство одолевало. «Вот бы посмотреть на немецкий самолет, — думал я. — А то их все собьют, война кончится, и я не увижу, как они выглядят».

По дороге в сторону Тосно ехали красноармейцы. Они сидели на повозках, на машинах и даже на танках. Они ехали на настоящую войну — бить фашистов!

Я с удовольствием смотрел на них, завидовал им и ждал, когда поскачет буденновская конница с шашками наголо.

Дома тоже готовились к войне. Тетя Маня выкопала большую яму и стала прятать в нее березовые дрова, те, что запасла на зиму. Сверху положила толь, чтобы они не промокли, и засыпала землей.

Я открыл дверь в нашу землянку и ничего не увидел, кроме темноты. Это была встреча с будущим. Оно притворилось заманчивым и безобидным. И мне казалось, что все хорошо и интересно, было только жаль деревьев из нашего сада.

Бои идут на фронте, но зачем спилили яблони? А вдруг не прилетит самолет? Красноармейцы быстро разобьют фашистов, а деревья растут долго.

Поехать бы домой, но кто-то сказал, что в Ленинграде отнимают у родителей детей и эвакуируют. На случай, если немцы будут бомбить город. Но разве мама позволит, чтобы меня отняли? А бомбить, наверное, не будут, ведь там мирные жители.

Моя мама и тетя Оля ходили копать ров против танков. Очень они устали, потому что огород всегда копал дядя Петя.

Тетя Оля только ухаживала за цветами в саду, и то когда захочет, а мама лопаты в руках не держала, ведь она городская.

И все-таки построили они такую отвесную скалу, что не только танк, а никто не перелезет. Не одни, конечно, строили, народу было много со всей Поповки.

В фильме «Суворов» враги забирались по лестницам, а наши толкали лестницы и сверху лили смолу и кидались камнями. Наверное, и сейчас будут фильм снимать, когда фашисты на стену полезут. У них каски с рогами — страшно смотреть, но если зажмуриться и бить их направо и налево, как Суворов или Александр Невский. . . Они, правда, не зажмурились. И все же интересно увидеть живого немца! Пленного, конечно.

Рассказывали, что в Тосно поймали шпиона. С виду обыкновенный житель, ничего особенного. И не делал он ничего такого, а просто на своем огороде развел костер — хлам сжигал. Ночь наступила, а он все подкладывает старые вещи да ящики всякие. А тут вдруг воздушная тревога. Дядя Петя говорит, что этот шпион своим костром сигнал подавал, показывал немцам, где станция находится. Бомбы упали у самой железной дороги. Воронки такие, что в каждую грузовик поместится.

Но грузовик прятать незачем, а вот посуду дядя Петя решил закопать, а то вдруг снаряд в дом попадет или бомба. Стал дядя Петя яму рыть возле большого дуба, чтобы потом знать, где искать, если что случится. А бабушка, мама и тетя Оля начали разные мелкие вещи в клеенку упаковывать и в корзину складывать. Посуду тоже так положили, что до конца войны ей ничего не сделается. Корзину опустили в яму, покрыли клеенкой, засыпали землей. Получилась посылка, но не людям будущего, а нам в будущее.

В газетах писали, что немцы все ломают и сжигают, что под руку попадется. На нашей Шестой дороге одна хозяйка даже своего пса назвала Гитлером. Потому что он кур воровал и если не съедал, то все равно горло перегрызал и прятал на черный день. Он и в нашем саду появлялся. Я кричу: «Гитлер, пошел вон!» — и нагибаюсь, будто камень беру, а он хвост подожмет и бегом, словно и не было Гитлера.

А настоящего никак не прогнать. Он все дальше и дальше лезет, а наши «отходят на заранее подготовленные позиции» . . .

КТО ПРИДУМАЛ ВОЙНУ?

Бежала по улице девочка, увидела меня и закричала:

— Упал, упал!

Я знал, что ее зовут Идэйка — имя такое смешное. Она всегда ходила очень важная и с мальчишками не разговаривала, а тут вдруг ко мне обращается.

— Кто, — кричу, — упал?

— Самолет, — она отвечает. — Подбили. Чуть что за деревья не зацеплялся и выл, как волк: «ау, ау», молочница видела, она и сказала.

Сообщила мне все это Идэйка и дальше помчалась.

Я через забор полез, чтобы время не тратить. Поцарапался весь.

Уже и тетка какая-то услышала Идэйкины слова и тоже бросилась.

— Сбили мерзавца! — закричала она.

Мужик выскочил, в руке лопата. За нами устремился. А тетка обернулась и объясняет ему:

— Летит, и дым как из трубы. . . — словно сама видела.

К нам еще двое мальчишек присоединились, но куда бежать — точно никто не знает, лес большой. Остановились мы у Московского шоссе, не расходимся. Всем поглазеть хочется. Шутка ли, столько в газетах читали про фашистов, а теперь вот он, их самолет, рядом лежит. Подходи и рукой трогай, даже можно отвинтить что-нибудь!

Старуха козу пасет. Идэйка говорит:

— Бабушка, не слышала, где самолет упал?

— Упал, упал, нехристь окаянный, — отвечает старуха. — Мой сын-то на германскую войну ушел, так и не вернулся. Теперь их черед. . .

— А упал-то где? — перебивает ее тетка, что с нами прибежала.

— Версты три отсюда. Дойдете до Полесаровки, по левую руку. Там он упал, нехристь проклятый.

Речка Полесаровка узкая. Местами перепрыгнуть можно, если хорошо разбежаться. Мы устали. До речки шагом шли, налево свернули, как старуха сказала.

Чувствуем запах какой-то, не лесной, а как в больнице, лекарствами пахнет, даже в носу щиплет. Верхушки деревьев срезаны ниже и ниже. Мы туда.

Видим, он лежит. Одно крыло надломлено, на бок накренился, как баржа на мели. Двухмоторный. Оба пропеллера, трехлопастные, алюминиевые, погнулись и в землю врезались. Лес скошен. Незнакомые мальчишки лазают по самолету. Много битых стекол. Эти стекла из двух склеены, а между ними резиновая прозрачная прокладка. Чтобы, если разобьются, в глаза мелкие осколки не попали.

Красноармеец сидит на крыле, винтовка рядом приставлена, курит папироску.

— В кабину нельзя, — говорит он мальчишкам, — пока приборы не сняты, ничего трогать не велено.

Мужик, что с нами прибежал, потер ладонь о ладонь (лопату он по дороге потерял или бросил, чтоб не мешала).

— Дай, — говорит, — закурить, раз такое дело.

Красноармеец достал пачку «Звездочки» (там мотоциклист нарисован, а за его спиной красная звезда).

Они курят, а мы самолет осматриваем. Он черный весь, только кончики крыльев желтые. На хвосте свастика белой краской очерчена.

— А летчик где? — Идэйка спрашивает.

— Он ждал-ждал тебя, да пошел чай пить, — ответил красноармеец.

— Нет, дяденька, правда, — настаивает Идэйка.

— У одного парашют не раскрылся — погиб, а двое в лес утекли. Их сейчас ловят, наверное нашли уже. Или будут отсиживаться, своих ждать.

— А придут? — тревожно спросил мужик и даже папироску изо рта вынул. Красноармеец промолчал и только устало покосился на нас с Идэйкой. А после промолвил:

— Они не так далеко, как пишут в газетах.

Очень сильно пахло лекарством, а листья на сломанных деревьях уже начали вянуть. Сюда, на Полесаровку, мы ходили за ландышами. Весело лаяла Янка. Однажды здесь поймали ежика. . . А теперь лежит самолет. Он упал с неба, как железный крест, и перечеркнул все, что было раньше. Поломал деревья, распугал птиц и зверей, и ведь он никому здесь не нужен, никому!

Обратно шли молча. В карманах стекла и куски алюминия. Всем покажу осколки фашистского самолета!

А Идэйка нарвала ромашек. У нее коса с розовым бантом. Самолет мог убить Идэйку, или меня, или мою маму. Кто придумал войну?

Про войну интересно смотреть фильмы, играть в войну тоже интересно. Но настоящая-то зачем?

— Послушай, — говорю я Идэйке, — как ты думаешь, кто придумал войну?

— Немцы, — ответила она коротко.

— Так их тоже убивают, какой им интерес умирать? А если ранят — знаешь, как больно?

— Им на все наплевать, — ответила Идэйка, — они же фашисты.

ПРИШЛИ

Через несколько дней возле нашего огорода со страшным грохотом разорвался снаряд.

Мы схватили одежду, одеяла и бросились в землянку. Там была керосиновая лампа. Мы зажгли ее и с опаской поглядели на потолок. Между бревен все еще струйками стекала земля.

— Началось, — сказал дядя Петя.

Снова раздался далекий выстрел, послышался нарастающий свист и грохот разрывающегося снаряда. Он упал где-то у станции.

— Надо сходить за Марией Николаевной, — сказал дядя Петя, — она одна наверху осталась.

Он вышел на улицу. На минуту повеяло свежестью, и снова сырой запах земли.

Где-то в Подобедовке разорвался снаряд. Бабушка перекрестилась. Ее сыновья дядя Павел и дядя Шура не вернулись с мировой войны. Бабушка, наверное, вспомнила их и заплакала.

— Останется наверху, — сказал дядя Петя, входя. — Говорит: «От судьбы не спрячешься», сидит и читает Библию.

— Там, говорят, написано, — сказала моя мама, — что по небу будут летать железные птицы и будет такая война, что потом человек, встретив человека, будет радоваться. А победитель приедет на белом коне.

— Ворошилов, — вставил я.

— Нет, — возразил дядя Петя. — В этой войне конница не поможет. Нужны моторизованные части.

Вздрыгнула земля, качнулась, словно кто-то подвинул ее, раздался звон, и с потолка из всех щелей посыпался песок.

— Не в дом ли? — тревожно спросил дядя Петя и приоткрыл дверь. — Нет, вроде цел.

— Что там Маня-то, с ума сошла, что ли? — проворчала бабушка. — Шла бы уж.

Снаряды стали падать чаще, но уже дальше и дальше. А потом и наши из Колпина начали стрелять. Все заклокотало вокруг. «Только бы не сюда, только бы не сюда», — думал я. Теперь мне было уже совершенно ясно, что война ни к чему, даже в кино. Неужели бы я стал стрелять из пушки по соседнему государству? Там же школьники, трамваи, автомобили! Мамы остались с ребятами, а папы этих детей воюют против нас. Выходит, что взрослые хуже маленьких. Если бы я знал немецкий, то пробрался бы в их штаб и рассказал, как приехал в Поповку на дачу и что в Ленинграде у меня папа. И что они зря идут по нашей земле. Мы же к ним не приставали. А они лезут. Это только хулиганы так делают.

— Вы что там, уснули? — послышался голос за дверью. Это сосед-старик, у которого мы покупали молоко. — Вылезайте, немцы уже на станции пивом торгуют.

«Чего он глупости говорит? — подумал я. — Стреляют очень далеко».

— Я не стал прятаться, — сказал старик, спускаясь к нам. — Мне все равно скоро умирать. Днем раньше или позже, жаль только, что под немцем.

— Что, правда, уже здесь? — спросил дядя Петя.

Старик сгорбил еще больше и распахнул дверь.

— Вон, черз ваш сад провода тянут.

— Пришли, — дрогнувшим голосом подтвердила тетя Оля. — Они здесь.

«КРИГ» — ЗНАЧИТ «ВОЙНА»

Зеленовато-серые мундиры покрыты пылью. Короткие, -кверху расширенные сапоги. Из-под стальных касок блестят глаза. Разговаривают между собой отрывисто, словно бранятся. Где там «Анна унд Марта бадэн!» Это звучит торжественно. А здесь просто: «Аф, гаф, шнель, аф, гаф».

Один идет впереди с большой катушкой на спине, а другой длинной палкой с крючком на конце вешает свой провод на наши яблони. Немцы шли прямо по клумбам, ломая большие желтые цветы, которые я так не любил. Но сейчас мне их жалко. Ведь это все наше... Было нашим. Здесь мы играли в прятки, в войну играли, но не мяли цветов. Они же красивые.

Тетя Маня спустилась со второго этажа и рассказала, что было, пока мы находились в землянке.

— Сижу, — сказала она, — читаю, вдруг чувствую, что кто-то смотрит на меня. Я обернулась, а там дверь открыта и на пороге стоит немец, у меня даже руки похолодели. А он говорит: «Гутен таг, яйка есть?» — «Кто-кто?» — спрашиваю его, а у самой зуб на зуб не попадает. «Яйка, яйка», — торопливо повторил он. Я догадалась: «Что вы, — говорю. — У меня ни кур, ни цыплят, ничего нет. Откуда же яйка?» Я от волнения не знала, что сказать, и говорю: «Я бухгалтер, бухгалтер». — «Бухгалтер, айн, цвай, драй», — сказал он и повернулся спиной. Что-то пробормотал, наверное выругался, и плотно закрыл за собой дверь. Хорошо, что я не сказала, где работаю, а то бы забрали, ведь теперь у нас на Ижорском заводе танки делают, — словно оправдываясь, говорила тетя Маня.

А в это время солдаты уже копали яму для землянки. Потом стали пилить деревья, но не у нас, а рядом у соседей.

Тетя Маня разъяснила, что наши деревья им нужны, чтобы с воздуха казалось, будто здесь сад и все.

Правда, к вечеру и у нас они яблоню спилили.

Бабушка сказала толстому, с виду добродушному немцу: — Эта яблоня моя. Потом опять будут яблоки. Каждый год будут, а вы яблоню капют. Понимаешь?

— Яа, яа, понимаешь, — закивал головой немец, — яблёко капют. Эгаль криг.

«Криг» — значит «война», а «эгаль» — «все равно».

Потом на нашем огороде пушки поставили, а чтобы к пушкам ходить не по грязи, забор сломали и вместо дорожек положили от землянок до пушек.

Бабушка говорит:

— Забор мой! Зачем ломаете?

— Эгаль криг, — отвечают ей немцы. — Два-три дня, — показывают на пальцах два-три, — Ленинград капют. Забор на! — Опять показывают руками, словно вручают ей книгу.

Значит, они возьмут Ленинград, а бабушка возьмет свой забор. А у нас сахара нет, соли нет, хлеба нет. Нет, и негде взять. Картошку, что мы с огорода выкопать не успели, кто-то украл. Желудей собрали, высушили, заварили вместо чая. Кофе получился.

Пришел немец, говорит бабушке:

— Матка, твой поль дом немецкий зольдат, понимай?

Немцы украли где-то стог сена, принесли к нам на

террасу, разбросали по полу, чтобы спать мягко было. Расположились. Кто бреется, кто на губной гармошке играет. В другой комнате какие-то ящики поставили.

Янку пришлось на ключ закрыть. Лаёт на немцев немецкая овчарка, даже ей они не нравятся.

А солдаты на террасе ремни со штыками на икону повесили. На ремнях пряжки с надписью по-немецки: «Бог с нами».

Закричала на них бабушка, ногами затопала, а они смеются. «Эгаль криг», — говорят

— Перестань, мама, — тетя Оля ее просит. — Они же немцы, возьмут и выгонят нас из дома. Куда ты пойдешь на старости лет?

Не послушала бабушка, пошла жаловаться фельдфебелю. Кричит на него по-русски, а он по-своему что-то бормочет и отмахивается от нее, как от мухи. А бабушка и говорит: «Ком, ком» — и в сторону террасы рукой машет.

Фельдфебель устало посмотрел на бабушкины волнения, но все же нехотя пошел.

Бабушка на ремни показывает, которые на иконе висят, и говорит:

— Нехристи вы, нехристи!

Солдаты смотрят с любопытством, что будет, чья возьмет. Бабушка победила. Сняли ремни, на стол положили.

А дядя Петя сказал:

— Ты, мама, не суйся, они не тебя пожалели, а просто не хотят лишний раз восстанавливать против себя население. Потом они себя проявят.

И проявили. Собрали всех мужчин и угнали на лесозаготовки. И дядю Петю нашего тоже. С собой разрешили взять теплое белье. Надел он зимнюю шапку, турнепса вареного взял и ушел.

Бабушка плакала, мама плакала, тетя Оля плакала, я не плакал — смотрел, что дальше будет. Не верилось, что еще хуже может быть.

СВЕЧКА КОНЧИЛАСЬ — ЛЕНИНГРАД НЕТ

Немцы по домам ходят и спрашивают: «Партизан есть?» А сами по полкам смотрят: где керосиновая лампа стоит — хватают, свечку увидят — берут. В землянках темно, а в домах опасно: вдруг снаряд попадет или Иван бомбу бросит. Иван — это так они наши самолеты называли.

Но над Поповкой наши не появлялись — Колпино охраняли, там Ижорский завод.

Все равно большинство немцев в землю зарылось — так безопаснее.

Те, что у нас стояли, землянку вырыли, но жили на террасе. Свечки сами делали. Берут бутылку, веревки кусок — это фитиль. На один конец веревки гвоздик или гайку вешают, опускают в бутылку, а к другому концу спичку за середину привязывают и кладут на горлышко. Потом воск растапливают в банке из-под консервов и льют. Когда он застынет, бутылку разбивают, и свечка готова. Толстая свечка получается. Немцы, что у нас жили, тоже такую изготовили и сказали тете Оле: «Свечка сгорит, и Ленинград капут». Я по утрам ходил смотреть на свечку, от которой зависела судьба Ленинграда. С каждым вечером воск все таял и таял. Они и в Ленинграде все переломают, а папу погонят пить лес. Но он большой, да и никогда пилы в руках не держал. Умрет он: еды мало, курить нечего. Я стал окурки от сигарет собирать. Обгоревшую часть отрезал, а хороший табак в коробочку складывал — папе курево.

Наконец кончилась свечка, Ленинград — нет!

«Свечка капут», — говорю я немцу. А он смотрит внимательно и, наверное, догадывается, о чем я думаю. «Яа, яа», — говорит немец и показывает еще две свечки. Смеется — надолго хватит. Загибает пальцы, на сколько дней — айн, цвай, драй, фир. . .

Значит, не так просто, как казалось, — держится Ленинград.

Придется им еще в нашем доме пожить, а уже холодно становится. Наломали они от соседнего забора реек, печку топят.

В лесу и то всех зверей распугали. Лисица прямо по Шестой дороге бежала. Немцы стрелять стали — убили. Шкуру содрали, расправили, прибили на крыльце, чтобы ветром продувало, а дождем не мочило. А саму лисицу завернули в газету, и фельдфебель бабушке ее принес.

— Матка, ам-ам, — сказал он.

Значит, продовольствие в счет платы за квартиру.

— Что ты, ошалел, окаянный? — бабушка говорит. — Что я, свинья, что ли?

— Русский свинья, — поддержал ее фельдфебель и закивал головой.

— Забирай свою падаль и уходи, — сказала бабушка.

Янка залаяла в последней комнате — шум услышала.

— Собака ам-ам, — сказал немец, бросил лисицу на пол и ушел, хлопнув дверью.

Тетя Оля говорит:

— Янку и правда кормить нечем. Сварим ей эту лисицу, что ли?

Когда вода закипела, запах пошел такой, что словно и войны нет. Попробовала тетя Оля лисицу, а она на вкус как курица, только мясо черное. Ели мы ее с удовольствием. А Янке кости достались и немного бульона.

ЯНКА, ЯНОЧКА

Переводчик снял фуражку — половина волос зачесана направо, половина налево. Слово книга раскрытая, а волосинки как строчки.

Фельдфебель не спеша взял табуретку, поставил посередине комнаты, сел.

— А вы садитесь, — сказал переводчик бабушке. — Надо поговорить. В ногах правды нет. Такая у вас поговорка?

Бабушка села, чувствуя недоброе.

Фельдфебель не торопится, собирается с мыслями.

Переводчик ждет, прислонившись к стене. Поглядывает сквозь очки на бабушку, смотрит на потолок, на стены.

Фельдфебель заговорил. Переводчик переводить не торопится. Потом начал:

— Мы благодарим, что вы дали нам эти комнаты. К сожалению, ваш дом высокий, а наши пушки стоят рядом. Иван видит ваш дом далеко. К сожалению, мы должны ваш дом ломать. Вы берете все, что хотите, и уходите вон. Время — целые сутки.

— Куда взять? — спросила бабушка, еще не понимая, что произошло.

— С собой, — ответил переводчик и добавил: — Когда кончится эта война, мы вам дадим деньги за этот дом.

— Я никуда не пойду, — заявила бабушка. — Я здесь родилась, это мой дом.

— Приказ есть не игрушка, — сказал переводчик. — Иначе будем вешать как партизанов. Завтра утром начнем ло-

мать. Сейчас шесть часов вечера. Завтра в шесть вечера — сутки. Потом будет поздно.

Бабушка заплакала.

Фельдфебель встал, отдал честь и вышел.

— До свиданья, — сказал переводчик.

Мы стали собираться. Бабушка сидела не шевелясь. Казалось, что ей было все равно. Потом она краем платка вытерла глаза и снова сидела молча, иногда даже улыбалась чему-то. Наверное, вспоминала годы, прожитые здесь, а там были и хорошие, счастливые дни.

У нас с мамой вещей не было. Что берут на дачу? Кое-что из одежды да простыни с одеялом.

Мама помогала тете Оле выбрать самое нужное. Им казалось, что все нужно.

Янка лаяла очень заунывно.

Тетя Оля пошла к ней. Потом появилась вся заплаканная. Молча отправилась на улицу. Вернулась с фельдфебелем. Они прошли в комнату, где была Янка. Фельдфебель повел Янку на цепочке. Янка повизгивала — намордник мешал лаять. Она не хотела идти, упиралась, оглядывалась.

Я прощался с последним, что осталось от детства. Тогда я не понял этого, но почувствовал.

Я сказал:

— До свиданья, Яночка! — и выглянул на улицу.

— Вернись! — крикнула мама.

В саду немцы стали спорить, кому стрелять, каждому хотелось убить Янку.

Ее привязали к яблоне.

Фельдфебель успокоил солдат.

Я повернулся к маме.

Раздалось сразу несколько выстрелов. На террасе зазвенели стекла. Загрохотали сапоги, слышались крики, какая-то возня, потом все стихло.

— Стекла разбили, — сказала бабушка.

— Они думали, что партизаны, — ответила мама.

— Вот-вот Ленинград возьмут, а ты «партизаны», — возразила тетя Оля сквозь слезы.

— Если бы мы уехали. . . — сказала мама.

— Бог знает, что делает, — ответила бабушка, — но меня-то за что наказал? Боже милостивый!

ВИНТИК

Тетя Оля у кого-то достала двухколесную тачку. Мы погрузили вещи, немного картошки и двинулись в Подобедовку. Там жили давнишние знакомые нашей бабушки.

Очень строгая на вид старушка распахнула дверь и сказала приветливо:

— В тесноте не в обиде, живите на здоровье. Только кроватей у меня нет, а дрова жгите, не жалейте. Жалко, если немцам достанутся, мне-то помирать скоро. Сашенька мой в Красной Армии — не увижу его.

— Что вы, Анна Прокофьевна, — возразила тетя Оля, — война кончится — вернется.

Она это так неуверенно сказала, что даже я понял — не вернется и война никогда не кончится. Они Колпино взять не могли, не то что Ленинград.

— Может, не сломают дом, тогда мы уедем от вас, — сказала бабушка.

— Да живите, живите, — ответила Анна Прокофьевна. — Даже лучше, что вы приехали, а то солдаты займут, загадят. Да и не могу я на них смотреть, когда от Саши никаких вестей. А они здесь на губных гармошках скрипят, сытые, довольные.

— Проклятые, дом сломают, — упрямо проговорила бабушка, ни к кому не обращаясь.

Ночью нас разбудил стук в дверь.

— Кто там? — спросила Анна Прокофьевна.

— Немецкий зольдат, открывайте! — послышался голос.

Ввалились двое в резиновых забрызганных грязью плащах.

— Клопа есть? — спросил один из них, поднимая одеяло на кровати Анны Прокофьевны.

— Нет, клопов нет, и места нет: видите, сколько человек в одной комнате.

Немец посмотрел на нас, лежащих на сене, на кровать Анны Прокофьевны, опять на нас и спросил у хозяйки, кивая в нашу сторону:

— Партизаны?

— Дом капут, — сказала Анна Прокофьевна.

— Иван, бомба, — понимающе закивали немцы и пошли на кухню. Один, проходя, нагнулся, взял в руку немножко сена, помахал перед носом Анны Прокофьевны и сказал:

— Быстро, быстро, немецкий зольдат хочет бай-бай.

Увидел на столе лампу, зажег. Схватил чайник, поднял крышку, заглянул внутрь, вылил остатки воды в ведро под умывальником. . . Другой напихал в топку дров и потом стал колоть лучинки.

Анна Прокофьевна принесла сена и бросила его у порога.

— Малё, — сказал первый немец и поволок сено в угол, потом достал тапочки, снял китель и сапоги.

Я смотрел, как они неторопливо разложили на столе хлеб, масло в круглой красной масленке из пластмассы и стали разливать кипяток по кружкам.

Потом каждый отрезал себе по тоненькому кусочку хлеба. Эти ломтики они старательно намазали маслом, сверху положили тонкий ровный слой повидла и нарезали хлеб на маленькие прямоугольнички. . .

Всю ночь мне снилось, как мы с мамой идем в булочную в Ленинграде. Булочная на углу, возле Введенской, там на полках рядами стоят батоны и халы, обсыпанные маком, а за большими железными кассами сидят женщины, они весело крутят ручки касс и выбивают чеки.

Проснулся я к утру, но еще ярко светила луна. Было слышно, как на чердаке метался ветер. Он перегонял с места на место какие-то железные банки. Я пошел во двор. В сенях пахло чем-то прокисшим.

В стороне Колпина полыхало зарево — что-то горело. Где-то лаяла собака. «Как наша Янка», — подумал я.

У самого крыльца стоял мотоцикл с коляской. На нем сброшены ветки, а сверху лежал пустой ящик, чтобы ветер не сдул маскировку.

Это мотоцикл тех, что ели хлеб с маслом и повидлом. Если бы не они, я бы, как всегда, поехал в Ленинград, бабушку не выгнали бы из дому, не убили бы Янку.

Если я сброшу ящик, ветер сдует ветки, наши разбомбят мотоцикл, и немцев, и маму, и тетю, и меня. . .

Я оглянулся, прислушался — никого, только собака лает.

Посмотрел внимательнее, вижу, на мотоцикле какая-то штучка, а на ней гаечка вот-вот потеряется.

Овернул гаечку, вынул винтик, а куда деть, не знаю. С собой взять — найдут, в траву бросить — увидят, травы почти нет, в землю закопать — заметят, разрыто. . .

А папа ждет в Ленинграде, когда мы приедем, и во всем они виноваты — немцы!

Опустил я гаечку с винтиком в бочку с водой — не доду-

маются там искать. (Так в книге для чтения писали: революционеры шрифты в молоко опустили — жандармы не нашли.)

Вернулся, лег. Не могу уснуть, все думаю: может, сбросить ящик, разбомбят нас, и сразу все кончится. А так жди, что дальше будет, немцы-то уходить не собираются. Александр Невский здорово их побил на льду Чудского озера, а они опять полезли, все зеленые такие, в шинелях тряпочных, а некоторые в плащах резиновых, как те двое.

Ветер страшный дует, прямо их с ног валит, а мне что — у меня кольчуга, а сверху одеяло так и развевается на ветру, так и развевается, а поверх зимней шапки шлем, как у Александра Невского. Я мечом взмахнул и кричу: «Вперед! Бей фашистов!» А из-за леса Чапаев на тачанке: «Огонь, — кричит, — огонь!» Вдруг слышу, кто-то докладывает: «Товарищ Александр Невский, немцы из Поповки выбиты».

— Уехали немцы, — говорит Анна Прокофьевна, — туда им и дорога, чтоб им пусто было.

И не заметили, что винтика с гаечкой нет. Может, потом взорвутся? Да нет, уж не взорвутся, раз уехали.

ДЯДЯ ПЕТЯ

К вечеру дядя Петя вернулся. Зарос весь, я его не узнал даже. Серый какой-то, глаза ввалились. Он сказал, что немецкий доктор разрешил идти домой. От работы освободил, пропуск дал и справку, чтобы снова не забрали.

Сначала дядя Петя на Шестую дорогу пришел, видит: крыши уже нет.

— А кто разбирает, — сокрушенно сказал он, — косою Егорка, братья Трешкины да еще бабы какие-то. Немцы так сказали: бревна солдатам, а железо и доски тем, кто ломать будет. Больше сломаешь — больше получишь. Косою Егорка и Трешкины даже ночью работали, благо луна светила. С буфета дверцы выломали, наверное на дрова. Посуду, что не украли, так перебили. Просто так, ради удовольствия. В барометр чашки кидали с блюдами. В цель попадали. А в гостиной на большом столе нагадили прямо на скатерть.

На другой день рано утром мама меня разбудила.

— Одевайся, — говорит дрожащим голосом, — мы рядом проживем. Здесь нельзя больше, немцы гонят. На кухню не ходи, там дядя Петя спит, ему плохо.

Мы пожили два дня у соседей. Мама плакала. Не плохо дяде было, а просто он ночью умер. Там на кухне и умер, где немцы ночевали и хлеб с маслом ели. Он от истощения умер. Да надорвался еще — лес пилил, бревна с утра до вечера та-скал. . .

Осталось нас четверо — мама, я, бабушка и тетя Оля.

Пошли мы к Анне Прокофьевне прощаться, потому что решили ехать в Тосно или в Вырицу.

Там мама с тетей Олей собирались торф копать, чтобы нам с голоду не умереть. Говорят, что за работу суп дадут и хлеб.

— Конечно, конечно, — говорит Анна Прокофьевна, — жить как-то надо. Дождетесь наших, поклонитесь им за меня — не доживу, а пока буду навещать могилку Петра Васильевича.

Взяли опять тележку, рюкзаки, чемоданы положили, тетя Оля впереди везет, мама сзади подталкивает, а за ними мы с бабушкой плетемся.

Навстречу нам женщина, веселая, в платке, в сапогах, с немцем под ручку шагает.

— Здравствуйте, — говорит она тете Оле, — куда вы собрались?

И немец стоит, головой кивает, улыбается.

— В Тосно, — отвечает ей тетя Оля, — здесь есть нечего, наш дом разобрали.

— Подождали бы, — говорит женщина, — скоро Ленинград возьмут и все наладится.

— Нет, мы поедem, — сказала тетя Оля и решительно двинулась вперед.

— Кто это? — спросила мама.

— Марии Карловны дочь. Видишь, валик на голове накрутила, немец ей сапоги на заказ сшил, и гуляет теперь хоть бы что да «Катюшу» поет на свой лад: «Как вы землю сберегли родную, так она вам сберегла любовь. . .»

— Она же Карловна, наверное немка, — сказала мама.

— Ну и что, — возразила тетя Оля.

На ночлег остановились мы в будке для железнодорожного сторожа или стрелочника.

Поезда не ездили, было тихо, словно никогда и не начиналась война. Ели картошку, жмых. Жмых плитками, вроде халвы, только цвет другой и не сладкий, крепкий, а по вкусу как промасленная солома.

— Давайте останемся, — прошу я. — Здесь тепло, никто не прогонит. Зиму перезимуем.

— Нет, — говорит мама, — надо двигаться.

Дорога на Тосно перекрыта. Немцы кричат: «Давай, давай, шнель!» — быстрее, значит.

Можно направо, а можно налево.

Решили разделиться — мы с мамой в одну, тетя с бабушкой в другую сторону. Потом письмо Анне Прокофьевне напишем. Узнаем, где лучше, и встретимся. Анна Прокофьевна перешлет наши письма друг другу. Говорят, скоро почта обязательно будет работать.

На дорогах машины — страшные грузовики на гусеницах и здоровенные немецкие лошади, как быки.

Идут и беженцы, вроде нас. Запыленные, усталые. И кажется, что они всю жизнь только и делали, что куда-то шли по бесконечным дорогам.

Мы распрощались. Бросили тележку, оставили в ней одеяло и корзинку с посудой. Двинулись в разные стороны.

Мне мама тоже мешок на плечи надела.

— Понеси пока, — сказала. — Тяжело будет — что-нибудь выбросим.

— Может, сейчас бросить? — говорю.

— Нет, — отвечает, — здесь все нужное.

В это время проезжал какой-то старик на телеге, увидел, что мама совсем согнулась под большим мешком, да еще чемодан в руках.

— Садись, гражданочка, — сказал он, — еще намучаешься, подвезу, пока по пути.

Проехали несколько километров. Лошадь у него тощая. Немцам не понравилась, вот и оставили ему.

Сказали: много-много сена надо кормить!

— А я им черта лысого накормлю, — проворчал старик. — Они меня не найдут, я здесь все дороги знаю.

— А в Ленинград? — с надеждой спросила мама.

— Чего нет, того нет, — ответил старик, причмокивая, — нет такого пути, матушка моя. — Потом, помолчав, добавил: — Там сейчас, говорят, тоже не сладко. Немцы бомбят безбожно. Беда! Голод, а еще зима впереди.

Ничего с нас старик не взял.

— Не нужно, — сказал, — вашей картошки. Я задаром, из личной симпатии к ленинградцам.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

В Гатчине посередине дороги, на большом каменном столбе, черная свастика растопырила лапы, как навозный жук на булавке.

Поселились мы с мамой за железной дорогой, на втором этаже разбитого деревянного дома. Прописали нас постоянно, без права выезда в другой город или деревню.

Это им казалось, что «постоянно», а на самом деле права наши остались на другой стороне, там, где папа, в Ленинграде.

— Айли, айлё, айля... Айли, айлё, айля... Айли, айлё, айля, ля, ля, ля, ля... — горланили фашистские солдаты, лихо вскидывая ноги. Шеренга за шеренгой проходили мимо меня. Автоматически открывались и закрывались рты. Серые, словно деревянные лица, стеклянные глаза и металлические каски. «Айли, айлё» в переводе ничего не означает. Так же, как когда-то мы учили на уроках пения: «На зеленом лугу, их вох». Что такое «их вох» — для меня и сейчас загадка.

А тогда... Карабины, карабины, карабины за плечами солдат.

Зеленого луга не стало — весь изрыли, окопали, а вместо «их вох» — «айли, айлё». Вместо улицы Карла Маркса — Берлинерштрассе. Вместо мира — война.

Жарко, душно, пыльно.

В какой-нибудь книге обязательно написали бы: «Багровое солнце проливало золотой мед своих лучей на пыльную спину дороги». В действительности все было проще.

Очередь возле дверей одноэтажного дома. Люди стояли молча. У женщин на глазах слезы.

Но никого не били в этом доме, даже не ругали. Вежливо брали паспорт, советский паспорт. Открывали, делали в нем пометку и ставили большую черную печать — орел со свастикой в лапах.

Люди выходили, не закрывая паспорта, чтобы не запечатать другую страничку.

И никакого «золотого меда лучей», а просто жарко, пыльно, душно. Очень душно. Нехотя шелестели листья. В воздухе клубилась пыль. Кто-то сказал: «Бабье лето». Нет, «бабье лето» не было, все принадлежало немцам.

Возле церкви гимназия. Окна открыты — жарко. Я встал на приступочку и заглянул в класс. Дети сидели за партами, как когда-то и я. Но теперь за учение надо платить.

Между партами прохаживался поп с крестом на груди. Он увидел меня, насупил лохматые брови, и на заросшем усами и бородой лице открылся розовый ротик.

— С богом, с богом, — сказал мне батюшка и взмахнул рукой, украшенной перстнем с разноцветными камнями.

С богом. «Готт мит унс» — «Бог с нами» — написано на пряжке ремня у немецких солдат.

С ними бог, а кто же со мной? Я не хулиганил, слушался родителей, а теперь мама болеет и нечего есть.

У переезда стоял немецкий эшелон. Дети просили хлеба, но солдаты изредка кинут несколько сигарет или железную банку из-под консервов, в которой можно еще что-то наскреести. А иногда летит пакет, туго перевязанный веревкой. Бросятся мальчишки, вырывают друг у друга, валяются по земле, разорвут бумагу, а там старые тряпки или облезлая сапожная щетка. Гогочут солдаты — обманули «Иванов». Не то что на фронте.

Газета выходит на русском языке, и напечатана такими же буквами. Но на первой странице улыбаются немецкие офицеры, и дальше: «Победоносная, славная, храбрая, великая германская армия. . . сломив, преодолев, окончательно разбив и рассеяв. . . остановилась перед Ленинградом». И никто больше не говорит: «Два-три дня — Ленинград капут».

Казалось, что остановилась не только армия, а все на свете. Вечно будут в Гатчине немцы, и мне придется раскладывать кирпичи для починки дороги.

День за днем, день за днем.

ХОРОШИЙ НЕМЕЦ

Я ушел с работы, лишь только получил дневную баланду под названием «зуппе». Попался хороший немец-начальник, он обещал отметить в табеле, что я работал весь день. Вчера немец подсел к двум девушкам, что раскалывали молотком кирпичи, и стал вспоминать, как жил дома, в Германии. Он работал учителем географии.

— Россия — это только Москва и Петербург, — разъяснял он, — а остальное — Германия и Азия.

Он знал, что я из Ленинграда, и сказал мне, что, если бы не немцы, Петр I не построил бы Петербурга.

— А как же народ: каменщики, плотники? — недоумевали девушки.

— О, народ, — улыбнулся учитель географии, — народу надо говорить: давай, давай работа! Иначе не только Петербург, но и эту дорогу сто лет будете строить.

Но меня он сегодня все же отпустил домой, потому что мама болеет, а ленинградцам надо помогать. Ведь из всей России, по мнению учителя географии, только в Петербурге жили культурные люди.

Когда я поднимался по лестнице с проломленными ступеньками к нам на второй этаж, солнце уже садилось. На стене горели такие красные прямоугольники, как в Поповке на террасе бабушкиного дома.

— Ты завтра обязательно иди на работу, — сказала мама, — иначе тебя увезут в Германию, а это так далеко от Ленинграда.

— Нет, что ты, — пытался я ее успокоить, — они могут только ненадолго отправить в лагерь, а это здесь, под Гатчиной.

И потом, что толку от ихней баланды? Лучше в лесу грибов набрать и ягод.

Но уже стояли холодные вечера и часто моросил дождь. Без часов наугад я просыпался среди ночи, надевал просохшие ботинки, а после пяти-шести шагов по грязи они снова протекали, как дырявые лодки. Нужно было идти через всю Гатчину по темной скользкой дороге. Вода хлюпала в ботинках, и от этого холодно было даже в желудке. А я шел, машинально переставляя ноги, закинув руки в карманы пальто, из которого я давным-давно вырос. Мне казалось, что я матрос, потерпевший кораблекрушение, плыву по безбрежному океану, а куда плыву — неизвестно. И сколько продержусь — не знаю.

ЛАГЕРЬ

Поздно вечером дома раздался требовательный стук в дверь и, не дожидаясь ответа, на пороге появился немец. На нем было прорезиненное пальто, а на груди на железной цепочке металлический полукруг с надписью «фельджандармери» — полевая жандармерия.

Он посмотрел на меня так, словно я ему должен был сто марок и не собирался отдавать. Немец достал какую-то бумажку, расправил ее в руках. . .

— Вы есть. . . — загнулся и с трудом, но очень старательно выговорил мою фамилию.

— Да, — ответил я, отпираться было бессмысленно.

— Пойдемте со мной, — сказал он и повернулся к двери.

— Он придет? — с тревогой спросила мама.

— О, да, он обязательно придет, — откликнулся немец, — только сейчас вечер, и так поздно мы его не отпустим.

Мама положила мне в карман хлеб, что я принес с работы, дала несколько вареных турнепсин. . .

— До свиданья, — сказал немец, ни к кому не обращаясь.

Мама вместо ответа заплакала.

На улице было уже темно. В окнах некоторых домов зажглись керосиновые лампы. От этих красноватых теплых огоньков мне стало еще холоднее. И я почувствовал, какой я маленький-маленький в этом мире. Мама где-то наверху, папа в Ленинграде. А этот чужой, совершенно незнакомый человек вывел меня на улицу, потому что ему так надо, и никто ничего не может сделать, даже возразить. Если побежать, он убьет. Да и куда бежать? Всюду немцы.

Он оставил меня с другим полицейским, а сам исчез в темноте. Изредка вдоль забора вспыхивал луч света от его фонарика.

Тот, с кем мне пришлось остаться, тоже был в прорезиненном пальто и железной каске. Он стоял, поеживаясь. Видно было, что я ему совсем не нужен. Он, наверное, хотел в казарму, раздеться и лечь спать. Или он думал о котелке душистого горохового супа, какой часто варился в немецких походных кухнях. Горох становился как пюре, и там плавали кусочки мясных консервов, которые так и таяли во рту. Чаще всего немцы варили именно такой суп, а оттого, что крышки котлов заворачивались накрепко, в супе полностью сохранялся неповторимый запах жареного лука и нежных свиных консервов.

Но вот первый полицейский привел паренька моих лет, в изодранной зимней шапке, а еще через несколько минут — испуганную, заплаканную девочку, она все время вздрагивала, как кролик, и озиралась по сторонам.

Немцы стали о чем-то вполголоса совещаться. Потом повели нас к железной дороге, по темным улицам, по задворкам домов, чтобы реже попадаться на глаза одиноким прохожим



и по возможности не напоминать людям, что ничего хорошего от фашистов ждать не приходится.

На горизонте вечернего неба разливалось бледное зарево. Оно вздрагивало и мерцало, как картина на киноэкране. Вот-вот этот далекий свет погаснет, вспыхнет электричество, и окажется, что нет ни немцев, ни войны, и я пойду домой.

Но нет. Нас провели мимо часового, вниз по каменным ступенькам. Из-под сводов подвала повеяло сыростью и табачным дымом.

Шагах в десяти от нас за длинным столом сидело несколько немцев в шинелях и касках. Среди них офицер.

— Хай хитля! — хором рякнули конвоиры, и каждый взмахнул рукой над нашими головами. «Хитля» у них получалось вместо «Гитлер».

— Хайль, — устало отозвался офицер.

Дальше, насколько я понял, один из конвоиров доложил офицеру, что привел тех, кто не всегда посещал работу.

Эти фашисты стали совещаться, не обращая на нас внимания, но зато из полумрака насупившись смотрел фюрер, и казалось, он вот-вот крикнет: «Эршиссен!» — «Расстрелять!»

Но вот перед нами открылась тяжелая дверь, и мы с парнем вошли в низкую камеру. Девочку немцам пришлось втолкнуть, потому что она очень испугалась темноты.

Вдоль одной стены оказались нары с охапкой соломы.

Щелкнула задвижка, и сразу послышался скрипучий металлический звук — где-то открыли другую дверь, по коридору побежали собаки.

Я достал хлеб, турнепс, у парнишки нашлась вареная картошка. Слабый свет пробивался сквозь тусклое стекло маленького окошка с массивными железными прутьями. Мы разделили всю нашу еду на три части. Девочка отказалась и, всхлипывая, забилась в угол.

Мне почудилось, что это сон и утром проснусь в Ленинграде, но сном был Ленинград.

Разбудил стук в дверь.

— Выходи строиться, — крикнул кто-то по-русски, и задвижка открылась.

Нас построили в коридоре. Мужчины, женщины, дети из разных камер переступали с ноги на ногу, шепотом обменивались вопросами.

— Молчать! Молчать! — закричал переводчик, сопровождавший офицера и двух солдат.

— Вы почему не ходили на работу? — спросил он, ткнув пальцами в первого из стоявших.

— Бабушка болела, — ответил тот.

— Вы?

— Ребенок болел.

— Вы? Вы? .. — спрашивал переводчик, и каждый быстро отвечал, называя какую-нибудь уважительную причину. Я сказал, что болела мать.

Опросив всех, он доложил офицеру, что симулянты для отправки в лагерь готовы.

Появился какой-то тип в серой кепочке, надвинутой на самые глаза. Он сообщил, что сам проводит нас в лагерь. И добавил: «Так как мы все свои, то можете звать меня не господином, а Василием Петровичем. Для ребят же я просто дядя Вася». У «дяди Васи» были стоптанные немецкие сапоги, а из кармана торчала ручка кожаной плетки.

В крытом брезентовом грузовике возле двери сели два немца с карабинами, а «дядя Вася» объявил, что если мы будем хорошо работать, то он похлопочет и нас освободят раньше срока.

Машина прыгала на ухабах, в кузове стояло облако пыли, сквозь которое пробивались лучи утреннего солнца.

Открылись и закрылись ворота, и мы за колючей проволокой. Часовые с собаками прогуливаются вдоль забора.

Привели в канцелярию. Краснощекий ленивый немец приветливо объявил, что обыскивать не будет, но требует, чтобы каждый вынул все, что имеет в карманах. На стол посыпались обломки карандашей, веревки, пуговицы, у ребят — наклейки от коробок из-под сигарет.

В это время немец-переводчик подскочил к моему приятелю и ударил его по затылку. Зимняя шапка свалилась с головы и полетела под стол.

— Знайт, в помещении шапки снимайт! — крикнул немец.

После того как содержимое карманов было уложено в отдельные коробки, каждую из которых розовощекий немец аккуратно перевязал веревочкой, нас подвели к стене.

— Читайте, — скомандовал переводчик.

На большом листе бумаги под фашистским орлом было написано, как надо вести себя в лагере. А также сколько плеток положено тому, кто разобьет глиняную миску или у кого обнаружат соль. После мне объяснили, что человек, имеющий

соль, что-то варит сам, — ведь еда в лагере посолена, — а если варит, то где берет?

На другой день рано утром всех построили на проверку. Женщины справа, мужчины слева. На крыльцо вышел комендант лагеря — тощий высокий офицер в узких, до зеркального блеска начищенных сапогах. За ним появились переводчик, еще несколько немцев и «дядя Вася».

Надзиратель что-то доложил офицеру и через переводчика обратился к нам. Он сообщил, что один из заключенных украл алюминиевые ложки и сейчас будет наказан. Он получит двадцать пять плеток.

Зачем заключенному понадобилось красть ложки при таких строгостях лагерной жизни? Наверное, дело было в чем-то другом, о чем немцы не собирались нам говорить.

Два надзирателя привели обвиняемого. Он лег на землю и закрыл голову руками.

Подошел солдат с плеткой. Крепко сжал губы, ударил один раз, другой, третий...

На рубахе у лежащего на земле человека проступила кровь.

И вдруг подбежал «дядя Вася». Он вырвал плеть у солдата. Оттолкнул немца. Тот, взмахнув руками, едва удержался на ногах.

За такую выходку фашисты любого другого русского расстреляли бы на месте. Но комендант только одобрительно кивал головой.

Солдат, как побитая собака, жалобно моргая глазами, отошел в сторону.

«Дядя Вася» торопливо засучил рукава и изо всех сил с каким-то фанатическим отервенением еще двадцать два раза ударил заключенного.

Мне сразу вспомнились слова «дяди Васи»: «Не зовите меня господином, а просто Василием Петровичем».

Пересчитав, как овец, нас начали грузить в большие автомашины с кузовами, покрытыми брезентом.

Одна пожилая женщина пробралась к заднему борту и через головы охранников плюнула в сторону «дяди Васи». Предатель рванулся к ней, но немцы опустили брезент, и машина поехала.

В разрушенном доме мужчины ломали стены, а женщины и дети носили кирпичи и складывали в ровные большие штабеля: битые в одной стороне, целые — в другой.

Рядом с домом была широкая дорога из Гатчины в Ленинград. Иногда по ней тяжелые тягачи тащили с фронта изуродованные немецкие танки. Тогда конвоиры сердились и старались напомнить нам, что все-таки хозяева здесь они. Немцы говорили, что если русские подбили один танк, то германские солдаты сожгут десять. Ведь русские танки вместо брони обшиты фанерой.

Поздно вечером нас везли обратно. Сквозь слюдяное окно в стене кузова я смотрел на улицу. В домах зажегся свет. В одном окне раздвинуты занавески, на столе стоял самовар, как у бабушки в Поповке. Какой-то старик пил чай. Он держал блюдечко на растопыренных пальцах. Наверное, пил вприкуску.

А я в Ленинграде всегда клал в чашку три чайные ложки сахарного песка. Но «в причмочку», как я тогда называл, тоже неплохо, лишь бы согреться.

Вернется ли все, что было? Стоит ли ждать, или уже ждать нет смысла? Тогда зачем жить?

Опять закрылись ворота лагеря.

Я поднялся на второй этаж, слева находилась комната для заключенных мужчин. Я остановился на площадке. Перила покрашены коричневой краской. Стойки перил — квадраты из толстых деревянных брусьев, перекрашены с угла на угол.

Зачем я здесь? Мне это совсем не нужно. Ни немцы, ни война, ни укладывание кирпичей в ровные ряды. Я просто хочу домой в Ленинград, в школу, чтобы все было как раньше. Мама будет меня водить в кино, в музеи, а папа придет с работы и начнет читать газету. Он, наверное, уже прочитал, что немцы взяли Поповку. И бабушкин сад взяли, и дом сломали, и нас выгнали. Об этом не напишут. Но папа догадается, ведь он взрослый и очень умный. И как же он ничего не придумал, чтобы спасти нас? Как же так? Слезы покатились по щекам.

— Ты что, мальчик? Мальчик, не плачь, — слышался женский голос. Я поднял глаза, молодая женщина погладила меня рукой по щеке.

— Тебя, наверное, скоро отпустят, а потом придут наши, — сказала она, нагибаясь к моему уху.

— Когда потом? — спросил я, не веря, что и правда может так быть.

Если бы я тогда знал, что через несколько лет приеду сюда на электричке из Ленинграда. Подойду к этому дому. Уже не

будет колючей проволоки, часовых... Поднимусь по лестнице, увижу те же перила с крестиками по диагонали. И вместо штрафного немецкого лагеря здесь будет мирное торфяное управление. В комнатах будут сидеть люди и что-то писать, склонив голову, как школьники на уроке чистописания. Если бы я мог это увидеть хотя бы на минуту или поверить, что так может быть...

— Давай, давай, — закричал немец, — шнель!

Я вошел в комнату — нары в два ряда, но настоящие матрацы и солдатские одеяла.

— Ты знаешь, что это за девушка с тобой говорила? — спросил мужчина в помятом пиджаке, когда-то белой рубашке и с пестрым галстуком.

Я пожал плечами.

— Это дочь известного коммерсанта. У ее отца огромная лавка на рынке. Девчонке дали большой срок, но отец ее выкупит. У него много денег. Очень много!

Наконец наступил для меня последний день. Прошло точно две недели, ни больше ни меньше. Утром на построении выкликнули мою фамилию, фамилию мальчика и той девочки, что забрали вместе со мной.

Повели в канцелярию. Все, что раньше было в наших карманах, высыпали из картонных коробок на стол.

— Распишитесь, что получили, — сказал переводчик.

Затем проводили до ворот лагеря.

Впереди дорога. Вдалеке за деревьями маленькие домики — окраины Гатчины. По земле ветер метет осенние листья, а по небу несутся обрывки туч. Они летят в сторону Гатчины и дальше, дальше, наверно до Ленинграда. Сейчас там дождик, а дети сидят в школе. В нашем классе одно место за партией свободное — для меня. А может быть, объединили классы, — говорят, много эвакуированных. И мою фамилию зачеркнули в классном журнале. Нет, не зачеркнули, просто завели новый журнал. И все так же, как до войны, только без меня.

НА РЫНКЕ

У входа на рынок лошадь глодала ящик. Хозяин привязал ее к столбу, а сам, не слезая с телеги, кричал:

— Продам сапоги, новые сапоги с немецкого солдата.

«Буква «с» в этом предложении предлог, — подумал я. —

Немецкий переводчик, может быть, не поймет, а вот если услышит полицай вроде «дяди Васи», то обязательно донесет фашистам».

— Налетай, покупай, — раздавался голос с телеги, — сапоги кожаные, совсем не ношенные, на подошве гвозди на память о госте!

Некоторые женщины улыбались, прикрыв платком рот, другие испуганно крестились.

Какой-то парень в шляпе и с маленькими усиками продавал самодельные зажигалки из пустых гильз.

— Зажигалка люкс, — рекламировал он свой товар. — Зажигается от одной мысли.

Среди толпы бродил немецкий солдат с буханкой хлеба. На рынок запрещен вход рядовым, но они все равно появлялись, кто с хлебом, кто с медом, похожим на деревянный кубик, а другие с сигаретами или мылом. Меняли они свой товар на вязаные носки и варежки, иногда продавали за деньги, немецкие или советские — все равно. (Одна марка равнялась десяти нашим рублям.) Золото на рынке скупал проворный молодой человек. У него был маленький ларечек. Немцы всегда очень вежливо с ним здоровались, отзывали в сторону и шептались. Они приносили ему шнапс, хлеб, сигареты и консервы.

На рынке продавалось почти всё: хлеб, сахарин, табак, лепешки из картофельных очисток: те, что из очисток сырой картошки, — дорогие, а из вареной были не очень приятные на вкус, но стоили дешево.

Вдруг захлопнулись ворота рынка. Появились жандармы и солдаты с карабинами — облава. Началась проверка документов, и объявили торговлю по «государственной» цене.

Если товар мелкий, то продавцы старались его спрятать. Сахарин и спички пихали в карманы, в шапки, на дно сумок. Но куда молочницам деть бидоны?

— Молёко пять пфенниг литр, — кричал немец строгим голосом.

Молочница плачет, хочет вылить молоко и убежать с бидоном. Но вокруг солдаты и жандармы, а из толпы тянутся котелки, кружки, бутылки.

— Продавай! — вопят бабы. — Продавай, буржуйка, у нас дети!

Тогда молочница начинает пить молоко. Пить можно, она хозяйка, молоко принадлежит ей.

Вылить — значит, подорвать мощь немецкого тыла, унести не позволят немцы, да и толпа бросится на нее. Тут уж не только бидоны, но и одежду не спасешь.

Молочница пьет один литр, другой. Слезы и молоко текут по лицу, а она пьет и пьет. Народ смеется, улюлюкает. Немцы хохочут. Молочница пьет из последних сил. Потом все равно начинает продавать за пфенниги.

Все набирают молока в разную посуду: консервные банки, старые галоши, несут молоко в цветочных горшках, заткнув дырку в донышке.

Новый порядок!

Молочницы с раздувшимися животами идут с рынка. Немцы открывают крышки бидонов, смотрят, не осталось ли молока. Если осталась хоть чуточка на донышке — выливают на землю.

В столовой на рынке всегда продавался «молочный суп». По «государственной» цене. Цена твердая — несколько пфеннигов, но суп не совсем молочный и уж совсем не суп. Просто соленая вода, подбеленная молоком.

Я съedal еще две-три тарелки и еще покупал маме и нес домой в котелке.

Сегодня не придется купить — у входа в столовую тоже немцы.

Народ выпускают с рынка, как сквозь решето, вокруг сплошная цепь солдат.

Крики и окрики, детский плач. Новый порядок!

— Дяденька, а еще будут суп продавать? — спрашиваю я у лохматого мужика в холщовой рубашке, он всегда с утра до вечера сидит в столовой в углу. Там тепло — рядом круглая печка.

— Какой суп, — ворчит он, — видишь, что здесь заварилось.

Старичок с бородкой торжественно предъявляет жандарму несколько каких-то бумаг. При этом снял шляпу и, наклонившись, твердит: все в порядке, как видите, все в порядке.

Немец бросил бумаги в его шляпу. И взял мой картонный «аусвайс», где указано место жительства и фамилия.

— Вы не знаете, — обратился я к старичку, когда мы прошли сквозь оцепление, — сегодня еще откроют столовую?

— Не знаю, голубчик, не знаю.

Потом спохватился и добавил:

— А вы хотите ли шкварок?

Я сразу почему-то решил, что он работает на бойне бухгалтером.

— Вот у меня все деньги, — сказал я и протянул на ладони несколько пфеннигов.

— Зачем деньги, бесплатно, совсем бесплатно, — сказал старик и в блокноте написал адрес.

— Сейчас и идите, — добавил он, протягивая вырванный листок.

Я поблагодарил старика и, отойдя на достаточное расстояние, развернул сложенную пополам бумажку. Под адресом была приписка:

«Уважаемый Арнольд Петрович! Прошу выдать подателю сей записки солидное количество шкварок».

И далее следовала неразборчивая подпись.

Дать «леща», «затрешину», «калган» (это щелчок по лбу), но «шкварок» — такого я не слышал.

Все же решил сходить и выяснить, в чем дело. Неужели старик подшутил?

Вот я увидел дом вроде конюшни, но запах вокруг стоял, как в булочной. Я заглянул в приоткрытую дверь. Направо печь с железными воротами. Двое мужчин в белых фартуках суетятся, то и дело наливая тесто на плоские металлические сковородки с длинными железными ручками. В одну льют тесто, другой накрывают и, как огромные клещи, суют в печку.

Я достал записку.

— Бери, вон там в ящике, — сказал тощий мужчина с капельками пота на лбу.

Оказалось, так делают вафли. Тесто, что вытекает по краям вафель, срезают ножом. Это и есть шкварки. Пусть горелые, но из настоящей муки!

ВЕРКШТАТЦУГ 215

Я отправился на биржу труда. Две ступеньки вверх, за деревянным барьером несколько столов, за одним — белокурая женщина. В комнате пахнет натопленными печами. В шкафах множество ящиков, на каждом буквы немецкого алфавита и номера.

Прислонившись к печке спиной, стоит и греется толстый высокий немец. Круглое лицо раскраснелось, веки опускаются.

— Здравствуйте, — сказал я, — вот! — И протянул белокурой женщине справку о том, что был четырнадцать дней в штрафном лагере.

— Тебе надо сегодня же явиться на работу, а то опять отправят, — с сочувствием в голосе сказала белокурая женщина. — Что ты столько прогулял?

— Не прогулял, а за ягодами ходил, у нас дома есть нечего, — ответил я.

— А большая семья? — поинтересовалась белокурая женщина.

— Мама, но она больна.

— Огород есть?

— Мы из Ленинграда.

— Ну ладно, мальчик, тебе, кажется, повезло, — сказала белокурая женщина, поднимаясь.

Она выдвинула какой-то ящик и стала рыться в бумагах.

Потом повелительным тоном сказала, протягивая мне записку:

— Иди по этому адресу, и тебя примут на другую работу. Там кухня для военнопленных, их держат при части и кормят лучше, чем в лагере... Иначе какой с них толк, — еще громче добавила она и посмотрела на немца. — Ну, иди, иди.

— Спасибо, до свидания, — торопливо проговорил я и направился к двери.

— До-сви-дань-я, — сказал немец голосом попугая и сладко потянулся. Он явно ничего не понял из нашей беседы. Но приветливый тон белокурой женщины настроил и его доброжелательно.

Немецкой войсковой частью «Веркштатцуг 215» командовал хауптфельдфебель Вилли Кельнер. Худощавый, черноволосый, очень подвижный и аккуратно одетый хауптфельдфебель осмотрел меня и спросил через девушку-переводчицу, могу ли я носить дрова, умею ли растапливать печку и чистить картошку.

— Картошку не умею, — робко сказал я.

— Все может, — перевела девушка.

— Гут, — ответил хауптфельдфебель и велел мне подождать.

Я сел на стул возле двери.

Хауптфельдфебель что-то продиктовал, и здоровенный лысеющий унтер-офицер быстро напечатал на машинке.

Хауптфельдфебель внимательно прочел, подписал и поставил печать.

— Пойдешь в немецкую баню, — сказала переводчица, — предъявишь эту бумажку, помоешься, а завтра к шести на работу. Знаешь красную казарму налево за лагерем военнопленных? Там тебя встретит Жорж, он русский и все объяснит. Он будет твоим начальником.

У входа в баню дорогу преградил солдат без карабина с расстегнутым воротом. Он стал что-то быстро говорить и показывать рукой на улицу. Я достал и развернул бумажку. Он схватил ее. Покачал головой и велел ждать. Через некоторое время он вернулся и дал знак пройти за ним.

Когда я разделся и оказался в зале, где в пару, гремя тазами, мылись немцы, началось оживление. Голые фигуры обступили меня и стали удивляться. Им показалось, что в Германии уже берут в армию таких маленьких, как я.

Вот вам и высшая арийская раса — они приняли меня за немца. «Если бы люди ходили без одежды, то не было бы войны», — подумал я.

— Их бин, — сказал я, вспоминая урок немецкого языка, — рус.

Получилось так, как если бы вылить на них холодную воду, целое корыто, в котором в Поповке мыли Янку. Немцы всполошились, забегали, закричали, стали размахивать руками, ругаться. Кто-то побежал жаловаться начальнику бани.

— Баня только для немцев! — кричали они.

Появился солдат в форме и что-то объявил. Немцы стали утихать. Кое-кто, не домывшись, отправился в раздевалку.

А я ополоснулся под душем и тоже пошел одеваться. Мне на них на всех было абсолютно наплевать, — главное, теперь мама не умрет с голода. Да и меня, наверное, накормит этот самый Жорж, — ведь он русский.

ГЕОРГИЙ ЖУЧКОВ

Утром на рассвете я уже стоял перед двухэтажным зданием из красного кирпича.

— Жорж, — крикнул немец в белой куртке, — тебе помогать.

Потом он сказал несколько слов по-немецки.

Появился Жорж. Он был среднего роста, русые волосы зачесаны на пробор. На нем холщовая немецкая куртка без погон, рукава засучены, красноармейские галифе и русские сапоги.

— Мне уже сказал Эрвин, — промолвил он, кивая в сторону немецкого повара, — идем.

Он положил мне руку на плечо и повел в маленькую комнату, где из поставленной «на попа» бочки была сделана печка с большим котлом.

— Вот кухня для наших ребят, здесь и будешь работать, но сначала поешь.

Он принес в алюминиевой кружке черного кофе и кусок хлеба.

— Хлеб я пока не буду, — сказал я нерешительно.

— Ешь, ешь, — подбодрил меня Жорж, — вечером суп возьмешь с собой, а здесь еще пообедаешь.

Пленные при части пилили и кололи дрова, подметали двор, добывали кирпичи из разбитых стен граммофонной фабрики. Жили они рядом с немецкой казармой в маленькой пристройке. На ночь их закрывали снаружи на всякий замок. Кормили лучше, чем в лагере, по крайней мере баланда была из настоящей ржаной муки. Немцы были заинтересованы в рабочей силе, поэтому из лагеря взяли самых здоровых военнопленных, и теперь не было смысла их морить голодом.

Жорж рассказал, что он был командиром, но не политруком, — поэтому его не расстреляли.

Теперь его будили в четыре утра, он затапливал печку на немецкой кухне. Она помещалась рядом, через площадку. Там посередине комнаты стоял котел на колесах с резиновыми шинами. Немцы разобрали стену и вкатили полевую кухню, трубу вывели в дымоход. Кроме большого котла с круглой медной крышкой и клапаном наверху в полевой кухне был еще один котел, четырехугольный, для кофе.

Жорж сначала разводил огонь под этим котлом, когда вода закипала, будил немца и затапливал печку под котлом, где будет вариться суп, затем отправлялся на кухню для военнопленных.

Потом снова возвращался на немецкую кухню, мыл котел после кофе и начинал чистить картошку. Поздно вечером, когда становилось совсем темно, он возвращался в комнату, где на двухъярусных нарах спали военнопленные.

— Ребятам живется легче, — сказал мне Жорж, — они отработывают свое и сидят, топят печку да пекут картошку. Вон она, видишь, на нашей кухне, в том ящике лежит. Принес охапку дров — несколько картошек в карман. Конвоиру за всеми не уследить. Ребята обычно работают по пять, по шесть человек, а он один. Ему главное, чтобы копошились. Бежать — все равно далеко не убежишь без документов, да в такой одежде. И куда бежать?

Здесь в немецких газетах на русском языке пишут «господа военнопленные», а сами бьют черпаком по голове, если второй раз встанешь в очередь за баландой. Это в лагере, а тех, кого в Германию увезли, просто стреляют как собак, если ослаб. Нет, никому мы не нужны, — грустно сказал Жорж

— А дома кто-нибудь остался? — спросил я.

Жорж не ответил и отвернулся.

— Вот что, — сказал он, помолчав, — ты подкладывай дрова, а я пойду на ту кухню. Когда вода закипит, позови меня.

Я сел на табуретку. «Такая работа мне подходит, — подумал я. — Не то что «долбить» кирпичи на холодном ветру». Дрова весело трещали. Но дверцу открыть, чтобы погреться, нельзя, иначе не скоро закипит вода.

За спиной послышались шаги. Немецкий повар, что-то напевая, принес большой алюминиевый противень с душистым, пахнущим ванилью пудингом — солдатам на третье. Немец поставил пудинг возле окна и ушел. Здесь было холоднее, чем на той кухне, а до обеда пудинг должен остыть.

Пудинг налит ровным слоем и уже немного загустел. Если бы рассыпчатая гречневая каша, то можно было бы запустить туда ложку и никто бы не узнал, что какая-то часть съедена, а здесь ровное поле, как пирог, — чуть ковырнешь, и уже заметно.

Запах, какой приятный запах шел от пудинга! Проклятых фашистов кормят, как дошкольников. Утром кофе, хлеб с ромбиком масла, в обед суп, второе и даже пудинг, а вечером опять второе и кофе. Я стал внимательно разглядывать противень с пудингом и прислушиваться, не идет ли немец. Вдруг я обратил внимание, что вдоль краев по стенкам всего противня пудинг отстал и образовался сплошной овражек. Значит, так бывает всегда, подумал я, ведь я его не трогал.

Я сунул палец между стенкой противня и пудингом, потом осторожно повел руку на себя. Палец, как плугом, выворо-

тил пласты пудинга. Ничего, что руки грязные, зато такого кушанья я не ел ни разу в жизни.

Вернулся Жорж, позвал меня и сказал вполголоса:

— Я сейчас выйду на улицу, посмотрю, а ты возьми вон то ведро с картошкой и отнеси в нашу комнату, замок не закрыт, он просто висит на одной петле. Ну уж если попадешься, скажи, что я послал. А обойдется, то поставь ведро за печкой.

«Картошка не патроны, — подумал я, — поймают — не расстреляют. И не скажу, что Жорж послал, а будто решил попросить пленных, чтобы помогли почистить, я-то ведь не умею. У нас дома мама картошку чистила».

— Молодец, — сказал Жорж, когда я вернулся, — сам погибай, а товарища выручай — так наш политрук любил говорить.

«А он хороший, — подумал я о Жорже. — Когда он был командиром, наверное, его красноармейцы любили».

— А вы служили в пехоте или кавалерии? — спросил я.

— Теперь это уже не имеет значения, — перебил меня Жорж, — но в плен я попал не по своей воле.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

— Ты знаешь, где Жорж? — крикнул Эрвин, когда я утром подошел к казарме.

— Нет, — ответил я удивленно.

— Почему вчера не работать?

— Маме было плохо.

— Очень врешь!

— Нет, правда, а где Жорж?

— Капут, — сказал Эрвин, недоверчиво посмотрел на меня и ткнул указательным пальцем себе в грудь, — капут.

Мне все рассказала женщина, которая приходила мыть полы в казарме. Эрвин позвал ее чистить картошку. «Вчера, — сказала она, — я сидела на табуретке возле круглой печки на немецкой кухне. Рядом стояло ведро с картошкой и бак с водой. Эрвин у окна резал лук. Вошел Жорж, перешагнул через очистки, вынул из круглой печки маленькую желтую коробочку, положил ее в карман и ушел. Через несколько минут раздался выстрел. Жорж застрелился. Когда прибежал Эрвин, Жорж еще дышал. Эрвин побледнел и бросился в канцелярию. Машину дали. В коробочке из желтого картона лежали патроны, где их достал Жорж — неизвестно».



Карабин Эрвина всегда стоял на кухне у Жоржа, ведь на немецкой он мог заржаветь, — там от пара очень влажный воздух.

По дороге в лагерь для военнопленных, где был фельдшер и что-то вроде лазарёта, лейтенант Красной Армии Георгий Жучков скончался.

Пленным разрешили сделать гроб.

Жоржа похоронили на кладбище, потому что он не был ни коммунистом, ни комиссаром, ни евреем.

Но он был, и его не стало.

Маме я ничего не сказал.

На другой день пленные пилили дрова и вполголоса говорили: «Вот я бы, вот мы бы... надо было убить фельдфебеля или другого немца, а последнюю пулю в себя».

Поговорили, поговорили и... пошли на кухню за супом.

На место Жоржа назначили другого пленного, Ивана Маслобойникова, а в помощь ему взяли вольнонаемную Ольгу — розовощекую, толстую, добродушную. Ольге было лет двадцать, и она нравилась Эрвину. Он посылал ее в кладовую за макаронами и мукой, а она в карман насыпала сахарный песок и приносила мне. Теперь мы с мамой иногда пили сладкий чай.

Если у Эрвина оставался немецкий суп, то он наливал Ивану и мне. Ольга не в счет. Он ее кормил даже изюмом. Бывало, заведет в кладовую и пытается обнять, а та набьет рот изюмом, отталкивает Эрвина, пыхтит и повизгивает.

— Дома у меня целая бочка огурцов и картошка своя, — хвасталась она Ивану. — Я ни при какой власти не пропаду. Русские бесхозяйственные, все на авось надеются, а немцы бережливые, расчетливые, любят порядок. Только мне их порядок тоже ни к чему. Мне нравится жить свободно и независимо.

— То-то ты независимо живешь, — сказал Иван с усмешкой, старательно выскабливая большой котел.

— А ты ружье бросил, сдался и теперь с мочалкой в руке прислуживаешь врагам, «господин» военнопленный, — презрительно сказала Ольга.

— Я не один, — злобно оправдывался Иван.

«Что же случилось?» — подумал я и снова вспомнил, как в кино Суворов, размахивая саблей, кричал: «Вперед, чудобогатыри!»

Однажды утром я сказал маме:

— Не пойду на работу. Все равно уже поздно, проспал я. Завтра скажу Эрвину, что тебе хуже стало. Он, кажется, неплохой человек, и Жорж его хвалил.

— Опять тебя в лагерь заберут, — тревожно сказала мама.

— Да нет, — ответил я. — Никто не пожалуется фельдфебелю. Эрвин ко мне хорошо относится. Мы даже спорили иногда, у кого лучше. Я говорю: школа у нас бесплатная; он говорит: налоги у вас на все, вот и получается плата за обучение.

— Ты его не убедишь, — сказала мама, — им наплевать на нас. Замерзнем или умрем, что были, что не были. . .

— Не замерзнем, — решительно сказал я. — Пойду на станцию за углем. А то и правда совсем холодно будет, вон в котелке уже лед получился.

— Сходи, только, смотри, осторожно, — предупредила мама. — Да много угля не носи — надорвешься.

У станции были целые горы угля, только там стоял часовой. Пришлось долго выжидать в канаве, пока он зайдет за ржавую разбитую цистерну. Как только он скрылся из виду, я быстро подбежал к ближайшим от меня кучам угля и откинул несколько кусков в канаву. Остальное сделать было нетрудно: собрать уголь в старую плетеную сумку и пробраться обратно, до того места, где часовой меня не увидит. После можно выпрямиться во весь рост и спокойно идти домой.

Все удалось как нельзя лучше.

Дома я положил в печку обрывки газет, разбил камнем на мелкие куски доску от ящика (топора не было) и затопил печку. Как только огонь с треском побежал по дереву, я стал подбрасывать мелкие кусочки угля. От одного запаха начинающего нагреваться угля стало уютнее в комнате, а от света пламени теплее.

Я сидел перед печкой на перевернутом вверх дном ведре, немного в стороне от топки, чтобы и мама могла видеть огонь.

Мне вспомнилось, как в Ленинграде отец выливал в печку старые, непригодные лекарства. Он заранее говорил: «Смотри, сейчас вспыхнет синее пламя, а этот порошок будет трещать, как пулемет» (то-то был праздник для меня!). Запахи распространялись по комнате. Я радовался, а мама серди-

лась. Наверное, сейчас и она вспомнила эту историю и, глядя куда-то сквозь меня и печку, сказала странным, необычным голосом:

— Что-то сейчас делает наш папочка? Ведь там блокада, а он и перед войной все время болел.

— Какая блокада, это немцы врут, — сказал я, пытаюсь подбодрить маму.

Но она не слушала меня, продолжала:

— Если он жив и вы встретитесь, не забывайте меня, а то...

— Что за глупости говоришь, — прервал я ее. — Теперь у нас будет суп и даже хлеб. А летом опять грибы и ягоды.

— Я не доживу до лета, — сказала мама. — Вчера днем, когда ты ушел на работу, к нам прилетала птичка и долго-долго билась о стекло. Она прилетала за моей душой.

— Зачем ты так говоришь? — спросил я.

— Так было, — возразила мама. — Может, я в чем виновата, — продолжала она задумчиво, — но я хотела, как лучше... Когда все кончится... ты вернешься домой. У тебя будет сын, он пойдет в школу... в первый класс... Смотри, когда поведешь через дорогу. Трамваи, они как сумасшедшие...

НИКОГО НЕТ

В тот вечер, как обычно, я возвращался домой.

Стал подниматься по лестнице. Вижу, наверху стоит старуха, соседка с первого этажа. Руки устало опущены, рукава засучены. Что она делала у мамы?

Старуха смотрит на меня и молчит. Я остановился. Тишина.

Старуха не двигается, словно окаменела. Я поставил на ступеньки котелок с супом. Ботинки у старухи мужские, с новыми шнурками...

Я медленно повернулся и начал спускаться.

— Царство ей небесное, — сказала старуха ледяным голосом и добавила: — Переночуй у нас, если боишься...

«Я есть, а вокруг нет ничего, — подумал я. — На много километров пусто».

Я с удивлением рассматривал свои забрызганные грязью брюки и ботинки, похожие на ржавые утюги.

Раз-два, раз-два, — двигаются утюги. Так можно дойти до Ленинграда, но и там нет мамы. Ее больше не будет никогда.

— Да, вот оно дело какое, — слышалось откуда-то издалека.

Оказалось, что это говорит Иван Трофимович, муж старухи соседки, а я уже сижу за столом напротив него.

В руках у Ивана Трофимовича черная кружка, наверно с кипятком. Он дует в нее, берет то в одну, то в другую руку, стараясь отогреть озябшие пальцы.

— На вот, супу поешь, — предлагает старуха, и у меня перед глазами появляется мой котелок.

— Спасибо, не буду, — отвечаю я.

— Надо исть, надо, — укоризненно говорит старуха. — Ты же пацан еще, бог даст, поедешь домой. . .

— Чаю попей, чаю, — вставляет старик, — чаек, он душу согреет, а после спать.

— И то верно, — подхватывает старуха, — я тебе постелю на сундучке.

И, положив руку мне на плечо, добавляет:

— Ты поплачь, мы не будем смотреть.

ДОМОЙ

Хауптфельдфебель разрешил мне жить вместе с пленными. Да и что делать в разбитом доме на краю Гатчины, когда уже никого и ничего нет.

Взял я одеяло и подушку, в наволочку сложил мелкие вещи и по грязной размокшей дороге направился навстречу новой жизни.

— Спать будешь здесь, — сказал Степан Васильевич, старый солдат с печально обвисшими усами, и указал на второй этаж кровати, сделанной из досок. Степана Васильевича в начале войны ранило в плечо. Он упал, потерял сознание, а когда очнулся, то вокруг были немцы. Теперь он вместе с другими пленными целыми днями разбирает разрушенную стену граммофонной фабрики. Немцам нужны были кирпичи. Там, под обломками досок и штукатурки, пленные находили части от патефонов, несли их к себе и вечерами свинчивали, приколачивали, пилили напильником. Патефон все же сделали. Оставалось только достать пластинки. А пока сами, сидя вече-

ром у печки, тихо пели песни. О довоенной жизни. Когда звучала «Катюша», то казалось, что нет войны, где-то играет радио или на улице идет первомайская демонстрация.

Иногда заходил немецкий часовой, ему холодно дежурить ночью. Он говорил:

— Давай, давай, гут, гут.

И пленные пели:

Гремя огнем, пойдут, не беспокойся,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Ося
И первый маршал в бой нас поведет.

— Карашо, — говорил немец и причмокивал от удовольствия.

А мне становилось особенно грустно и еще больше хотелось домой.

«Пока не настала настоящая зима, пора в Ленинград, — подумал я. — Меня же здесь ничего не держит».

На другой день я взял хлеб, котелок с супом и отправился в лес.

Справа — шоссе Гатчина—Ленинград.

Я буду идти левее, чтобы не наскочить на патруль.

Не может быть, чтобы вдоль всего фронта стояли немецкие часовые, один рядом с другим, как рейки у забора.

Если все время идти осторожно, как в Поповке, когда мы играли в войну, то я обязательно попаду к нашим. Сначала меня приведут в штаб. Нет, не так! «Стой, кто идет?» — спросит красноармеец. «Бывший пионер», — отвечу я.

Пожалуй, лучше сказать просто «пионер», потому что никто меня из пионеров не исключал.

«Хорошо, — скажет красноармеец, — идем в штаб».

В штабе за столом сидит седой комбриг. Он пьет чай и курит папироску.

«Здравствуйте, — скажу я, — можно позвонить папе в Ленинград?» — «А какой номер телефона?» — спросит он. «Не знаю, у нас нет телефона, — отвечу я. — Позвоните, пожалуйста, на фабрику «Красная нить», он там работает бухгалтером». — «Поезжай лучше на поезде и сам все расскажешь, у тебя есть деньги на билет?» — «Пфенниги», — отвечу я. «Не годятся», — скажет комбриг.

Между тем стало совсем темно и холодно. Мох, как губка,

пропитан водой. Мне показалось, что я уже пересек линию фронта и теперь кругом наши.

Когда между деревьями появился просвет, я стал красться, перебегая от одного куста к другому.

Показались домики и дорога. Ни немцев, ни наших. Я перелез через канаву и опять огляделся. Что-то знакомое. Да, сюда я несколько раз ходил покупать картошку. Это Вайлово — рядом с Гатчиной.

На работу успел вовремя. Немцы меня не искали. Степан Васильевич дал сухие брюки. И не спросил, где я пропадал ночью.

— Ты знаешь, — сказал он, — я узнал от Семена, а он говорит по-немецки и вертится среди них: мы скоро должны уехать. Немцы все время меняют расположение частей, чтобы сбить с толку нашу разведку. Ты бы мог, конечно, остаться, но тебя поймают и отправят в Германию. Им нужна молодежь, своя-то на фронте. Кажется, нас увезут в Эстонию. Поедем с нами. Они скоро выдохнутся, тогда и посмотришь, что делать.

РУКАВИЧКИ

Эстонцы называли свой город Пыльтсамаа, а немцы — Пыльцама.

Домики в снегу, ограды, сложенные из больших валунов, да развалины старого замка.

Кухню немцы опять вкатили внутрь дома. Но вода далеко. Надо с ведрами идти по улице, мимо голых деревьев, под арку, на маленький дворик, где стоит колонка.

Слева одноэтажный домик, впереди разбитая стена из огромных камней.

Когда было не так холодно, я ходил за водой вместе с двумя детьми русских прачек, тех, что стирали белье для немецких солдат. Девочку звали Рая, мальчика — Вова. Им было лет по шесть.

Я рассказывал им, что где-то за снегами, за линией фронта есть очень большой и красивый город Ленинград. Там музеи, кино, зоопарк. Я говорил им, как я жил в этом городе до войны с папой и с мамой.

Я объяснял им, что луна совсем не блин, а только так кажется. Что она круглая, как мячик, и не падает оттого,

что одинаково притягивается землей и солнцем. И только поэтому она держится на небе. «Вот смотрите, — говорил я, ставил ведра и брал за руки Вову и Раю, — тащите в разные стороны. Видите, я на месте, так и луна».

Потом я качал рычаг колонки, наливал воду и шел за разбитую стену.

Вова и Рая оставались возле ведер, а я срывал с себя шапку, подкидывал ее вверх и кричал на разные голоса. Это означало, что я борюсь со страшным злым волшебником Джимом Кашкашем.

Чаще всего дети, не дождавшись конца представления, убегали.

Я брал ведра и нес воду на кухню. По дороге думал, что буду делать в гостях у Петра I, или в своем воображении видел себя летчиком, спасающим челюскинцев, или на истребителе с красными звездами на крыльях я гнался за «мессершмиттом» и, конечно, сбивал его.

Однажды было очень холодно. А вода все равно нужна. Чтобы не братья голый рукой за холодный железный рычаг, я старался держать его, подложив под ладонь край рукава. Но я уже вырос из своего пальто, и рука невольно касалась ледяного металла.

Когда я стал брать ведра, передо мной, словно из-под снега, появилась маленькая девочка. Она сказала что-то по-эстонски и протянула вязаные рукавички. Я сначала растерялся. Но она показала на окно каменного одноэтажного домика, за стеклом на нас смотрела женщина, наверное мать этой девочки. Она закивала головой и что-то стала говорить. Я не слышал что, да и потом она, очевидно, говорила по-эстонски. Но я все равно понял.

— Спасибо, — сказал я девочке.

Она поклонилась и побежала домой, к маме, в тепло.

Я надел рукавички.

Еще раз взглянул в окно, но там уже никого не было.

ПЕРЕКРЕСТОК

— «Что наша жизнь? — Труба», — пропел рыжий Леша, почесывая затылок.

— Игра, — поправил его Степан Васильевич, укладывая в большую консервную банку картошку.

— Вот и доигрались, — не унимался рыжий Леша.

Семен разгреб золу в печке, приготовил место для банки с картошкой и сказал:

— Многие так и думали, что игра, и главного не заметили.

— А что, по-вашему, главное? — спросил рыжий Леша. — Техника? Так ее у нас сроду не было!

— Главное, — сказал Семен, — перекрестки. На каждом шагу перекресток. Хочешь — прямо иди, хочешь — сворачивай. Свернешь — покормят, приоденут...

— Тебя приодели, все новое дали, как настоящему фрицу, — перебил его Степан Васильевич, — ходишь свободно. С фельдфебелем за руку: «Гутен таг, ваше благородие».

— И вас приоденут, если будете хорошо работать, — сказал Семен.

— На кого работать, — возмутился Игнат, бывший матрос, хотя Семен к нему не обращался, — на тебя, что ли?

— Зачем на меня, — спокойно возразил Семен, — на великую Германию.

— На кой... мне твоя Германия, — крикнул Игнат, — я русский! По-ни-маешь — русский, — повторил он, ударяя себя в грудь.

Степан Васильевич придвинулся к Игнату и взял его за плечи.

— Успокойся, Игнат, — сказал он, — Семен почти немец, и чуть что — нас в лагерь.

— При чем здесь национальность? — спросил Семен.

— А при том, — возразил Игнат, — или мы, или вы.

— Эх, Игнат, — сказал Семен, покачивая головой, — неважный был у тебя замполит.

— Не тебе судить, — огрызнулся Игнат, — мой замполит сейчас воюет под Ленинградом. И пока он там, вам не пройти! А возьмете Ленинград, я покончу с собой и еще кое с кем.

— Чтобы с собой покончить, нужна сила воли, а ты только «баланду разводишь» — так, кажется, моряки говорят? — спросил Семен.

А утром я его встретил на заснеженной тропинке. Вдалеке виднелась казарма, а справа мотки колючей проволоки и какие-то рамы с разбитыми стеклами.

— Вы очень сердитесь на дядю Игната? — спросил я, когда Семен приблизился. Он придержал меня за плечи и, обходя, произнес вполголоса:

— С Игнатом я разберусь сам, а ты, если хочешь вернуться домой, этого дела не касайся.

— Домой? — переспросил я. — Так ведь немцам Ленинград не взять.

Семен остановился и медленно направился ко мне. Он двигался, как танк, ближе, ближе. Я съежился, осмотрелся — куда упаду после его удара? Снег лучше, чем та колючая проволока или битое стекло.

— Немцы не собираются брать Ленинград, — сказал Семен, — сам видишь.

Я взглянул на уходящего Семена. Его спина покачивалась в такт шагам, а полы зеленой шинели развевались на ветру.

Месяца через два была свадьба. Семен женился. Говорят, было очень весело. Немцы пили шнапс, играли на губных гармошках и аккордеоне, пели русские песни о пряхе и про Стеньку Разина. Их слова — мотив наш.

Пригласили Степана Васильевича и Игната. Игнат отказался.

Невеста была в белой фате и в платье до пола.

— Богатая, — говорили, — невеста, а Семен что? Ничего, кроме внешности. Светлые вьющиеся волосы, нос с горбинкой. И доверие немцев — даже свадьбу устроили.

На другой день Семен уехал вместе с женой.

Может быть, Семен был не Семеном, а жена вовсе не его жена, а вот документы из канцелярии части были самые настоящие. Он увез все, что было в сейфе. И машину ему никто не давал — сам взял.

ЕЩЕ РАЗ ДОМОЙ

На лето «Веркштатцуг» переехал в лес. Колодца нет. Речка течет среди поля, вокруг дороги рожь. От кухни до воды километра два. Эрвину пришлось брать легковую машину с открывающимся брезентовым верхом и на ней в двух больших баках возить воду из речки.

Я черпал ведрами воду и думал: иногда слышен отдаленный раскатистый гул фронта, — выходит, что наши не так далеко. Если я научусь управлять машиной, то поеду домой, как Семен. Патрули будут думать, что едет начальство, и меня не задержат, тем более ночью не разглядеть, кто за

рулем, ведь на ночь немцы поднимают брезентовый верх автомобиля.

Я стал внимательно смотреть, какие штучки шевелит Эрвин, чтобы машина завелась и поехала. Мне хватило двух дней, чтобы все изучить. Дверца машины не запирается, ключ для включения электричества Эрвин оставляет на ночь рядом с приборами.

Может быть, пригласить кого-нибудь из пленных? Со взрослым безопаснее, особенно если он шофер.

Спросить Степана Васильевича? Он знает всех пленных, но он как-то говорил, что у нас их все равно всех расстреляют. Ведь они попали в плен. А Семен? Нет, решил я, еду один.

В машине не очень темно — лунный свет пробегает, как рябь по воде, потому что листья деревьев дают тень, а их колышет ветерок.

Первое, что надо сделать, — повернуть ключик, потом ногой на педаль: . . .

Пахнет кожей и бензином, немного низко сидеть, но в окно видно, что делается впереди. Наконец-то, столько времени я ждал, когда поеду домой.

Им хочется воевать, воровать кур, ⁷отнимать у населения валенки. Я сам по себе, они сами по себе.

Мотор приглушенно, как-то неровно загудел, и машина, покачиваясь, словно поплыла через полянку. Впереди появилось дерево. Меня качнуло вперед, я ударился о руль, нога соскочила с педали, мотор заглох. Я забыл, что впереди мотор в полтора метра длины, думал, что еще успею повернуть.

— Выходи, — крикнул Фогель, дежурный солдат, который охранял часть.

Он выдернул из машины ключик и положил в карман.

Металлическая поперечная планка, та, что перед мотором, согнулась от удара о дерево.

— Надо отъехать цурюк, — сказал я Фогелю.

Он заругался и повернулся спиной. Утром на кухню пришел хауптфельдфебель с переводчицей.

— Ты что делал ночью? — спросил он.

— Катался, — ответил я.

— Что же не днем?

— А кто днем разрешит?

Тогда он направился к Эрвину.

— Что ты о нем думаешь? — спросил хауптфельдфебель и, проходя мимо меня, закусив губу, укоризненно покачал головой.

Если бы не Эрвин, отправили бы меня в гестапо, а в лучшем случае — в лагерь.

В ПОЛЬШУ

У Эрвина в Германии жена, сын и дочь. Он немного говорит по-русски, и, наверное, поэтому ему иногда хочется со мной поделиться, тем более что не всем из своих товарищей он может сказать откровенно, что думает о войне.

Эрвин говорил мне:

— Нам теперь отпуска отменили, я только раз ездил домой, — пожаловался он.

— А я не был совсем, — ответил я.

— Ты, наверное, скоро будешь, если останешься жив и опять не вздумаешь угонять машину. Тебя кто-нибудь ждал?

— Никто, — ответил я.

— Неверно, — сказал Эрвин. — Ты видел когда-нибудь партизан?

— Нет.

— Решил просто покататься?

— Если скажу, что хотел уехать домой, тогда что?

— Нормальный человек не решится: на дороге контрольные посты, всюду проверяют документы, даже у офицеров, — сказал Эрвин.

— А Семен? — возразил я. — Его же не поймали.

— Он военный, многое знает, умеет стрелять, а ты? Разве ты забыл историю с маскировкой? С нами и то они не церемонятся.

Помню, подумал я, очень хорошо помню. Когда эти ремонтные мастерские переехали из Пыльтсамаа в лес, пленные нарубили елок и берез. Немцы замаскировали свои машины, чтобы «Иван» с воздуха не увидел, как вдруг на дороге показались четыре запыленных автомобиля. Они быстро развернулись, разъехались в стороны и остановились. Резко распахнулись дверцы, и из машины выскочили эсэсовцы с автоматами на груди. Они подбежали к машинам ремонтных мастерских, схватили по два, по три маскировочных деревца, унесли к своим машинам и стали завтракать.

— Давай, быстро, быстро, — сказал фельдфебель пленным, — бери тапор, пила и айн, цвай, драй.

Пришлось снова рубить деревья.

Эрвин прав: если к ним попадешь, домой не вернешься. Но как быть? Кругом леса, на хуторах говорят по-эстонски, я на этом языке пока научился говорить только «здравствуйте», «до свиданья» и «скажите, пожалуйста, который час?».

— Вот, — достал я из кармана маленькую квадратную коробочку и показал Эрвину. В таких пластмассовых коробочках у немцев была прессованная розовая зубная паста.

— Ну и что? — спросил Эрвин.

Я открыл крышечку, внутри лежал кусочек твердой резины с изображением головы кошки и моих инициалов.

— Эту печать я сделал еще в Гатчине, — сказал я.

— Почему кошка?

— У нас говорят: куда кошку ни унеси, все равно домой вернется. Так и будет!

— Теперь тебе нельзя далеко уходить от кухни, — предупредил Эрвин. — Хауптфельдфебель сказал: «Еще раз повторится такое, то им может заняться гестапо». Это про тебя, понял?

— Да.

— И еще говорят, что мы скоро поедем в Польшу, на большом грузовом пароходе. Все должно быть хорошо организовано. Если русские пленные вздумают бежать, их застрелят. Так что ты не вздумай играть в прятки.

— Я не пленный, — возразил я.

— Но ты русский, и этого достаточно.

МОЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Дорога домой — всего два слова. Как просто они звучат. Если возвращаться из школы — перейти одну улицу, другую, и дома. Вот и вся дорога. И так каждую неделю, месяц, каждую зиму. За это время я прошел тысячу километров, если не больше. Прodelал такой путь и ни разу не подумал, что значит дорога домой. И, наверное, никогда бы не вспомнил о ней, если бы не война. Тогда все пути становятся длиннее. А дорога домой превращается в мечту, которая сбывается не

у всех. Но мне посчастливилось. Я шел по этой дороге, заложив руки в карманы, запрокинув голову, подставляя лицо ветру.

Я по-разному представлял себе первые минуты освобождения. Но обязательно это должно было случиться летом или в солнечную погоду. Говорят, заранее загадаешь — не сбывается, а у меня сбылось. В солнечную погоду, и даже весной, а не летом.

Советская Армия освобождала Польшу, а фашисты все еще хватили людей и отправляли в Германию.

— Алё! — сказал я, нагибаясь к подвальному окну разрушенного дома. Почему «алё»? Это какое-то внутреннее чутье мне подсказало. «Алё» я сказал не думая, но это было самое верное слово. Если в подвале скрываются поляки, то они откликнутся по-польски, если прячутся русские, то ответят по-русски, а если притаились немцы, то я успею убежать. Где-то далеко-далеко слышался рокот фронта. Он раздавался и раньше, но я его просто не замечал. А теперь, когда прислушался, то мне показалось, что кто-то в большом котле кипит человеческие жизни. Они бурлят и выплескиваются через край.

Я стал спускаться в подвал. Еще раз взглянул на улицу. Сейчас дорога была на уровне глаз. Еще выше поднялись черные силуэты стен. Вместо окон — небо. Оно вспыхивало то ярче, то бледнее. Длинные тени вздрагивали. Казалось, что пламя все еще лижет остатки домов. Как им больно! А людям еще больнее!

Никого. Но неизвестно, что будет через минуту. Пока не было войны, я думал, что самое страшное на свете — темнота. А теперь подружился с ней. Я осторожно приоткрыл дверь, нащупал рукою стену и... замер. Слабый свет из окна освещал голову старика. Но вот она повернулась в мою сторону. Живой! Его рука потянулась к трубке. Старик, наверное, хотел что-то сказать, но промолчал. Я вздохнул свободнее. Значит, нас двое. Пусть он молчит, но я уже не один в этом чужом, мертвом городе. Я встал поудобнее и случайно задел ногой какую-то железную посудину, она звякнула. Старик неторопливо вынул изо рта трубку и задумчиво, не глядя в мою сторону, сказал:

— Тише, все кончится хорошо. Это я тебе точно говорю.

Он кивнул на скамейку и опять задумался. Я осторожно сел.

Он прав... Но если нас найдут, то посадят на баржу и отправят в Германию. А там — за колючую проволоку. Они часто поют песню: «Хаймат, хаймат, дайне штерне...» — «Родина, родина, твои звезды...». У меня тоже есть родина и звезды. Как-то один немец дал мне хлеба и сказал: «Кончится война, и я могу взять тебя в Германию, ты будешь работать у меня на огороде, тебе будет хорошо». Это он сказал мне вполне дружелюбно. И я невольно спросил: «Почему же на огороде? Дома я мог бы стать летчиком или капитаном». — «У тебя нет дома, — ответил немец. — Ленинград капут. Москва тоже скоро капут». Я пытался возразить, но чем я мог доказать свою правоту? Наши отступали...

Вдруг, покрывая несмолкаемый далекий рокот, послышался необычный прерывистый скрежет. Словно кто-то стал чиркать камнем по железной крыше. Земля задрожала, а потом еще и еще скрежет, и опять задрожала земля. Я взглянул на старика. На его лице была улыбка. Заметив мою растерянность, он пояснил:

— «Катюша».

— Так близко?

— Близко, — ответил старик. — Уже скоро... А ты откуда?

— Из Ленинграда.

— А как сюда попал?

— На дачу приехал.

— В Польшу-то?

— Нет, дедушка, не в Польшу.

— А дома кто?

— Никого, наверное.

— Как никого? — сказал старик. — Там же люди, питерцы... Говорят, они блокаду пережили.

— Видел я у немцев кинохронику, как они на Ленинград в бинокль смотрят, стреляют, бомбят. Еще они кино придумали, как будто рабочие у нас спят на полу, и только богатые — на кроватях. Потом прибегают милиционеры и забирают мужчин, а женщин бьют плетками.

— У милиционеров плеток не было, — вставил старик.

— Знаю. Но все равно я несколько раз этот фильм смотрел. Ведь там настоящую Неву показывали, и Невский проспект, и трамвай. Из наших фильмов пересняли. А в зале, с одной и с другой стороны экрана, от потолка до пола

висели два огромных фашистских флага. Но если ладони сложить вот так, а потом смотреть, как в подзорную трубу, не на белый круг со свастикой, а ниже или выше, то получается, будто сидишь у нас: и красные флаги, и шум такой же, потому что мальчишек много. Буханка немецкого хлеба на базаре стоила двести рублей, а кино — пятьдесят копеек.

— Шаги! — взяв меня за плечо, сказал старик. И правда, несколько человек прошли по улице. Остановились. Кто-то вернулся. Подошел к подвалу. Сделал шаг вниз, второй шаг. Опять поднялся и крикнул:

— Шнель, раус! — Это значило: «Скорее вон, выходи».

У меня чаще забилось сердце. Мы прижались к стене.

— Раус! — послышалось совсем рядом.

Старик первый догадался. Старик понял то, чего не сумел понять я. Акцент! Акцент, конечно акцент!

— Сынок! — прошептал старик, рванувшись вперед.

Дуло автомата, показавшееся в дверях, дрогнуло и опустилось. Перед нами появился наш солдат. Не пленный, настоящий, со звездой на пилотке!

— Сейчас! — крикнул он. — Мы сейчас, — и повернулся к выходу.

Я понял, что и мне надо торопиться. Он уйдет, и все будет по-прежнему. А в эту минуту я уже могу идти домой.

— Нельзя еще, подожди, — сказал старик, хватая меня за руку.

— Не могу, — я вырвался и побежал по ступенькам.

Тишина — как до войны. И город не такой страшный. Я озираюсь. Всюду обломки кирпичей, штукатурка, битое стекло, немецкий противогаз... Солнце встает. Значит, там восток. Мне как раз туда и надо. Неплохо придумано, чтобы солнце вставало на востоке! Впрочем, никто не придумал, а так всегда было. Это мне сказали в школе. В школе! И школа на востоке. Я не заметил, как откуда-то внезапно, почти бесшумно выбежал в зеленых парусиновых сапогах уже другой советский солдат. Он был весь в пыли, и только в руке блеснул пистолет.

— Скажите, пожалуйста, — сказал я ему, — как пройти в Ленинград?

— В Ленинград? — удивился солдат. — Видишь два ряда деревьев? Там шоссе. Вот и шагай в ту сторону, а дальше

спросишь, — и он махнул пистолетом, показывая вдоль дороги.

Не успел я сделать несколько шагов, как услышал треск мотоцикла. «Немцы!» — мелькнуло в голове.

— Немцы! — крикнул я, перепрыгивая через канаву. На дороге, действительно, с мотоцикла слезал немец, но на заднем сиденье был русский. Он держал в руках фаустпатрон — метровую трубку с набалдашником. Фашисты стреляли из нее по нашим танкам.

— Бум, — сказал русский, показывая немцу фаустпатрон. Немец съежился. Он подумал, что его хотят убить, а кому охота умирать.

— Бум, — повторил русский и отдал фаустпатрон немцу. — Ба-бах! — И показал на стену разбитого дома.

Немец заулыбался: «Гут, гут». Он понял, чего хочет русский. Раздался выстрел. Стена рухнула. Затрещал мотоцикл. Немец повез русского дальше. Власть переменялась.

По дороге кое-где уже двигались беженцы. Откуда взялись люди? Окраины разбитого городка потонули в тумане. Там остался старик. Хороший старик! Теперь и он, наверное, выбрался на улицу. А я уже иду в Россию! Буду идти днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще, и еще. Никто меня не остановит, не услышу внезапного: «Хальт! Аусвайс!» — что еще вчера означало: «Стой! Пропуск!»

Желтая стрелка с немецкой надписью валялась на земле, а другая была прибита к столбу. На ней, правда не так ровно и красиво, как на той, но зато по-русски — «Варшава».

Грузовики! Они едут мне навстречу. К машинам прицеплены пушки. Солдаты в кузове улыбаются. Улыбаются! Они давно смотрят на такие дороги, на беженцев. Привыкли. А я вижу так близко наших солдат первый раз за несколько лет. Вот они, Иваны. Немцы часто кричали: «Тревога, тревога — в небе Иван!..» Хорошо, что и я родился Иваном!

Пожилой мужик впрягся, как лошадь, в двухколесную тачку, а женщина, наверное жена, толкает тележку сзади. Они везут стол. Зачем им этот стол? Было бы что есть, — сумасшедшие. Мальчишка выскочил на дорогу, в руках две буханки хлеба. Одну он уже надломил и жует.

— Эй, ты! — кричу я. — Где взял?

— В блиндаже, — сказал он, еле ворочая языком, и кивнул головой за деревья.

Я увидел его сразу. Спустился по земляным ступенькам. Вдоль бревенчатой стены — нары. Одежда откинута в сторону. На подушке — ремень и штык в ножнах. Я нашел какой-то портфель, вытряхнул прямо на пол все, что в нем было. Упали бумаги и полотенце. Видно, их запихали второпях, но не успели унести. Я нагнулся. Бумаги исписаны от руки. Письма или дневник? «И я взял ее руку в руку», — перевел я, а дальше непонятно. Но тут я заметил ботинки — новые, начищенные до блеска. Примерил — немного велики. Но это лучше, чем малы. Я надел эти ботинки, поел, положил буханку в портфель и зашагал по дороге.

Наверное, надо было собрать те листки и оставить на столе. Но немец уже никогда не вернется в свой блиндаж. Он написал о любви и расстреливал женщин и детей. Может быть, не по своей воле, как делали эсэсовцы, но все равно, получив приказ, он расстрелял бы и пошел дописывать сочинение. Вот как бывает: пишут про любовь и убивают людей. Сколько погибло! А я возвращаюсь домой. Песчинки похрустывают под ногами. Впереди по другой стороне дороги идет девушка. Нам по пути. Я догоню ее, и если она улыбнется, то сегодня на станции будет поезд и завтра я приеду домой. Только на какой станции? Разве поезд ходят? «И я взял ее руку в руку». Что бы он написал, увидев эту девушку? Может быть, «и я осторожно взял ее руку». Или — «ласково взял ее за руку». А как по-немецки «ласково»? Нет, наверное, у них такого слова.

Но она даже не смотрит на меня. Ну и не надо. Я иду домой, не будет поезда — доеду на грузовиках. Изредка поглядывая на девушку, я старался найти что-нибудь непривлекательное, чтобы не было так обидно, что она не замечает меня. Подумаешь, воображает, а у самой... Что у самой? Ветер развеивает волосы, а девушка подставляет ему то одну, то другую щеку. Да она же босиком! А если бы шла в туфлях, то стала бы не такой красивой. Она так ловко ступает, как будто хочет этим сказать: «Смотри, как я иду, легко и свободно, словно мне здесь все знакомо. А ты плетешься в ботинках с чужой ноги. Да еще немецкий хлеб в портфеле несешь». Ну, конечно, хлеб-то она не видит, да и потом у меня всего одна буханка. А девушка ничего не несет. Может быть, голодная? Я знаю, что такое голод. Но она не унывает. И я ведь тоже старался не унывать. Значит, мы одинаковые люди. И нечего ей воображать. Но она красивая. Свободный человек всегда

красив. Выходит, что и я неплохо выгляжу, если посмотреть на меня со стороны. Я попробовал представить, каким видит она меня. Но она не смотрит. Да нет, она, конечно, уже заметила мой пиджак с рукавами по локти, мои мятые брюки и большие, уже пыльные ботинки. И вдруг мне стало легче. Так вот чем ты плохая! Не нравится, что я так одет! Тебе стыдно идти рядом. А знаешь ли ты, что у меня сегодня праздник и я опять чувствую себя равным среди людей, среди природы, среди деревьев? Вот они какие, деревья, зеленые, приветливые! К каждому из них я могу подойти и потрогать рукой, и его ветки коснутся моего лица. Я могу лечь в траву и вдыхать запахи, знакомые с детства. А самое главное, я иду домой! Если бы не война, то уже кончал бы школу. А разве я виноват, что так случилось и я так одет? И ты же понимаешь, что я не виноват. Тем хуже. Теперь я с тобой не заговорю, ты не стоишь этого!

— Девушка, подвезем! — крикнули из кузова грузовика, идущего в нашу сторону. Кто-то застучал по кабине. Машина остановилась. «Вот и хорошо», — подумал я. Открылась дверца, солдат полез в кузов, уступая девушке место. А я пошел дальше, довольный, что все кончилось само собой.

— Пан! — раздался за моей спиной звонкий голос. Я оглянулся. Девушка махала рукой и показывала на машину. — Скорей, пан.

— Ну какой же я пан? — спросил я

— Если такая девушка говорит «пан», значит, так и есть, ей виднее, — ответил вместо нее солдат, помогая мне перевалиться через борт. Машина тронулась.

— Откуда? — спросил меня солдат в почти белой гимнастерке.

Я сказал.

— Ого, — протянул он, покачивая головой. — Жаль, мы скоро сворачиваем. Ну, да здесь еще машины пойдут. Потихоньку доедешь до железной дороги.

«Потихоньку», — подумал я. Мне уже сейчас хотелось слезть и идти пешком, шагать и шагать, чтоб всем телом чувствовать движение к дому.

— А вы откуда? — спросил я.

— С Волги, — ответил солдат, — у меня вон вроде того домик был, — он показал на маленький домик вдали за деревьями. — И здесь тоже почти ничего не осталось.

А по обе стороны дороги тянулись поля освобожденной Польши. Машина, заворчав на повороте, свернула в сторону леса и остановилась.

— Спасибо, — сказал я, спрыгивая на землю.

— За что? — устало спросил солдат в белой гимнастерке.

— Пошли, — сказал я девушке.

— Пошли, — повторила она.

— Вот една звездочка на погоне, то кто? — спросила меня девушка.

— Командир, — ответил я решительно.

— Так и поняла. Он сказал: от Польши до Берлина ближе, чем до дому. И война кончилась.

Я невольно повторил: «Кончилась».

— Даже не верится, что кто-то может подойти и так просто сказать — «война кончилась».

— А я уже сказала.

— Но война еще идет, — возразил я.

— Она идет умирать, — улыбаясь ответила девушка. Оказывается, бывают рядом улыбка и слово «смерть».

Кто-то сказал, что польки самые красивые на свете. А если бы он встретил эту, то согласился бы со мной, что она самая красивая из полек. Да и я, наверное, не такой плохой, если эта девушка так приветливо улыбается. Ничего, что пиджак коротковат и брюки помяты. ...

Я отломил половину буханки и протянул ей.

— О! То много. Я почти пришла, а Россия далеко.

«Нет, — подумал я, — если бы ты знала, как близко. Здесь дело не в километрах, и ты понимаешь меня, ведь сама была вдалеке от дома. А когда я вернусь в Ленинград, разве забуду о тебе? Или будет казаться, что ты далеко? Ты будешь всегда рядом, ведь мы вместе сделали первые шаги по свободной земле. А этого нельзя забыть! И мы еще обязательно встретимся, у меня или у тебя на Родине».

Но из моих новых знакомых первым я встретил старика. Мерно стучали колеса поезда. И вот в самом конце вагона послышался знакомый голос. Я узнал его и стал пробираться через какие-то тюки, узлы и чемоданы, сколоченные из фанеры.

Старик говорил тоном всезнающего человека:

— Это уже русские березы.

Все прильнули к окнам. А там торчали из земли обгорелые трубы домов да кое-где сохранились деревья. Женщины

в ватниках вылезали из землянок. И, вытирая рукавами лица, вглядывались в окна поезда. Жадно искали глазами пропавших без вести.

— Да, да, — вдруг заторопился старик, словно боялся, что его кто-то перебьёт. — Я вам точно скажу, что уже. . . — Но что-то заклокотало у него в горле, и он замолчал. Потом растегнул ворот и сказал вполголоса: — Господь миловал, не думал, что вернусь.

Я просунул руку в окно. Косые брызги мелкого дождя ударили по ладони. Это был наш дождик, и деревья наши, и трава, и дорога. Моя дорога домой!

ВОКЗАЛ

Я вышел из вагона. Над перроном у самой крыши вокзала железными буквами написано: «Ленинград». Остановился. Читаю еще раз: «Ле-нин-град». И еще раз: «Ле-нин-град!» Меня люди толкают, торопятся, они озабочены. У них свои дела, свой дом. . . У меня ничего нет, лишь справка, что я это я.

Все остальное словно в тумане. И что было, и что будет. Только помню пересыльный пункт. Формируют поезда. Кого в Ленинград, кого на Украину или в другие края. Я успел получить ответ на свое письмо. Почерк незнакомый.

«Мне трудно писать тебе об этом, но твой папа умер в декабре 1941 года. . . Может быть, ты меня помнишь? Меня звали Елена Петровна. У меня еще мальчик был — Алешка. . .»

Да, я помнил ее, конечно помнил, у нее был Алешка, а у меня были родители. И все казалось таким простым, все получалось само собой.

В тот день я еще раз перечитал письмо, но так и было написано: «. . . умер в декабре 1941 года. . .»

Вдруг выстрелы, крики. Это на улице. Что там? Опять стрельба!

Германия капитулировала. Мама и папа, вы слышите, вы слышите? Победа! У нас сегодня май. Девятое число. Войны больше нет!

А теперь Ленинград.

— Сколько стоит билет? — спрашиваю в трамвае у пожилой женщины. Правда, денег у меня нет, только справка, ее я

и покажу кондуктору или контролеру. Спрашиваю, чтобы просто поговорить с человеком.

Лестница нашего дома.

Много лестниц прошел я, деревянных и каменных. А по этой я ходил в школу. И шли с мамой, когда уезжали на дачу перед войной.

Комната занята.

Ночью у соседей. Никто подробностей не рассказывает, чтобы зря меня не огорчать, и особенно не спрашивают.

Милиционер дает временный паспорт.

— А ты там того... Ничего? — настороженно говорит он.

— Что ничего? — удивляюсь я.

— Ну, немцы не поручали мосты взрывать или эшелоны под откос? ..

— Нет, не поручали.

— А ты знаешь, и пацаны могли... за деньги или по глупости.

— Нет. Не поручали, — упрямо повторяю я.

— На вот, заполни анкету, — говорит милиционер и протягивает листок бумаги.

Пишу фамилию, имя, отчество, а дальше: нет, нет, да, не служил, не подвергался, находился... .

Находился, но разве я виноват?

Был, действительно был.

Родители умерли, родственники умерли, а я жив.

На транспортные расходы дали соседи.

Хочу пойти учеником к художнику. Я люблю рисовать.

Напротив меня в трамвае сидит женщина. Она немного похожа на тетю Надю, подругу моей мамы. До войны тетя Надя приходила к нам в гости. Она однажды подарила мне деревянный самолет, и потом у него отломалось крыло.

— Как же так, — сказал папа. — Теперь твой самолет не может летать.

А мама возразила. Она только что вернулась с занятий по ПВХО для домохозяек и узнала там, что есть самолеты однокрылые и двукрылые.

— У тебя, — сказала она, — однокрылый.

Но вот женщина, похожая на тетю Надю, собирается выходить. Она взяла сумочку за обе ручки, чего-то поискала вокруг себя и направилась на площадку.

И я, не дожидаясь своей остановки, пошел за ней. На улице я спросил:

— Простите, пожалуйста, вы, случайно, не тетя Надя?
— Не случайно, мальчик, — сказала она, — совсем не случайно. А ты кто?
— Ой, — воскликнула она, приглядевшись сквозь пенсне, — вы же все погибли!

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Человеку в жизни не раз приходится мокнуть под дождем, мерзнуть на снегу или попусту терять дорогое время. Иногда он вынужден сгибаться под тяжестью забот, но многое... очень многое зависит от него самого. Если он очень захочет, то может заметить, как распускаются лепестки цветка, он может увидеть глубину звездного неба, почувствовать теплоту дружеских рук.

Каждый из нас не так одинок, как иногда ему кажется. Я сейчас один, но ненадолго. Я только что положил трубку телефона.

Вы помните, Ганс или Фриц, как вас там... вы сказали мне: «Ленинград капут, у тебя ничего нет и не будет». А ваш фюрер заявил: «Война — это естественное состояние человека».

Он вас обманул, а вы обманули себя. Потому что сейчас мир. И я узнал, что жена родила дочь. Теперь у нас есть ребенок.

Я выхожу на улицу. Тишина. Замерли с удочками рыболовы. Школьники вырвали из тетради листок бумаги, сделали из него кораблик, и он поплыл по Неве, но потом... потом пошел дождь. Кораблик намок. Бумага расправилась.

И вот листок из школьной тетради качается на волнах. Расползлись фиолетовые строчки, написанные неуверенной рукой.

Зачем же пошел дождь?

Пусть бы плыл кораблик по свету, увидел другие города и разные страны. Я смотрю на небо. Ветер разогнал тучи. Опять выглянуло солнце. А рядом кораблик! Он не погиб.

Вот он среди облаков, отлитый из золота, сверкает на шпигеле Адмиралтейства.

Счастливого плаванья, кораблик!

НАТАЛЬЯ ГУРЕВИЧ

ПРОЕКТИРОВЩИКИ БАМа

Вы можете спросить:

— А ты при чем?
Другие там, в Сибири, на востоке,
А ты сидишь все так же за столом
В тепле привычном,
вдалеке от стройки.

Отвечу:

— Пусть в другом конце страны,
Пусть стройка раньше нас рассвет встречала,
Но мы ей, как бетон и хлеб,
нужны,
Мы часть ее,
и мы
ее начало.

БАМ возникал сперва не там,
а тут, —
Когда в тайге еще не видно просек,
На ватман
наш проектный институт,
Продумав все и вычислив, наносит.

А рядом с нами высится завод,
И я сказать вполне имею право,
Что вместе с нами по утрам идет
Рабочая Московская застава.
И вечером лавиной уставшей
Расходимся с работы по домам,

И честно смотрят окна комнат наших
В глаза электросиловским цехам.

Вы спросите:

— Не все ли вам равно,
Где выстроят задуманное вами —
Там, где дома состарились давно,
Или на новом и далеком БАМе?

А я скажу:

— На карту посмотри,
Вот Родина
от края и до края,
Тверда граница наша, но внутри
Еще лежит земля почти чужая.

Там мерзлота, ее не растопить,
Но все же трасса сквозь Сибирь ложится.
Раз мерзлота не хочет уступить,
То пусть она в фундамент превратится.

И будет ей неведома усталость
Под тяжестью дорог и этажей.
Мы будем знать, что это начиналось
Здесь, в Ленинграде, с наших чертежей.

А кто-то спросит:

— Неужели ты
Все так же веришь в песни и плакаты?
Четырнадцатилетние мечты
Обычно испаряются куда-то.

А кто-то просто скажет: — Извини,
Но никогда я в это не поверю.
Подобные признанья в наши дни
Раз не наивность, значит — лицемерье.

Я им скажу:

— Да, мы теряем что-то
С любим из нами прожитых годов.
Мосты давно не символ, а работа
Для нас — проектировщиков мостов.

Какой там символ! — вычислено точно,
Какой там символ! — просто чертежи...
Конечно, если видеть только то, что
Перед тобою на столе лежит.

Не думайте, что в спешке невозможно
Почувствовать волнующую даль,
Подняться над своей доской чертежной
И целиком увидеть магистраль.

Она седьмым не станет чудом света,
Но многие, наверное, поймут,
Что по тайге сибирской трасса эта —
Эпиграф к поколению моему.

Вы можете спросить:

— А если ты
И не увидишь даже той победы —
Как встанут над потоками мосты,
Как поезда по насыпям поедут? —
Скажу я: — Пусть в таежную зарю
Не я, другие на экспрессах мчатся,
Но я свою судьбу благодарю
За то, что подарила мне причастность
К великой стройке,
что над картой БАМа
Мне были ощутить права даны,
Что я не только дочка папы с мамой,
Но я еще и дочь моей страны.

НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕВА

* * *

В тяжелой чаше пламя ярко светит,
И каждый день тревожен и крылат
Над озером у памятника детям,
В блокаду защищавшим Ленинград.
И женщина, чуть видная в тумане,
Здесь вспомнив детство, как сиротский сон,
В стеклянной банке ветки и тюльпаны
Поставит в теплый траурный газон,
Потом глаза нестарые прикроет
И помолчит в минутной тишине. . .
Теперь, когда и мир нам стоит крови,
Мы много дольше помним о войне.

* * *

В ту ночь, когда над городом неслышным
Плывет, сверкая, месяц в синеве,
Нева в ледовом беспорядке пышном
Зовёт меня — и я иду к Неве.
Я по ступеням медленным ступаю,
Скользю, держась за воздух голубой.
Я черную перчатку опускаю
В движенье льдин, звенящих меж собой.
Я слышу голос Александра Блока,
Когда он шел, тревогою гоним.
И вьюга, налетевшая с востока,
Как женщина, терялась перед ним.

ГРОЗА

Тепла, мохната и встревожена
Щепотка капель дождевых.
Уже так много жизни прожито —
А я в грозе, а я в живых!
Багровым клином туча вспорота,
Бежит по воздуху сирень.
А в сорок третьем кровью с порохом
Дышал военный летний день.
И над рекою мутно-синею
Мой мальчик шел, прикрыв глаза.
И плыло детство на Васильевском
В его взрослеющих слезах.
Вскипали травы придорожные,
Блистала мокрая листва.
И пахли сливочным мороженым
Черемух белых рукава.
И всех вокруг стыдился, вырвавшись
Живым из боя, молодым,
Любимый мальчик мой, в четырнадцать
Вломившийся на фронт седым.

ВЛАДИМИР СКОРОДУМОВ

«БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

Гордый и несломленный герой, три четверти века тому назад поднявший на своей мачте красный стяг, отправился в вечное плавание по материкам земного шара. В начале тридцатых годов причалил он к берегам и моей родной Ольховки. Деревенька эта приютилась в глухих лесах Новгородчины, в тридцати километрах от железной дороги. Поэтому путь овянного небывалой славой корабля к нам был трудным и долгим. По зимней, в глубоких снегах дороге, на дровнях, которые тащил обросший сосульками мерин, прибыл он под вечер в металлических упаковках к зданию школы под командой механика. Только дядя Терентий, специально еще накануне направленный к поезду встречать кинопередвижку, успел скомандовать послушному коняге «тпру!», как ошалелая ватага деревенских ребятишек понеслась вдоль деревни от избы к избе, выкрикивая во все горло:

— Картину привезли! Картину привезли!

Для нашей Ольховки приезд кино был действительно сенсационным событием, которое в последующем подвергалось обсуждению в течение не менее полугода. Я был еще мал, когда впервые привезли кино, и не видел кинокартины. Но разговоры окружающих распалили мое воображение. И когда через год второй раз появилась передвижка в деревне, каким-то чудом мне удалось оказаться в числе тех единичных счастливцев моего возраста, которые сумели проникнуть на показ фильма. Диковина превзошла все мои ожидания. Еще бы — прямо на стене бегают, прыгают, кричат, стреляют из настоящих ружей живые люди. С благоговеньем мы, ребятишки, подходили к экрану, висевшему на стене. Нам казалось, что именно в нем заложен весь секрет необыкновенного чуда, заключена особая сила.

— Не троны! Нельзя! — испуганно раздавался повелительный голос одного из мальчуганов, обращенный к другому, когда тот осторожно пытался прикоснуться к краю белого полотнища. И при этом предостерегающем окрике рука смельчака мгновенно отдергивалась назад. Появление кино сопровождалось рождением разных небылиц. Например, рассказывали, что в одной деревне, разумеется безымянной, но где-то в каком-то краю реально существующей, сгорел дотла дом и все люди до единого человека во время кино. Кто-то якобы закурил, не зная, что это самое страшное. В ту же секунду взорвалось полотно и аппарат. Вмиг все сгорело. Ничего не осталось. Нашли только металлический замочек от портфеля районного представителя, который пришел записывать в колхоз. И все или, по крайней мере, многие этому верили. Рассматривая тот же экран, мы, ребяташки, видели на нем огненные искорки, и кто-нибудь таинственно произносил:

— Электричество. . .

А набожные старухи в испуге крестились и шептали:

— Дьявол! Дьявол!

Для мальчишек трудность проникновения в кино заключалась в том, что оно было платным. Хотя плата небольшая — для детей десять копеек, — но далеко не каждому была доступна и эта сумма. А учитывая, что из каждой семьи шли два-три человека, то дополнительный расход на десять копеек был ощутимым. И с нашим братом не церемонились.

— Мал еще. Подрости немного, — отвечали обычно мальчугану, если тот начинал канючить, чтобы его взяли на картину. И ребяташки смирялись. Но это не значит, что они покорно сидели дома. Задолго до начала сеанса все были в школе. Бродили вокруг здания школы, толпились на большом крыльце, околачивались в коридоре.

Прошмыгнуть в класс, где готовилось кино, как правило, не удавалось. Возле двери стоял помощник механика и пропускал строго по билетам. Только после одной-двух частей какой-нибудь сердобольный односельчанин открывал дверь, запертую изнутри на задвижку, и впускал ребяташек. В мгновение ока стая пролетала расстояние от двери до первого ряда парт и бросалась впереди парт на пол. Каждый спешил опередить соседа и занять место точно напротив полотна. Но обычных ссор и драк не происходило. Замешкавшийся в середине не лез, покорно усаживался с краю. Круговая порука. Знали: зашумят — выгонят всех. А до этого долгожданного

момента ребягня обычно располагалась на улице, напротив окон.

Середина экрана приходилась на самое окно, которое было довольно широким. Края полотна оставались в простенках. Таким образом, примерно две трети, а то и больше, того, что изображалось на экране, с успехом можно было наблюдать с улицы.

Кино было немым, но всегда находился наиболее грамотный школьник, который успешно читал текст. Он читал вслух для всех, чему дошкольники и первоклашки были рады. В классе тоже всегда кто-нибудь вслух читал сказанное героями фильма, так как большая часть присутствующих была неграмотной. Эти дикторы назначались перед началом кино, обычно двое — учитель и еще кто-нибудь грамотный или сам механик.

Как только мне стало известно о приезде кино, все помыслы сосредоточились на одном — как попасть на картину.

В семье нас было трое: дед, мать и я. Отец год тому назад отправился с мужиками на лесозаготовки и там погиб. Придавило деревом. Дед отличался строгостью. Новшества он не любил. Когда в деревне пошли разговоры о кооперативах — колхоза у нас еще не было, — дед отозвался о них отрицательно.

— Пустая затея, — заключил он, — только для лодыря нужен колхоз. Настоящему мужику там делать нечего!

Тимка говорил:

— Коллективный труд — это сила! Это то, что нужно крестьянину!

Я больше верил Тимке. С Тимкой у меня была дружба. Он всегда пускал меня в избу-читальню, показывал книжки с картинками, иногда читал мне вслух, рассказывал интересные истории. А потом, когда я пошел в первый класс, подарил мне книгу, которая называлась «Час Ленина в школе», и дал красный галстук.

— Теперь ты — пионер, — сказал он.

Когда дед увидел на моей шее этот галстук, он неодобрительно произнес:

— Навесил красную тряпку и думаешь, красиво?! — И даже плюнул в сторону.

Я понял, что галстук деда раздражает, и дома его снимал. Но вообще-то дед не был злым. Он тоже знал много сказок

и разных историй. Часто рассказывал мне. Но сказки у него были больше страшные, редко веселые и смешные.

Мне не было известно, много ли у нас денег, да и не задумывался я над этим. Однако знал, что ими распоряжается дед и лежат они в комод, куда для меня не было доступа. Там было много каких-то бумаг, лежали старые карманные часы. Они были поломаны и не ходили, но дед их берег. Это были часы моего отца. Был там еще красивый-красивый портрет. Весь в золоте и в красных, синих, зеленых и разных блестящих красках. Раза два дед показывал мне портрет и говорил, что это царь, царица и их дети. Все были такие прекрасные, что я даже засомневался: неужели такой нарядный и красивый царь — злодей? Спросил Тимку. Тимка рассмеялся:

— Да это же нарисовано! Волка тоже можно так нарисовать, что он будет похож на безобидную курчавую овечку.

Мне все стало понятно. Но деда я не стал разочаровывать. И вот теперь мое внимание было сосредоточено на этом комод с царским портретом. Даст или не даст мне гривенник из этого комода дед?

В религиозные праздники он всегда давал мне монету со словами: «Купи себе пряник». А когда сам ходил в лавку, то приносил мне конфет, которые я очень любил. Тем не менее меня одолевали сомнения. К кино дед относился с подозрением. Два раза уже привозили, а он не ходил смотреть. И вдруг меня озарила чудесная мысль. Повторяя про себя название фильма — «Броненосец «Потемкин», — я обратил внимание на слово «броненосец». Что такое броненосец, я не знал. Но я знал, что такое богоносец. В пасху в деревню приходил поп с крестом на груди. А за ним шли люди с иконами на груди. Их называли богоносцами. Я заключил, что броненосец и богоносец — почти одно и то же. А дед был верующий, иконы обожал.

— Дед, а дед, — обратился я, — дай мне гривенник на кино. Картина-то про бога, про иконы.

— Как называется?

— «Б. . .оносец Потемкин», — «броненосец» я на ходу решил изменить на «богоносец» для большей убедительности, ну а «Потемкин», полагал, ничего не говорит. Но оказалось, дед знал, что такое «Потемкин». Лукаво улыбнувшись, ответил:

— А ты чего картавишь?

— Картавлю? — наивно повторил я.

— Да. Правильно будет «Броненосец «Потемкин». —

И, устремив на меня свои старческие глаза, спросил: — А знаешь, что это такое?

Мне пришлось сознаться, что не знаю.

— Это разбойники, которые взбунтовались на корабле и пошли против царя! Изменники. Нечего и смотреть. И денег не дам!

Чем еще больше можно было разжечь мое любопытство? Царь — злодей. Все хорошие люди шли против него. Шел на него и Ленин. Но деду перечить я не мог. Да к тому же и бесполезно. Дед мыслил по-своему. Отправился в школу с пустыми руками. Мои сверстники Павка Данилов, Ванька Уланов и Тонька Агафьина были уже там.

Механики возились со своей аппаратурой, ребята к месту, а больше не к месту старались им помочь. Бросались, перегоняя друг друга, за табуреткой, подхватывали освободившиеся от имущества ящики и оттаскивали их в сторону. Каждый стремился войти в доверие к механикам, — кто знает, может, усердием удастся заработать право на бесплатное кино. Но больших иллюзий не питали. Знали, что, когда начнут продавать билеты и у дверей класса встанет контролер, всех их выгонят в коридор.

Я присоединился к ребятам и, уцепившись обеими руками за длинный ящик, в котором лежал свернутый трубой экран, потащил его вместе со всеми к стене, на которой ему надлежало висеть.

— Ребята! — неожиданно обратился к нам механик. — У кого из вас дома есть фонарь «летучая мышь»?

Мы в недоумении переглянулись. Озадаченный нашим молчанием механик продолжал:

— Кто принесет фонарь на время показа кино, того пушу бесплатно смотреть.

В семьях присутствующих ребят такого фонаря не было, и Тонька Агафьина, указывая на меня пальцем, ответила за всех:

— У них есть!

Прошлой зимой дед ездил в Боровичи, возил кладь. Привез оттуда фонарь. У всех в деревне фонари были самодельные, а этот настоящий, торговый. Вещь в хозяйстве крайне необходимая. Сходить в хлев, чтобы дать корм скотине, напоить ее — нужен фонарь. Без него что без рук. Радости матери не было предела.

Мысль моя работала лихорадочно. Прикинул, что мать

уже сходила в хлев, теперь пойдет поздно вечером. Фонарь потребуется не скоро. К тому времени кино окончится. Но как незаметно утащить его из дому? Одолевали сомнения. Я колебался. Механик выжидающе смотрел на меня.

— Ну, что медлишь, шкет? За такую картину я бы десять фонарей достал.

— А не надуешь? — робко спросил я.

— Занимай любое место, как принесешь фонарь.

Велик соблазн — я побежал домой.

Дед сидел на деревянных раздвижных опорах, поверх которых было натянато грубое домотканое полотно, и чинил сапог. Сапог шпандырем был притянут к колену, и дед ловко колдовал над ним шилом и дратвой. Он был настолько сосредоточен и увлечен работой, что мое появление не привлекло никакого внимания с его стороны. «Летучая мышь» стояла на своем месте — на выступе печки. Я осторожно достал фонарь и поставил его на коник, к самому порогу, где в углу стоял веник. При этом слегка, стараясь не шуметь, потряс фонарем над ухом — есть ли в нем керосин? Керосин являлся не меньшей проблемой, чем сам фонарь. Приобрести его было трудно, расходовали экономно. Но все в порядке: в нижней части фонаря плёскалось — керосин есть. Понимал, что механику фонарь без керосина не нужен. Так же незаметно выскользнул из избы. По улице бежал во всю прыть. Стояя от восторга, чуть было не сбил с ног соседку тетку Маргрену.

— Оглашенный! — крикнула она вслед.

Фонарь необходим был для освещения класса, в котором показывалось кино. Когда прокручивалась очередная часть, фитиль опускался, и свет фонаря не мешал. Со сменой очередной ленты он поднимался, и хотя слабо, но все же освещал большое помещение, в котором одновременно размещались и обучались первый, второй и третий классы одним учителем. Четвертого класса в деревне еще не было.

Механик помог мне влезть на стол и, показав на крюк в потолке, велел подвесить фонарь. Но это оказалось непросто сделать. Кончик крюка располагался так близко к потолку, что дужка фонаря не пролезала в маленький разрыв. Попытался силой протолкнуть дужку. Но она непонятным образом сорвалась и ударила по стеклу. Верхняя часть стекла отлетела. От растерянности и огорчения чуть не выронил фонарь из рук. Механик огорчился не менее моего.

— Эх ты, растяпа! — с досадой воскликнул он.

Но его слова меня не обидели. Мой мозг пронзила одна мысль: «Что теперь будет?!» Меня уже не радовало и кино. Механик и помощник стали меня успокаивать. Видя, что я готов расплакаться, пообещали в следующий раз обязательно привезти стекло. Это обещание меня несколько утешило. Но я понимал, что взбучки, а точнее шпандыря, дома не избежать. Даже если незаметно удастся водрузить фонарь на место, преступление все равно будет обнаружено. Чем оправдаешься? А у деда норов крутой. Да и от матери влетит.

Стекло разбилось не полностью, механик все же фонарь подвесил, и он горел. Правда, фитиль нельзя было поднимать на прежнюю высоту — начинал нещадно коптить. Но опущенный ниже — действовал. От этого на душе еще больше полегчало: все же мать к корове и овцам может ходить с фонарем. И мои мысли от фонаря вновь обратились к предстоящей картине.

Народ начал прибывать, и класс быстро наполнялся.

Помощник механика стоял на своем месте у двери в качестве контролера. Я не спешил занимать свое место на полу перед экраном. Все мальчишки и девчонки без сожаления были изгнаны в коридор, и конкурентов у меня не было.

Спокойно наблюдал, как входили мужики и бабы, молодые парни и девки и рассаживались за партами, на партах и на скамейках. Раздавались веселые голоса, вроде:

— Ну-ка, леший, подвинься. Ишь развалился, как дома на печке!

Или:

— А ты, старая карга, чего приплелась? Деда одного оставила!

Внезапно у входа появился Васька Морозов. Это был уже взрослый парень, не мальчишка. В деревне он славился озорством и бесшабашностью. Был одним из заводил во всех драках, которые происходили каждый божий праздник и редко оканчивались благополучно. Не останавливаясь у двери, Васька съездил по шапке контролера, отчего шапка сдвинулась на глаза последнего и закрыла их, невозмутимо перешагнув порог и прошел в класс. Помощник механика поправил шапку, проводил спокойным взглядом Ваську Морозова, но своего поста не оставил. Васька Морозов по-хозяйски уселся за первую парту перед экраном.

Когда желающих приобрести билет в коридоре больше уже не осталось, а ребяташки выстроились перед заветным окном

на улице и настало время запускать кино, механик подошел к Ваське Морозову и потребовал предъявить билет. Васька, конечно, не мог этого сделать. Тогда механик предложил ему покинуть класс.

— Никуда не уйду! — был категорический ответ.

За то, что Васька ударил по голове помощника, обвинения ему не предъявлялось. В то время в деревне это считалось пустяком. Вероятно, помощник механика на это даже и не жаловался, сказав только, что обидчик его прошел без билета.

Препирательства шли долго. Одни стыдили Ваську, другие увещевали. В конце концов нашли компромиссное решение: Васька Морозов остался смотреть кино, но за это должен был крутить динамо в течение одной части. У механика уже было завербовано три парня в качестве крутильщиков динамо. За бесплатное присутствие они обязались провертеть все семь частей. Теперь им осталось по две части на брата. Одну будет крутить Васька Морозов.

Наконец беспокойный говор и шум терпеливого ожидания затих. Зал замер и сосредоточился. Сзади глухо и ровно запело динамо, потом застрекотал аппарат, подобно стрекозе, только несколько громче, класс над головами зрителей прорезал яркий электрический луч, и на экране вспыхнула рама. Она несколько раз двинулась вниз, вправо, вверх, влево и остановилась. Кино началось. Все мои тревоги улетучились. Фонарь, о котором я сразу позабыл, покачивался под потолком. Захваченный железной красотой развертывающихся событий, я готов был прыгнуть с пола прямо на полотно и встать в ряды боевых моряков. Какая ненависть бушевала в моей груди к офицерам, иуде доктору, извергу капитану! А беспощадная поступь солдат по необыкновенно широкой и бесконечной лестнице, солдат, стреляющих в беззащитный народ, привела меня в ярость. Помню, кулаки мои сжимались, и я дрожал от напряжения: Когда же победившие матросы закричали «ура!», то я вместе со всеми исступленно тоже кричал «ура!».

Кино кончилось. Но мое сознание не сразу обратилось к действительности. Некоторое время я продолжал сидеть на полу, и мне казалось, что картина продолжается. Люди уже встали со своих мест и повалили к выходу. Но это происходило словно в другом мире. Реально перед моим взором расплахнулось огромное море, которого я никогда не видел, и по нему плыл сказочный корабль с красным флагом на высокой

мачте, флагом, который так ярко пылал на экране. Внезапно мой взгляд упал на «летучую мышь», которая вновь была зажжена, нещадно коптила, тускло освещая класс. Только теперь из моего сознания уплыло и никогда не виданное мной море, и броненосец, и непобедившие, но и непобежденные матросы. И мне стало грустно.

Дома уже знали, что фонарь был в кино вместе со мной и что стекло разбито. Услужливая соседка тетка Матрена, с которой я столкнулся, когда, обезумев от радости, бежал с фонарем, возвращаясь из школы, не поленилась зайти в нашу избу и поведать обо всем матери. Я вернулся позже. Вынужден был ожидать, пока механики уложат аппаратуру в ящики и покинут школу.

Мой приход домой ожидался.

На меня гневно закричала мать, увидев разбитый фонарь и выхватывая его из моих рук.

Дед грозно двинулся ко мне. Он молчал, но шпандырь в его правой руке говорил больше, чем молчание.

И вдруг я увидел перед собой не деда, а свирепого командира броненосца «Потемкин», который, схватив матроса, отбросил его от адмиральского люка, потом приказал расстрелять матросов. Словно взорвавшись, я закричал:

— Бей! Бей! Не боюсь!

Дед, уже протянувший руку, чтобы взять меня за шиворот, остановился, а занесенный надо мной шпандырь медленно опустился вниз вместе с правой рукой деда. Я стоял без движения. Дед тоже замер, растерявшись, настолько неожиданной для него была моя реакция. Мать, внимательно рассматривавшая фонарь, теперь испуганно смотрела на меня.

— Вот мазурик, — наконец произнес дед, растягивая слова. Голос его звучал снисходительно. Он отбросил шпандырь в сторону и, повернувшись, направился к своему полотняному, на раздвижных подпорках стулу.

Резкий протест, внезапно вспыхнувший во мне под впечатлением фильма, так же быстро остыл. Я почувствовал себя неловко. Словно побитый щенок залез на печку и притих.

Вскоре мать позвала меня ужинать. Пряча глаза от деда и матери, я наскоро поел и юркнул в постель. Они видели мое смущение и ни о чем меня не спрашивали. Ужин прошел в полном молчании.

Мне не спалось. Мои мысли вертелись то вокруг броненосца, то возвращались к деду. Я заново пережил весь кино-

фильм, воображая себя героическим матросом, беспощадно истреблявшим врагов. Потом вновь увидел перед собой деда со шпандырем в руке и себя в отчаянной позе сопротивления. С беспокойством осознал, что чем-то обидел деда. Ну какой он адмирал, совсем непохож на того злого командира броненосца. Тот толстый, все на нем блестит: плечи, пуговицы, фуражка. Рожа тоже блестит. А дед не злой, а добрый. Он всегда летом берет меня удить рыбу. Сделал мне удочку. Такую удачную, что я одну за другой вытаскивал плотвичек из озера.

Вдруг из каморки, где спал дед, до моего слуха донесся вздох. Я прислушался: вслед за вздохом раздался всхлип. Мать уже спала и ничего не слышала.

Я быстро выскользнул из-под одеяла и, неслышно ступая босыми ногами по полу, направился в каморку деда. Он не слышал, как я приблизился к его постели.

Дед плакал.

— Дедушка! Дедушка! Я больше не буду, не плачь! — шепотом, чтобы не разбудить мать, заговорил я.

Дедушка вздрогнул, приподнял голову. Лунный свет через окно проникал в каморку. Он осветил лицо деда, и действительно, по щекам его текли слезы. Они останавливались в волосах негустой бороды.

— Дедушка, прости! Я не буду больше! — повторил я. И чтобы убедить деда, добавил: — Ты совсем непохож на того адмирала...

Дед, вероятно от неожиданности, не сразу понял, о чем я толкую и вообще зачем вдруг ночью оказался возле него. Ведь я давно должен был спать. Но вот он сел на постели и ласково приблизил меня к себе:

— Ничего, внучек, я так просто. Напугал тебя, наверно. — Тяжелой костлявой рукой он гладил меня по голове. Мы долго сидели так. Затем я лег на его постель, рядом с ним. Он меня обнял, прижал к себе, и я уснул.

Зимнее, необыкновенно ослепляющее солнце освещало каморку деда, когда я проснулся. Дедушка сидел на своем месте и работал. Низко нагнувшись, узловатыми руками он что-то мастерил. Глядя на его жидкие белые волосы, изрезанное складками лицо, я невольно подумал: «Какой он царский командир!» — и мне стало жаль дедушку. Тут мое внимание привлекла работа дедушки. Он трудился не над сапогом. Шпандырь лежал в стороне. В его руках белела жесь, и он делал из нее что-то круглое. На приземистом верстаке стоял

фонарь. Без стекла. А вот и стекло. Но что случилось? Оно было ровно обрезано сверху примерно на одну треть. Разбитой части не было. Я сообразил: дедушка отремонтировал фонарь, вернее стекло. И вскоре оно было готово. Вместо верхней разбитой части дед ловко приладил ободок из белой жести, и мне казалось, что фонарь стал еще красивее.

— Ну вот, внучек, все в порядке! — весело воскликнул дедушка, закончив работу. Потом он подошел к комоду, поковырялся там и, вернувшись, обратился ко мне:

— Возьми гривенник! Береги для другой картины.

— Дедушка! Дедушка! — с восхищением воскликнул я. — Пойдем вместе в следующий раз!

— Нет, внучек, куда мне. Стар я. А ты сходи.

А потом дедушки не стало. Он умер. А броненосец «Потемкин» продолжает свое плавание по Азии, Африке, Америке и другим материкам. Счастливого ему плаванья!

СТРАХ

1

— Гранкин! Быстро в отдел, получите новые радиоданные и пулей на наблюдательный пункт к майору Зорину. Смена радиоданных в двадцать четыре ноль-ноль!

Такова была задача, которую на одном дыхании выпалил начальник связи корпуса молодому лейтенанту Гранкину, недавно прибывшему из училища.

Когда лейтенант, лихо щелкнув каблуками, ответил «есть!», подполковник с тремя орденами на груди вопросительно посмотрел на лейтенанта. Последний, стоя по стойке «смирно», пожирал взглядом самого начальника. А начальник, засунув ладонь за поясной ремень, бесцеремонно рассматривал застывшего лейтенанта. Немного помедлив, подполковник добавил:

— Передайте майору Зорину, чтобы он сразу доложил мне о вашем прибытии!

Через пять минут на юрком «виллисе» лейтенант отправился на наблюдательный пункт корпуса.

Ехали быстро. По обе стороны дороги величественно стояли стройные остроконечные кипарисы. Бархатный весенний

наряд покрывал долину. Лютики и ирисы, разбросанные вокруг, пестрили зеленое покрывало. К этой местности война, казалось, не притронулась беспощадной рукой. Быстро проскочила по дороге, оставив следы гусениц. Такой мирный пейзаж тянулся километров десять. Затем облик местности резко изменился. Сначала появились вдоль дороги изуродованные кипарисы. Один из них был срезан посередине и напоминал широкую зеленую вазу на коричневой ноге. Другие кипарисы, поваленные, лежали на земле. Возле них сгоревший танк.

Вздыбленная гаубица задраным стволом бессмысленно смотрела в небо. Вокруг остывшие воронки. В кюветах, на дороге — трупы в зеленых мундирах. Лежат лицом вниз, по одному, по несколько рядом, друг на друге. Зеленые мундиры на них под цвет травы.

Вчера здесь прошли танковые бригады корпуса. Застывшее поле боя лейтенант Гранкин видел впервые. Ему стало жутковато. Шофер притормозил машину, объезжая убитых.

Впереди гроыхали разрывы. Передний край приближался. Он проходил по скатам темнеющей на горизонте гряды. Справа от дороги, метрах в двухстах, артиллерийская батарея вела огонь. А вот и линия одиночных окопов. Это передний край второй позиции, догадался лейтенант. Отсюда до наблюдательного пункта, должно быть, не более двух-трех километров.

Возле дороги в окопе стоял пехотинец в выгоревшей добела гимнастерке. Винтовка лежала перед ним на бруствере. Лейтенант облегченно вздохнул — наконец-то есть возможность спросить живого человека. Он тронул легонько шофера, высунул голову из машины, намереваясь узнать у солдата: далеко ли до поворота. Но из окопа раздался гневный окрик: «Убирайтесь к чертовой бабушке!» И, махнув рукой в направлении движения машины, солдат скрылся в траншее.

«Одичал он, что ли?» — подумал лейтенант, не пытаясь больше обращаться к пехотинцу. Да это было и бессмысленно — тот опустил на самое дно окопа, и его не стало видно. Только винтовка одиноко лежала на бруствере.

— Поехали! — Шофер отпустил тормоза, дал газ, и машина рванулась вперед.

Прошло не более трех-пяти секунд, как за спиной лейтенанта внезапно раздалось взрывы: один, второй, третий. Почти одновременно. От неожиданности лейтенант вздрогнул и мгновенно обернулся. Над дорогой, где они только что стояли,

плыло облако дыма и пыли. Когда его отнесло ветром в сторону, лейтенант увидел в окопе знакомую фигуру пехотинца. Он стоял во весь рост и энергично тряс кулаком в их сторону.

2

Наблюдательный пункт корпуса был на скатах высоты, окаймляющей полукругом широкую лощину. Противник вел методический артиллерийский огонь по лощине. Примерно каждые восемь минут пролетал снаряд и раздавался взрыв. Снаряды разрывались в самой лощине или за ней, на опушке леса. Действовал этот огонь изнуряюще. По крайней мере на лейтенанта Гранкина. Где бы он ни находился, ему казалось, что очередной снаряд ударит рядом.

Он разыскал майора Зорина и передал ему новые радиоданные. Майор спокойно сидел в щели. Под рукой у него стоял телефон. Лейтенант Гранкин опустил на корточки возле майора, прислонившись спиной к земляной стенке. Вверху сияло голубое небо. Но это не радовало лейтенанта. Опять ухнуло, и он вздрогнул. Майор Зорин был занят просмотром радиоданных и не замечал смятения лейтенанта. А тот озабоченно посматривал на часы. Прошло пять минут после очередного разрыва.

«Здесь оставаться долго нельзя. Пора выбираться», — размышлял лейтенант и, стараясь не привлекать внимания майора, полез из щели. Когда оказался уже наверху, услышал вопрос:

— Ты куда?

Надо было отвечать. А что? Но майор сам выручил лейтенанта. Не дожидаясь его ответа, продолжал:

— Мне надо составить донесение, так что не уезжай, обожди, отправлю с тобой.

— Нет! Нет! — обрадовался лейтенант Гранкин. — Не уеду, зайду.

Не отдавая себе отчета, он направился к лесу, впереди которого примерно на протяжении метров двухсот рос низкий вереск. Пройдя метров сто, вдруг почувствовал, что левая нога за что-то зацепилась, и раздался звон колокольчика. Гранкин посмотрел под ноги. Носок сапога зацепился за натянутую проволоку, на которой висел металлический стаканчик. Это он издавал звон. Лейтенант глянул влево — то же

*

самое: проволока и подвешенный стаканчик. Взгляд его упал на деревянную табличку на колышке, воткнутом в землю. Надпись на табличке гласила: «Мінеп».

Гранкин застыл на месте. Сделай шаг — и кто знает. . .

В этот момент опять грохнуло. Но разрыв не вызвал испуга. Страшнее казались мины.

Он припомнил наставления: окажешься на минном поле — выбираться из него следует по старым следам. Он так и поступил. И вот минное поле позади.

«Это трусость или что?.. — задавал себе вопрос лейтенант. — От страха угодил на минное поле».

Он опустился на траву и окинул взглядом расположение наблюдательного пункта. На противоположной стороне ложины блиндаж. Легковые машины недалеко от него врыты в аппарели. Только радионная машина сети командования стояла выше, метрах в двадцати слева от блиндажа. Ниже блиндажа и левее разбросаны щели, в которых работали и укрывались. К ним была подведена телефонная связь. Вот кто-то выскочил из щели и спокойно направился к блиндажу.

Из блиндажа вышел начальник оперативного отдела полковник Шатров. В тот момент, когда он оказался наверху, раздался свист пролетавшего снаряда. Полковник инстинктивно пригнулся, немного помедлил и пошел к радиостанции. Снаряд разорвался далеко внизу, подняв облачко пыли.

На наблюдательном пункте не было ни суеты, ни паники. Казалось, страх тут неведом. Только лейтенант Гранкин, вероятно, один был исключением. Вначале он не обратил внимания на человека в шинели, который полулежал возле блиндажа. Присмотревшись, узнал. Это генерал, комкор. Он полулежал на земле, словно его не касались ни рвущиеся снаряды, ни сама война.

Из блиндажа вышел офицер, поднялся к генералу и подал какую-то бумагу. Прочитав документ, генерал не спеша написал его и вернул офицеру. Тот скрылся в блиндаже.

Было известно, что части корпуса остановлены противником на заранее подготовленном рубеже. Танковые бригады прекратили наступление и закрепились. Корпус вырвался далеко вперед. Ожидался подход стрелковых соединений для прорыва обороны противника.

Лейтенант присмотрелся к обстановке. На главной станции комкора работает радистка Галя Ершова. Она неприужденно сидит на радиостанции, расположенной чуть ли не

на самой высоте. Убери рацию вниз, в лощину — связи не будет. На голове у Гали гарнитура. Она ключом отстукивает радиограмму. Расхрабрившись, лейтенант поднялся с земли и пошел к ней. Поздоровался. Она ответила кивком головы, продолжая работать. В стороне — опять разрыв. Лейтенант вздрогнул. К счастью, сосредоточившись на передаче, Галя не заметила его испуга.

Гранкин наблюдал за ее рукой. Ни малейшей паузы, никакой заминки в четких вертикальных движениях руки. Она словно не слышала разрыва. Лейтенанту стало стыдно. Ведь он мужчина, в конце концов. В нем возникло чувство уверенности, хотя внутри что-то сосало. Передача наконец закончилась. Галя опустила гарнитура на шею и улыбнулась, взглянув на лейтенанта. Он улыбнулся в ответ.

— Ну как там, на КП? — спросила Галя.

— Там тишина, — подлаживаясь под ее непринужденный тон, ответил лейтенант.

— У нас тоже стало спокойней. Вчера было жарко. Сашка Руднев погиб.

Лейтенант знал еще вчера, что веселый и подвижный радист Саша Руднев из экипажа станции радиосети артиллерии убит осколком снаряда во время дежурства. Лицо Гали погрузнело. И в этот момент рвануло сзади, лейтенант вздрогнул. Галя подняла голову, сказала:

— Товарищ лейтенант, не стойте здесь! Ступайте в щель!

— А почему? Ты же сидишь.

— Мне нельзя уйти — я на дежурстве.

— А тебе страшно, Галя?

— Страшно. Я — трусиха. Сдам дежурство — сразу уйду в щель.

Гранкин возвратился к майору Зорину, но в щель не полез. Наперекор страху захотелось побить открыто наверху. В нем пробудилась злость против самого себя.

— Чего красуешься? Спускайся сюда! — крикнул снизу майор. — Или ждешь, когда осколок хватит?

— Не хватит! — задорно ответил лейтенант, не торопясь спускаться в щель.

— Не храбрысь! Поздно будет, когда хватит. И генерал ругается, когда наверху люди бродят. Живо прибежит комендант.

— А сам-то генерал все время наверху, — возразил Гранкин.

— То генерал, а ты еще лейтенант.

Гранкин не стал больше пререкаться и спустился в щель. И странно, он уже не испытывал того чувства, что очередной снаряд попадет именно в эту щель.

— Вот это надежней, — заметил майор, когда лейтенант присел возле него. И продолжал: — На генерала ты не равняйся, он умней тебя.

— Снаряд не разбирает, кто умный, а кто глупый.

— Это верно — снаряд не разбирает. Но глупого он скорей достанет, чем умного.

Лейтенант рассмеялся:

— Выходит, генерал-то не умней меня, я сижу в укрытии, а он наверху.

— Это тебе так кажется, милок, — возразил майор.

— Почему кажется?

— А ты понаблюдай, — бросил майор в ответ.

Лейтенант задумался: что за смысл вкладывал майор в эти слова? Генерал полулежал в прежней позе.

— Спит он, что ли?

Очередной снаряд разорвался на самом гребне, метрах в десяти выше блиндажа. Пыль и песок, поднятые взрывом, постепенно оседали на блиндаж. Попало на шинель генерала и фуражку. Комкор, не оборачиваясь, стряхнул воротник, затем снял фуражку, опрокинул ее тульей вниз, стряхнул песок и снова надел. Все это он проделал неторопливо, не меняя позы. Следующий снаряд, пролетев с хрустящим свистом, разорвался напротив блиндажа, но далеко внизу.

Вдруг раздалась удары в гильзу. Воздушная тревога! Радистка Галя соскочила с радиостанции и прыгнула в щель. Генерал с ловкостью, которой позавидовал бы и натренированный солдат, вскочил на ноги и скрылся в проходе блиндажа.

Не заглох еще звон гильзы, как застучали частые выстрелы пушек зенитной батареи, прикрывавшей наблюдательный пункт. Сверху из-за небольшого облака внезапно вывалились два самолета. Они стремительно шли в пике. Вниз полетели бомбы — по две от каждого самолета. Следя за их падением, лейтенант невольно опустил на корточки. Раздались взрывы. И все смолкло. Три бомбы разорвались на пустом месте. Только одна упала возле грузовой машины, которая вспыхнула багровым пламенем.

Самолеты так же быстро скрылись, как и появились. Наблюдательный пункт снова оживился. К горячей машине бросились люди с лопатами.

Галя вернулась на свое место. И генерал, уже без шинели, вновь занял прежнюю позицию.

Майор Зорин, видя, что Гранкин продолжает наблюдать за генералом, спросил:

— Теперь понял что-нибудь?

— Понял, — ответил лейтенант, — генерал снарядов не боится, а бомбежки боится, как и все.

— Ничего ты не понял. Генерал и снарядов боится, как и мы с тобой. Но не всех. — И, указывая пальцем в сторону блиндажа, сказал: — Обрати внимание на положение блиндажа...

— Ничего не нахожу!

— Так слушай. Саперы — народ ушлый. Они умело используют каждую складку местности. Приглядишься внимательно: блиндаж вписан в скат высоты так, что над ним гребень и вниз от блиндажа идет крутой спуск до самой лощины.

— Понял! — воскликнул лейтенант Гранкин.

Теперь ему стало ясно, почему генерал не боялся разрывов снарядов. Он знал, что осколки снаряда, разорвавшегося на самой высоте, его не коснутся. Если же снаряд не заденет гребня высоты, то он пролетит дальше и разорвется в лощине. Оттуда осколки тоже не достанут. Блиндаж расположен в мертвой зоне, самой надежной.

— А вообще-то, — продолжал майор, — у нашего бати есть тенденция пренебрегать опасностью.

Вечером, возвратившись на командный пункт, лейтенант бойко доложил начальнику связи о выполнении задания.

— Ну, как там? — хитровато улыбаясь, спросил подполковник.

— Нормально, товарищ гвардии подполковник, иногда прошуршит снаряд и где-то разорвется... — ответил лейтенант как о самом обычном явлении. Но начальник связи продолжал пытаться:

— Говорят, налет был... машина сгорела...

— Да, было дело, — стараясь сохранять хладнокровие, отвечал Гранкин, — два самолета прилетели, зенитки открыли огонь. Они, видно, со страху сбросили по паре бомб и улизнули!

Подполковник добродушно улыбнулся и произнес:

— Ну, молодец! — И крепко пожал руку лейтенанту.

На этом закончил свой рассказ полковник в отставке Гранкин. Его слушателями были молодые курсанты военного училища связи. Напряженная тишина, царившая во время всего неторопливого рассказа, продолжала еще висеть над аудиторией.

Полковник Гранкин, немного помолчав, заговорил снова, обращаясь к сидевшему рядом с ним за столом седому генералу в очках. Он говорил громко, чтобы слышали все, находившиеся в зале.

— Вероятно, вы, Петр Тимофеевич, ожидали, что по возвращении с НП я буду рассказывать о непрерывных артналетах и свирепой бомбежке, подчеркивая этим свою неустрашимость. Но преувеличивать я ничего не стал. Однако и о пережитом страхе — тоже молчок. Никто не видел моего страха, как он загнал меня на минное поле. А теперь не грех и признаться.

Генерал хитровато улыбнулся и ответил:

— Я, отправляя вас на НП, предупредил майора Зорина, чтобы он немного присмотрел за вами. Прodelал он это, надо сказать, ловко. Минное поле-то, немецкое, было ложным. Майор знал об этом.

В зале раздался хохот. Полковник Гранкин почувствовал сначала смущение от неожиданности. Но через секунду тоже расхохотался. А когда смех постепенно стих, бывший лейтенант Гранкин произнес:

— Вот так, ребята, век живи — век учись!

ВАЛЕНТИН ГОЛУБЕВ

ПАРЛАМЕНТЕР

К прицелам снайперы легли.
Людских сердец избранник,
Парламентер от всей земли,
Иду я полем брани.

О, это поле! Лик его
Воронок оспины изъели.
А я оттуда, где светло
И нынче буйствуют апрели.

На этом поле гарь черна,
Трава дымится неживая.
А я оттуда, где весна
К продленью рода призывает.

На этом поле не пожнут
Хлебов столетие иль боле! ..
А я оттуда, где живут
Медовым месяцем любви.

Над этим полем пулям петь,
И падать юношам на землю,
А я оттуда, где теперь
Природа материнству внемлет.

Над этим полем тишина
Нарушена предсмертным стоном,
А я оттуда, где война
Людским карается законом!

За то, что дождь любил, и снег,
 И солнце на полях отчизны,
 За то, что был азартней всех
 В любви, труде и жажде жизни,

Идти на линию огня
 Я избран был среди достойных.
 Все пушки разрядив в меня,
 О люди, прекратите войны!

СНЕГУРОЧКА

Мнила молодость:
 нелюдимою
 Век прожить, утаить красу,
 Горькою ягодой рябиной
 В снежном потчеваться лесу.

Мнила молодость
 (ей, Снегурочке,
 Пламень сердца был незнаком):
 Вот закутаюсь в белую бурочку,
 За крушиновым спрячусь кустом.

Мнила молодость:
 зимы вечны,
 Мыслью тешилась: крепок лед.
 Что ей радости человечьи,
 Если с ними она умрет?

Мнила молодость:
 позабыли
 Этот лес весна и апрель,
 И лучила глаза голубые
 На закат и на снегирей.

Мнила молодость:
 снег искрист еще,
 Но ушла, пересилив страх, —
 Знать, сманили весною игрища
 И прыжки над огнем костра.

ИВАН ПОНОМАРЕНКО

* * *

За фермой, где
все реже поступь хат,
а лес уже
не черная строка,
лежит мой тезка.
Рядовой солдат.
И, кажется, звезде над ним —
века.
Мы там в войну
могли всю ночь играть,
бои гремели,
словно наяву...
Нам нравилось
красиво умирать,
в кладбищенскую
падая траву.
И воскресать,
и вновь (в который раз!)
мы шли в атаку
с криками «ура»...
Но не боялись
матери за нас.
Игра в войну —
веселая игра!
Когда в руках
воюющих сторон
на грозное оружие
лишь намек,
а чей-то нос разбитый —
весь урон,

который понести
противник мог.
Но есть один
мучительный вопрос
и даже, понимаете, беда...
Сияет по вселенной
много звезд,
а среди них
фанерная звезда.
Так к памяти моей
прикреплена,
что, все утратив,
сохраню ее!
О том, что на Земле
была война,
она — воспоминание мое.

* * *

Всю ночь над городом мело,
сугробы все перелистало.
А утром это мартом стало,
его приметы обрело.
И синей жилкою ручей
упал, как связь на бездорожье.
И солнце льдинки осторожно
ломало пальцами лучей.
В колоннах, в трубах, как орган,
был город полон звуков тайных.
И только хор грачей гортанный
в саду восторженно орал.

ДИАНА КУВАЕВА

АЛЕШКА

Рассказ

— Валя, наряд давай, — обратился Алексей Кузьмич к молоденькой работнице и тяжело сел на обшарпанную табуретку, чемоданчик со слесарным инструментом поставил рядом на пол.

— Сейчас, Прошкин, — с досадой отозвалась Валя, — вечно вам не терпится, только вошли и сразу — давай! Сегодня три квартиры всего — и ремонт сделать, и обмыть успеете, — съязвила работница.

Прошкина обдало жаром. Но обида и возмущение не вывели его из себя.

— Соплячка! — только и сказал он, свел к переносице клочкастые брови и, взяв чемоданчик, поднялся с табуретки. Валя молча положила на край стола наряд. Алексей Кузьмич засунул его в нагрудный карман заношенного, старого морского кителя, на груди которого с обеих сторон темнели яркие, с дырками посредине пятна от снятых орденов, и, тяжело ступая, направился к двери.

«Молодая еще — не понимает. Когда морским узлом скрутит, будет разбираться что к чему», — подумал Прошкин и достал из кармана наряд. Прошелся по нему глазами и еще больше нахмурился — опять седьмая по Садовому, 5. Каждый месяц вызывают!

В прошлый раз ведь все отремонтировал: краны заменил, утечку газа устранил, прочистил.

Вспомнил хозяйку седьмой квартиры — седую, не старую еще, прямую, как мачта, и властную женщину.

— Вы, товарищ, чините как следует! — сказала она ему в прошлый раз. — Я халтуру не люблю и на пол-литра не даю!

Так и сказала: «На пол-литра не даю!»

А он, подавив обиду, спокойно ответил на это:

— Приду после, когда штормить не будешь, а без поллитры обойдусь. — И вразвалку направился к двери. Но раненое самолюбие не дало покоя весь день.

А сегодня опять седьмая!

Алексей Кузьмич достал папиросу и закурил. По телу, от седой, топорщившейся петушиным гребешком макушки до тяжелых ступней, пробежала успокоительная волна. Не замечая дождя, Прошкин сел на скамейку в сквере и задумался.

Вспомнилась растреклятая эта война... Балтика, которой он отдал всю свою жизнь, прощание с ней, с судном, где каждая заклепка была ему знакома и дорога, с экипажем и старым, еще довоенным другом, коком Федором Гнедковым, который так же, как и он, старшина Алексей Прошкин, потеряв во время войны семью, отдал себя морю. И его скоро тоже, вслед за ним, Прошкиным, спишут на берег. А им берег — что чайке клетка...

Дождь усилился. Слизнув с губ неприятную, пресную влагу, Прошкин посмотрел на часы и встал со скамейки. Похлопал себя по мокрому рукаву и, мысленно отодвинув седьмую квартиру на последнее место в наряде, направился по одному из адресов.

Воспоминания разбередили душу, захотелось выпить. Он знал, что после того, как наладит газ в первой же квартире, ему поставят или дадут на выпивку, самое малое рублевку.

Но он тут же представил себе, как явится после этого в седьмую, и, подумав, свернул к ненавистному подъезду.

— Кто там? — спросил за дверью тоненький детский голосок, когда Прошкин нажал кнопку звонка.

Алексей Кузьмич растерялся и молчал.

— А бабушка в магазин ушла, — раздалось опять из-за двери, — и никого пускать не велела. Ты кто?

— Я слесарь из Ленгаза, — расковал наконец свой язык Алексей Кузьмич. — Газ пришел чинить.

— А-а! — протянул тоненький голосок.

И, щелкнув замком, дверь открылась. Прошкин вошел.

В прихожей стоял бледный, обмотанный по туловищу крест-накрест большим шерстяным платком мальчик лет пяти. Конопляный чубик завивался на его лбу колечками, глаза, как два открытых иллюминатора, с любопытством смотрели на Прошкина.

— А ты водку пьешь? — спросил мальчик. Под верхней губенкой открылась на два зуба щербинка.



Алексей Кузьмич крикнул и почесал макушку.

— Бабушка говорит, что все слесари уже пьяницы и совети совсем нет, — заявил мальчик и тут же без всякого перехода доложил: — А у меня пневмония!

— Ясно! — не нашелся, что еще сказать, Алексей Кузьмич.

— Ангина тоже была, но уже прошла, бабушка ее горячим молоком с содой вы... выпарила.

— Ясно! — повторил Прошкин. — Молоко, оно первейшее лекарство, а ежели еще с хлебом! — сказал он, окинув взглядом бледные щеки мальчика, и направился в ванную.

Мальчик пошел следом.

— А хлеб ем... уже.

— Ясно! А тебя как зовут-то? Раньше я тебя здесь что-то не видел, — спросил Алексей Кузьмич и, поставив чемоданчик на приставленный к ванне стул, открыл его.

— Алешкой! — ответил мальчик. — Я в детский сад хожу, в старшую группу, и буквы писать умею.

— Порядок! — одобрил Прошкин. — Меня тоже Алексеем звать, выходит, мы тезки!

Взяв из чемоданчика плоскогубцы, он сел на край ванны и стал откручивать какую-то гайку.

— А это што? — спросил Алешка, указав на чемоданчик.

— Инструменты это слесарные, — ответил Прошкин. — А лет-то тебе сколько, Алексей? — спросил он у мальчика.

— Пять с половиной, скоро шесть будет. Во! — приподнялся на носки Алешка. — Я уже отметку перерос.

— Пор...рядок! — с силой нажал на водопроводный кран Алексей Кузьмич и крикнул. Полилась вода. Потом стал что-то точить напильником. Седой гребешок на его макушке вздрагивал, пот градом катился со лба и, задерживаясь в бровях, расплзался в стороны. Прошкин проводил по бровям кулаком, брови приглаживались, как будто прошлись по ним утюгом, и лицо его совершенно менялось после этого. Освобожденные от завесы глаза смотрели на Алешку открыто и ласково.

— А я петь умею... и рисовать. Меня бабушка научила, — доложил Алешка. — Хошь, спою?

— Спой! — согласно кивнул Прошкин и потрепал мальчика по коноплянному чубчику.

— «Прощайте, скалистые горры, Отчизна на подвиг зовет. Мы вышли в открытое морре, в суровый и дальний поход», — немного фальшивя, пропел Алешка.

— Вот это кореш! — восторженно хлопнул себя по бокам Прошкин. — Вот это уважил, браток! Откуда ты это знаешь?

— Я же говорил, што бабушка научила. Откуда-откуда! Она морр-ряком была... давно. На большущем корр-рабле плавала... на катере! А фричы ка-ак дадут по кораблю, а морряки песни ка-ак запоют! А бабушка долго потом в мор-ре плавала, и ее потом спасли!

Алексей Кузьмич слушал мальчика, дивясь в душе его фантазии.

— Хошь, бабушку покажу в бескозырке? Она на стенке висит, — спросил вдруг Алешка и, сбегав в комнату, принес ста-

рую пожелтевшую фотокарточку, вставленную в металлическую рамку, и подал ее Прошкину: — Во!

Алексей Кузьмич взял в руки фотокарточку и открыл от удивления рот. С нее смотрела знаменитая на весь Балтийский флот десантница Антонина Зубова. Во флотской форме и бескозырке. Во время войны в газете Прошкин видел ее портрет.

— Твою бабушку как зовут? — спросил он у мальчика и вытер со лба пот.

— Бабушка Тоня.

— А фамилия?

Алешка молчал.

— Твоя-то как фамилия?

— Корнев Алеша, — ответил недоуменно мальчик.

«Тьфу ты, старая шаланда! — выругал себя мысленно Прошкин. — Сколько ведь воды утекло! А у бабы фамилия — что погода на Балтике!»

— Да мы с твоей бабушкой, выходит... вроде родня: я тоже балтиец! — сказал мальчику Алексей Кузьмич и, вернув фотокарточку, погладил его по голове. — У меня тоже такой, как ты, сын был, чуть поменьше разве, Сашей звали, да в Ладоге затонул вместе с матерью. — Прошкин вздохнул. — С тех пор один я, так ни к кому и не пришвартовался.

Алексей Кузьмич взял мальчика за плечи, притянул к себе и, заглядывая ему в глаза, сказал:

— Плохо, брат, одному. Очень плохо. — Помолчав, добавил: — А тебе хорошо должно быть, факт!

— Хошь яблоко? — спросил вдруг Алешка. — У нас во какие! — обхватил он руками пространство величиной с арбуз и убежал в комнату.

— Да не надо, сынок! — крикнул ему вслед растроганно Прошкин и, приглаживая кулаком брови, провел мимоходом по глазам.

Но Алешка уже вернулся с яблоком.

— Ешь, у нас еще есть!

— Спасибо, сынок, тебе самому надо вес набирать, в рост идти, сам съешь, — твердил Алексей Кузьмич.

Но Алешка, насупив бровки и поглядывая из-под них недовольно на Прошкина, упрямо совал ему яблоко в руки.

— Ну, спасибо, коли так! Не забуду вовек! — произнес словно клятву Алексей Кузьмич. — А здесь порядок! — указал он на газовую колонку. — Так и бабушке скажи. Ежели что, пусть сразу вызывает.

В это время раздался скрежет ключа во входной двери, и Алешка бросился в прихожую.

— Бабушка, к нам слесарь пришел, он родня, а водку совсем не любит! У него совести во сколько и инструментов еще! — Алешка развел руками. — Пошли скорее, он на ванне сидит!

Алексей Кузьмич стал быстро складывать в чемодан инструменты.

Женщина подошла и поздоровалась.

— Здравствуйте, — хмуро ответил Прошкин, внимательно вглядываясь в ее лицо, и почувствовал, что краснеет. — Повреждения устранил. Ежели что...

Женщина поблагодарила.

— Ну, я пошел, Алексей, прощай, — сказал Прошкин мальчику и, погладив его по голове, закрыл за собою двери.

С тех пор, когда кто-нибудь из хозяев старался засунуть ему в карман рублик или подносил рюмку, Алексей Кузьмич спокойно отводил руку и, недовольно насупив брови, говорил:

— Не беру!

А всякий раз, когда вручали ему наряд в конторе, с надеждой искал в нем седьмую квартиру в пятом доме по Садовому переулку.

ВЛАДИМИР ШАЛЫТ

У МОРЯ БЕЛОГО

— От моря Белого привет тебе, земля! —
Сказали моряки, сходя на берег.
Горели маяки,
И парус белый
Далекого маячил корабля...
Откуда вы, тугие паруса,
В Архангельскую залетели бухту?
Раскачиваясь вдалеке,
Как будто
Вы из воды рванулись в небеса!
На фоне этих северных морей
И рыбаков, литых, тяжеловесных,
Вы, паруса, какой-то старой песней
Приплыли к нам — и стало веселей!
И был в ночи Архангельск без огней
Необычайно свеж, суров и светел,
Вдоль набережной рвался вольный ветер,
Как синие бушлаты у парней.
Был праздник белых северных ночей!
Шли моряки, привыкшие к скитаньям,
Шли женщины, привыкнув к ожиданиям,
И потому здесь было все сильнее!
Какая-то горячая луна,
И искренность без всякого искусства,
И на душе одно лишь только чувство:
Огромная, великая страна!

ТАТЬЯНА ЖИРКОВА

КАРА-БОГАЗ-ГОЛ

Рассказ

Суббота, суббота! Мама, конечно, уже купила билеты. Вот сейчас она, наверное, поднимается по лестнице, всовывает ключ, разувается у двери и раздумывает, во что нас с Люской одеть. Я так люблю матроску, но она не позволит, скажет: старая, затасканная. Ладно, надену розовое. Счастливая Люська, ей все равно, какое платье, лишь бы был большой бант...

— Эй ты, Ветка!

Это Лешка, мой сосед. Начинается.

— Ну что тебе?

— Спорим, сейчас звонок будет!

Так, все ясно, очередной трюк.

— Спятил? Еще полурока!

— Поспорим на три щелбана?

Вот привязался.

— Нужны мне твои щелбаны.

— Чтоб я твой портфель до дома тащил, спорим?

Фу, противный!

— Отстань! — говорю я с досадой.

— Санина! Встань!

— Не вставай, Ветка, — шепчет Лешка. — Инна Константиновна! Это я!

— Я вижу, Шаров, что это ты. Санина, я к тебе обращаюсь. Сейчас же поднимись!

Все, замечание в кармане. А вот поднимусь! Ой... Проводов-то, проводов... Ну, Шар!

— Что такое? Кто звонит? Прекратите звонить! Санина! Выйди из класса!

А у нее металлический голос. Мурашки по спине... И пусть, и выйду. Вечно он что-нибудь натворит, а я виновата. Ну и пусть! Все равно последний урок. Все-таки она несправедли-

вая. Все говорит — совесть, совесть, а сама несправедливая. Какие они разные... Людмила Ивановна — добрая, справедливая и такая... такая... ну, душевная... А голос — просто как весна... Как весна! Когда солнце, птицы щебечут, а мальчишки в лужах пускают кораблики. Хорошая она. Я бы все-все ей рассказывала: что делала, куда ходила, о чем думала, что видела... И она бы мне все рассказывала... Так люблю ее слушать! На ее уроках даже Шар сидит с открытым ртом, хоть резинку всунь. Пусть бы только попробовал выкинуть что-нибудь, я бы его так треснула, век помнил бы.

Переправа, переправа,
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому — память, кому — слава,
Кому — темная вода...

Милая, милая. Вот просто комок в горле, и мысли, мысли светлые...

Портфель забыла — ждать или не ждать? А может, войти и забрать? Извинюсь, возьму портфель и выйду. Нет уж. Еще вызовет маму. Уж лучше пойду тихонечко за Люськой.

Странно, как тихо. И футболистов нет. Ах да, суббота. И денег нет, в портфеле остались... Что же делать? Пять остановок... Ладно, поеду так. А если контролер? Притворюсь глухой и стану размахивать руками, как Витька. А что, у него здорово выходит. Чего он только не делает руками, так смешно!

— Девочка!

Все кончено, попалась... Сейчас начну размахивать.

— Девочка, передай на билет. Спасибо.

Кажется, пронесло. Еще три остановки. Если успею досчитать до ста, то контролера не будет. Раз, два, три, четыре...

Приехали! Суббота, суббота! Интересно, купила мама билеты?

«А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги!»

— Баба Дуня, здравствуйте! Я за Люськой пришла. Вы ее приведете или мне самой можно?

— Опоздала ты, ее уже отец забрал.

Наверное, у нее склероз.

— Какой отец?

— Как какой — родной. Конфетами нас угощал!

— Давно?

— Такой красивый отец у вас, я и не признала сперва. Говорю, вы к кому при...

— Баба Дуня, куда они пошли?

— Домой.

— Куда?

— Да говорю же, домой. И ты беги, ждут, верно.

— Да нет у нас отца, баба Дуня, понимаешь, нет! Он... он ушел... Нет! Он нас бросил! И мы его знать не хотим!

— Бросил, говоришь? Дак а как же... Дак что же... теперь? Ах вы, дети вы мои бедные. Гляди ты, какое горе-то, а я... А то ведь, поди ж ты, пришел, давай, говорит, дочку мою сюда. Ну я и дала. Ах ты, боже. Куда же ты? Они уж, почитай, час как ушли.

Наказание! Опять зайцем? Ну уж нет!

— Баба Дуня, дай двадцать копеек, завтра отдам. Только скорей. Спасибо!

Так, теперь на автобус. Где они могут быть? Или у него дома, или на пляже, — жарко. А может, он ее в зоопарк повел? Да, плакал наш цирк. А Люська — предательница, за конфетку продалась! Ну, погоди, найду я тебя! Папы ей захотелось! Да мне такого папы за полкопейки не надо! Значит, приехал. Странные все-таки у меня родители, думают, я ничего не понимаю. А я уже тогда все поняла, в свои пять с половиной...

— Манон! Удача! Мы едем на Север! — отец ураганом влетел в комнату, схватил и закружил маму.

«Север — это олени, это Лапландия! И мы едем в Лапландию! — ликовала я, вспомнив чудесную сказку, которую мне читал отец. — Ура! Ура! Мы едем в Лапландию!»

— Пусти меня! Сейчас же пусти! Ни на какой Север ты не поедешь! — сказала мама сердито.

Я помню, какое лицо стало у отца, какое-то беззащитное. Я подошла и обняла, обхватила его колени. Ведь он тоже хотел в Лапландию.

— Почему? — спросил он чужим голосом.

Если бы я не видела, как шевелятся его губы, то подумала бы, что это «почему» сказал не мой отец и вообще не человек, а робот, — голос был деревянный. Да, да, именно в этот момент я увидела, почувствовала, какие чужие люди мои

папа и мама. Чужие друг другу. Они говорили на разных языках... А я? Как будто моя любимая кукла, которую я держала в руках, вдруг на моих глазах стала таять и исчезать неизвестно куда, и я не знала, не понимала, как ее спасти...

— И ты еще спрашиваешь? А ты спрашивал меня, нравится ли мне такая жизнь, чего я хочу? Разве смогли бы мы прожить на твою стипендию да случайные заработки, если бы я не вкалывала по две смены? А дома ведь все на мне — стирки, и обед, и ребенок. И хоть раз я упрекнула тебя? А теперь ты говоришь: едем на Север...

— Маша, я — геолог! Мое место там. Пойми, это моя работа! И поверь, ведь это все окупится — ставка двести плюс коэффициенты, в чистом виде рублей четыреста!

— Да не надо мне твоих денег. В конце концов, у меня тоже работа...

— Света, сходи-ка купи себе мороженое, — отец зазвенел мелочью.

— А тебе? — спросила я, глотая слезы.

— Да, да, купи, — тихо и как-то виновато ответил он.

За дверью я остановилась перевести дух.

— Что бы ты там ни говорила, для меня это удача, — все больше горячился отец, — и если я не воспользуюсь ею, то буду последним дураком. Ну почему, почему ты не хочешь меня понять?

— Что ж, поезжай. Только без нас, — равнодушный мамин голос отогнал меня от двери.

Я медленно спустилась вниз и вышла во двор. Весь двор был залит солнцем, но мне было все равно... Девчонки скакали на площадке — мне было все равно. Мои приятели носились вокруг, они играли в казаков-разбойников, а мне было все равно... Я вышла за ворота и пошла по улице. Был теплый солнечный день, а мне все казалось каким-то бесцветным и ненужным. Какие-то прохожие оглядывались мне вслед, показывали пальцами и даже что-то говорили, но мне было все равно. Наверное, у меня было странное лицо, как у человека, которому все равно. Потом я иногда встречала таких людей, я узнаю их по лицу, даже если они улыбаются. Но я-то вижу, что человеку все равно. Мне почему-то всегда хочется подойти и спросить: «Что у вас случилось? Почему вам все равно?» Только я никогда не подхожу.

Ой, а что, если это похититель детей? Украл нашу Люську и продает где-нибудь? Люсенька, Люсенька, найдись! Пожалуйста, найдись!

Вот его дом. Говорят, он женился. Только она некрасивая. Зато везде с ним ездит. Спокойно, спокойно. Ты по делу пришла или реветь? В конце концов, все могут ошибаться. Ты же знаешь, с мамой ему было плохо, это точно, а с ней, может быть, хорошо. Ведь надо, чтобы человеку было хорошо. Утри слезы и смелей. Как долго нет лифта! Наконец. Так, нажимаю семерку.

Страшно. Что я ему скажу? «Отдай Люську! Она тебя не любит и хочет домой»? Нет, лучше не так. «Людмила у вас? Мама сказала, чтобы вы оставили нас в покое». Нет, лучше ничего не скажу, просто войду, холодно посмотрю на него, возьму Люську и уйду. А он пусть как хочет. . . А если он не отдаст? Тогда скажу: «Мы не виноваты, что похожи на вас, просто такая комбинация генов. А в остальном мы совсем чужие и разные. Так что отдайте Люську, пока я не привела милиционера!» Вот, так и скажу!

А если откроет она? Если откроет она, я вообще ничего не скажу, пройду, заберу Люську. . . А если она все-таки что-нибудь скажет. . . «Это не ваш ребенок» — вот что я ей отвечу.

Все-таки я трусиха. Ой. . .

— Мальчик! Подожди! Позвони, пожалуйста, в эту квартиру.

— Ну и что?

— И скажи. . . скажи. . . «у вас есть макулатура?» Позвонишь?

— Спрашиваешь!

Тр-р, тр-р, тр-р!

— Видишь, нету дома. Я пошел.

— Иди, конечно, иди, карапузик. Спасибо.

— Сама карапузик.

— Ой, какой грозный! Ладно, не сердись!

— Постой, карапузик! Ты что же, тут живешь?

— И живу.

— Слушай, а ты дядю Диму знаешь? Он в этой квартире живет.

— Ну.

— А где он сейчас? Ты не видел его сейчас где-нибудь с маленькой девочкой? Тебе сколько лет?

— Четыре с половиной.

- А ей четыре без половины. Так видел?
- Видел, давно. У нее еще весь рот в шоколадке был.
- Где ты их видел? И бестолковый же ты карапуз! Где же они?
- Не тряси меня, папе скажу! Девчонка!
- «Скажу, скажу!» Ничего-то ты не знаешь.
- А вот знаю. Они на пляже.

Сейчас там полно народу, попробуй найди кого надо. Что же мне делать? Как я приду без Люськи домой? Мама с ума сойдет...

- Девочка! Наддай по шарикку!
- Тоже мне «шарик» — килограммов сто.
- Вижу! Вижу! Это она!
- Люся! Люшенька!
- Веточка! Света! Иди скорей сюда!
- Маленькая моя, нашлась!
- Вот тебе, вот и вот!
- Света, да подожди, что скажу-то! Светочка, знаешь, у нас есть папа! Да! Он сам сказал! Видишь, слоник. Мне папа купил! Он и Полкана лохматого купит, насто...
- Сейчас же замолчи! Одевайся, и идем! Скорей! Да пусти, платье надену.
- А папа? А папочка?
- Нет у тебя папочки! Это дядька чужой, он тебя обманул. Он хотел тебя украсть! Дай ручку.
- Не дам! Я не безоцовсина! Я оцовсина! Ирка дура!
- Ты что ругаешься? Это он тебя научил?
- Ирка говорит, мы безоцовсина, а у нас папочка есть! Вот! Пусти! К папе хочу! Папа!
- Что ты заладила — папа да папа. Нет у нас папы. Понимаешь ты, нет! Люшенька, Люська, не плачь! Хочешь, я тебе двух таких слоников куплю и Полкана настоящего? Хочешь?
- Не хочу. Хочу к папе.
- Ну что ты плачешь? Зачем нам папа? Он нас не любит, понимаешь, не любит, а ты? Ведь ты его только сегодня увидела первый раз. Вот Ирин папа всюду Ирочку с собой берет. Она каждый день своего папу видит, говорит с ним, о чем хочет, он ей сказки читает. Не плачь же. Видишь, он ушел, ты ему и не нужна вовсе!

— Нужна, нужна! Попьет пива, купит мороженое и придет. Пусты, пусты! Папочка!

— Так ты что же, и в цирк не пойдешь?

— А папа?

— Последний раз тебе говорю, у нас отца нет! И в цирк мы пойдем. . .

— Люська! Стой! Вернись, Людмила!

Вот и дождалась. Ой, как я его ненавижу, как ненавижу! Вот так взяла бы и покусала всего. И не жалко, нисколько не жалко бы было. А почему? Ведь, кажется, его можно понять. Но не могу, не могу. . .

— Светлячку мое почтение! Не слышу радости в голосе, ибо вообще не слышу голоса. А ты ничего стала, вся в меня! Иди сюда, чмокнемся! Подойди, что тебе стоит, это же твой отец, ну? Нет?

— Не хочу.

— Да. Тебе только трагедии в римском театре играть. Без маски и своим голосом. А мы бы с Лю-лю сидели в первом ряду и рыдали. Ты как на это смотришь, Лю-лю?

— Какой ты веселый!

Как все просто у нее, даже завидно, до чего просто.

— Ты моя Лю-лю! Ты бы поехала с папой на край света, Лю-Лю?

— Да.

— Смотри, Светляк, ребенок готов на край света, а ты не хочешь облобызать родного отца! Это возмутительно! Разве так встречают отцов, спрашиваю я вас?! Их встречают на коленях! На колени, потомки! На колени! На теплый песок! Вот так!

Что со мной? Кто меня заколдовал? Не знаю, как это случилось, но вот уж он носится вокруг нас, а мы, как два зверька, хватаем его за босые пятки. Все точно с ума посходили, и я вместе со всеми. Это все его шутки. Когда он уезжал три года назад, то тоже все время шутил и смеялся так громко, что мама сердилась. А я хохотала вместе с ним и теребила его за усы. И мне так нравилось, когда он говорил над самым моим ухом странное слово «карабагазгол». Потом он уехал. И я все спрашивала маму, где мой карабагазгол. Потом он нас бросил.

— Папочка, зарой меня, чтобы голова торчала, как в пустыне.

— Ветка, помоги-ка!

Может быть, опять будет мир, может, и нет у него никакой жены, все выдумки? Он будет жить с нами всегда, всегда. Ведь я его так люблю.

— А меня зароешь?

— И тебя зарую!

— Слушайте, дети! Вы знаете, кто ваш отец? Ваш отец — герой! Он наконец нашел то, что искал! И сегодня он ваш и только ваш! Целиком и полностью! Куда хотите, туда ведите! Чего хотите, того просите!

— Пап! Выбираю зоопарк!

— И я, и я! Выкопайте меня скорей!

Он берет нас за руки, и мне почему-то становится так хорошо и спокойно, как когда-то давно-давно!

— Пап, а что ты нашел?

— Руду, Светик, драгоценную руду.

— А что такое руда?

— Это...

Он говорит долго и непонятно. Но я не перебиваю. Мне и так хорошо. Так приятно его слушать. И вот я уже горжусь им. Горжусь, что у меня такой умный и красивый отец и что он нашел руду. Одно то, что я держу за руку отца и он говорит со мной почти как со взрослой, наполняет меня такой радостью, что я боюсь вздохнуть.

— Пап, а куда мы завтра пойдем?

— Завтра? Завтра я буду занят, вероятно... но...

Он не знает, что сказать. Сейчас начнет выдумывать. Противно.

— Пап, а как зовут твою жену?

Он не ожидал этого вопроса. Ну кто тебя тянет за язык? Ведь было так хорошо. Ну и пусть, пусть ему тоже станет больно, как мне.

— ...Ксения Васильевна. Это тебе мама сказала?

Значит, это правда, все правда...

— А мы? Как же мы теперь? Ты с нами не будешь жить?

Ничего не вижу... Все лицо соленое и руки... мокрые, мокрые, мокрые...

— Доченька, перестань. Ты же уже большая... Подожди. Я объясню... Ну послушай...

— Нет, нет! Нет! Люська!

Скорей, скорей отсюда. Прочь, прочь! Все кончено. Сказка кончилась. Мы снова одни — мама, Люська и я. Сказка кон-

чилась. Мы снова в своем старом, привычном и добром мире. Почему же мне так больно? И всех нас жалко — и маму, и отца, и Люську, и себя? А Люська, милая Люська. Вот она бежит рядом и глотает слезы, слизывает их и молчит. О чем она думает, маленький человечек? Может быть, она тоже все поняла? Все-таки надо ей объяснить, а то она неизвестно что будет думать. А ведь все правильно, больно, но правильно, наверное. . .

Вот мы и дома.

— Мама!

Какая она усталая, наша мама.

— Явились, красавицы народные, голодные, холодные!

— Ой, мама! Ты стихами говоришь!

Хорошо, что у Люськи высохли слезы.

— Где же вы были так долго? Я уже собиралась вас искать.

— Мамочка, а мы. . .

Молчи, молчи, глупая!

— Люська! У тебя шнурок развязался.

— Иди ко мне, доченька! Глазки-то уже совсем спят. Вот так! Вот я тебя покачаю!

— А часы у папы так тикают, как па. . .

Ничего мама не поняла, и я, кажется, тоже. . .

— Люська!

— Тс! Говори тише! Она засыпает. А у тебя по арифметике опять тройка, я дневник смотрела. И с урока тебя выгнали. С каких это пор твой портфель носит Алеша?

Сейчас она уложит Люську, и придется ей все рассказать. Все-все: и про Лешку, и про Люську, а значит, и про отца тоже. У мамы станет грустное лицо, она подопрет щеку рукой и станет внимательно смотреть на меня. . . Потом скажет. . . Не знаю, что скажет. . . Странные все-таки у меня родители. Но ведь должна же быть любовь?!

Ведь «. . .чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

Мне бы так. . . Он, я и любовь. . . Ой, о чем это я думаю? Ну и что, ведь думаю же! Быть вместе всегда, всегда и спасать жизнь людям. Чтобы им никогда не было одиноко и все равно. Никогда, никогда. Никогда!

КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА

Рассказ

Когда-то давным-давно я жила в огромном старинном доме, в комнате, выходящей окнами на шумный проспект. Как я любила утром, едва открыв глаза, подойти к старенькому «Беккеру», приподнять крышку и взять наугад несколько аккордов. А потом руки сами выбирали единственную мелодию, созвучную моему утреннему настроению. Чаще всего это были Шопен, Бетховен и Лист. Почему-то по утрам у меня обычно бывало минорное настроение. Утолив таким образом жажду, я шла в ванную.

Мужа обыкновенно уже не было дома, он уходил очень рано, чтобы успеть на первый трамвай. Уходя, он каждый раз оставлял на столе записку с указанием температуры воздуха и направления и силы ветра и приписывал что-нибудь в таком роде: «Оденься потеплее — холодно», или: «Будь осторожна — гололед».

Мы переживали, как принято считать, первую критическую точку в своей семейной жизни. По крайней мере о себе я могу это сказать совершенно определенно.

Андрей работал над диссертацией, и свободного времени у него оставалось очень мало. Но раз в две недели мне все-таки удавалось, хотя и со скрипом с его стороны, вывозить его в театр, на концерт или в гости. Когда же он запретил мне и это, я почувствовала себя оскорбленной и решила начать новую жизнь.

«В конце концов, я не домработница и не его мать, — убеждала я себя, — а свободная и лишенная предрассудков женщина». И в первый же выходной я поехала с Костей Мальцевым на лыжном поезде в Зеленогорск. На обратном пути мы зашли в кафе и просидели там до закрытия. Вспомнив веселые школьные годы, немножко посплетничали об общих знакомых и разошлись в разные стороны — я не хотела, чтобы он меня провожал.

Домой я приехала около одиннадцати. Андрей, как всегда, сидел над своими уравнениями, от одного вида которых меня всегда клонило в сон. Я думала, он спросит, где я была, и специально приготовила соответствующий ответ, но он ни о чем не спросил, просто потянулся и сладко зевнул.

— Хочу чаю, — сказал он.

«Или он совсем свихнулся, или притворяется», — подумала я и принялась стаскивать свитер.

— Хочу чаю! — он прибавил звук.

Мне наконец удалось снять свитер, и я пошла к шкафу.

— Хочу чаю! — сказал он так громко, что я не выдержала и спросила:

— Ну и что?

— Хочу чаю и пойду его пить, — и он вышел.

Спать мне еще не хотелось. Я распласталась на тахте с книгой в руках, но, как ни старалась увлечь себя чтением, так и не смогла сдвинуться с первых трех строчек. Мне было до слез обидно, что он не обратил никакого внимания на мое отсутствие. «Столб, просто старый телеграфный столб! Девушка! Даже не поинтересоваться, где жена пропадала целый день! Нет, так дальше нельзя, пусть женится на своих уравнениях». Я встала и прошлась по комнате, как робот, от тахты до стола, от стола до тахты. Сверху доносились какие-то звуки, будто там что-то передвигали с места на место.

«Вот тебе и старый фонд», — подумала я, в эту минуту меня все раздражало.

Он вошел с чашкой крепкого чая в руках:

— Чтобы не заснуть, — и сел за стол.

Я опять водрузилась на тахту. Его лицо, освещенное светом настольной лампы, резко выделялось над столом. Боже мой, до чего оно сделалось сосредоточенным! Он забыл обо всем, обо всем, кроме своих вычислений. «Вот если бы я сейчас повесилась на люстре, он бы не обратил внимания». Я вздохнула и открыла книгу.

Возня наверху прекратилась.

«Сколько кубометров бетона вы сможете выделить?» — читала я.

Наверху чьи-то быстрые пальцы пробежали по клавишам рояля. Именно пробежали — неуловимо и невесомо. Незнакомая мелодия наполнила комнату, наверное какой-то блюз. Я отложила книгу.

— Новые жильцы въехали. Я помогал таскать вещи, — доложил Андрей, оторвавшись от формул.

Я молчала.

— Она неплохо играет, тебе не кажется?

Она играла превосходно. Но как он слушал! Меня он никогда в жизни так не слушал. . .

Он начисто забыл о своих расчетах, и брови то взлетали, то опускались над полупущенными веками. И когда все смолкло, он минуты две еще сидел в той же отрешенной позе, не шевелясь.

— Кто она? — спросила я как бы между прочим.

Он встал, подошел к окну и закурил.

— Великая пианистка в будущем, — проговорил он после глубокой затяжки.

«В будущем — значит, молодая, — подумала я. — Наверное, какой-нибудь урод в юбке».

Больше в этот вечер не было сказано ни слова.

Утром мне почему-то не захотелось подходить к пианино. Я дольше обычного пролежала в постели, вспоминая, как он слушал «будущую великую пианистку». И это было не самое приятное воспоминание.

Никакой записки не было на столе, и я приняла это как еще один недобрый знак.

Надо бы узнать, какая она. Я ревновала, но скорее бы откусила свой локоть, чем призналась в этом себе.

Выйдя на лестницу, я услышала, как наверху хлопнули дверь. Послышались легкие шаги. Очень молодая женщина с огромными голубыми глазами, внимательно скользнувшими по мне, обогнала меня у самого выхода.

«Так вот ты какая, будущая великая пианистка», — и настроение испортилось окончательно.

Весь день я старалась не думать ни о вчерашнем вечере, ни об утре, но, видимо, уж так устроено, и, чем больше я старалась, тем сильнее одолевали меня воспоминания, и отчаяние рисовало незавидную картину скорого будущего.

«Он меня разлюбил, разлюбил...» Я подошла к зеркалу. Осунувшееся, абсолютно чужое лицо вопросительно взглянуло на меня из зеркала. Глаза блестят как-то неуверенно и робко, уголки губ опущены, цвет лица неопределенный. Неужели это я? Бедная...

— Света!

Не хочу! Не хочу быть бедной! Нет, ни за что! Разлюбил? Еще посмотрим, кто кого разлюбил! Я улыбнулась своему отражению. Вот уже лучше. Я показала себе язык — совсем хорошо!

— Да Света же!

— Иду, иду!

Я оторвалась от зеркала и побежала к телефону.

Звонил Мальцев. «У него приятный голос», — отметила я про себя.

— У меня на завтра два билета на «Мещан». Так как поступим? Обратю в кассу?

— Зачем же обратю? — Я помедлила с ответом, хотя заранее была согласна на любой предложенный им план. — Значит, до завтра.

— Ты не шутишь?

— Какие же шутки? Я всю жизнь мечтала посмотреть «Мещан»!

— Ну так до завтра, Светлячок!

«У него очень приятный голос», — решила я и повесила трубку.

— Ой, девчонки, смотрите-ка, Светка-то ожила! А мы уж думали, ты до вечера не доживешь. Кто ж тебя в чувство привел? Муж?

Я засмеялась:

— Любовник!

— Светлана, не рано ли? — спросила Вера Петровна, мать двоих детей.

Вошел шеф, и все уткнулись в кульманы.

После работы я не пошла, как обычно, домой, а поехала с Ирой Белкиной по магазинам. Мне было безразлично, куда ехать, только бы не домой. Не помню, по каким магазинам мы ходили, то ли искали сапожки, то ли телевизор, — совсем не помню, потому что мысли мои были дома и мелодия вчерашнего блюза звучала в ушах.

В конце концов я распрощалась с Ирой и поехала домой.

В нашей комнате горел свет. Мне надо было собраться с духом, а я все никак не собиралась и, стоя на трамвайной остановке напротив дома, среди ожидающих трамвай, чувствовала, как утреннее настроение возвращается ко мне, и мысленно видела перед собой свое «бедное» лицо. Окно над нашим тоже было освещено, только не таким ярким светом; какие-то фигуры, словно призраки, мелькали в нем.

«Андрюша, Андрюша», — повторяла я про себя, и совсем не удивилась, когда увидела в окне его четкий профиль. Он постоял немного, потом задернул шторы.

Заставив себя вспомнить приятный голос Мальцева, я пересекла улицу и вошла в подъезд.

— Что с тобой? — спросил Андрей, едва я переступила порог. — На тебе лица нет.

— Ничего, я немного замерзла.

Боясь разреветься, я старалась не смотреть ему в глаза. Но он все-таки заглянул в мои.

— Ну-ка дай лоб, — сказал он, — этого еще не хватало! Да у тебя жар!

Он подхватил меня и понес на тахту. Я попыталась вырваться.

— Никакого жара у меня не было и нет. И оставь меня в покое!

— Да что случилось?

И он еще спрашивает! Я вырвалась, и рука, описав дугу, звонко хлопнула по его щеке.

Это вышло непроизвольно, ни я, ни тем более он ничего подобного не ожидали. Почувствовав неожиданное облегчение, я взглянула на него, медленно опустила на тахту.

Он в растерянности стоял посредине комнаты и не мигая смотрел в окно. Первым моим побуждением было кинуться ему на шею, отбросив всякие подозрения. И я уже готова была сделать это, как наверху забарабанили по клавишам, и я осталась на месте.

— Андрей, пожалуйста, прости меня, — выдавила я через силу. — На работе сплошная нервотрепка. . .

Он подошел к столу и включил настольную лампу.

— Ты могла бы позвонить, что задерживаешься на работе. Ведь у нас есть телефон, — сказал он тихо и сел за стол.

— Ты обедал?

— Я не хочу есть. Пожалуйста, разогрей себе сама.

Его голос звучал ровно. Казалось, и не было никакой пощечины. «Неужели я безразлична ему до такой степени? Почему у него нет для меня ни одного слова?» И огромные глаза утренней незнакомки встали передо мной вместо ответа.

Любовь эгоистична, говорят. Да, да! Тысячу раз — да! Хочу быть центром его «я», хочу быть красивой, самой красивой, единственной, чтобы он восхищался мной, не вслух, не на людях — каждой клеточкой своей. Хочу, чтобы голос его звучал при мне иначе! Хочу, хочу, хочу! Я — королева, он должен быть королем! Если нет — как больно. . . Равнодушие — смерть. Эгоистична любовь. И рот мой за семью печатями. Слова, слова. Разве можно вернуть любовь?

Как мне хотелось царить, но королевство мое рухнуло. Что толку спрашивать, что-то выяснять, если он действительно

думает о ней? Он мне никогда не скажет об этом. Если нет ее, я все равно не поверю.

Больше всего мучают тех, кого любят? Нет, больше всего мучается тот, кто любит.

Мне тоже не хотелось есть, и я решила дошить наконец свои брюки. Я раскрыла машинку, достала сметанные половинки брюк и, заправляя нитку, подумала о завтрашних «Мещанах». Этот спектакль я видела трижды. Последний раз мы смотрели его с Андреем. Как было хорошо тогда! Каким сплошным чудом казалась мне жизнь. . .

Завонил телефон. Андрей вышел.

— Света, тебя, — слышалось из коридора.

Звонил Мальцев.

— Светик, так мы завтра действительно идем? — спросил он недоверчиво.

— Послушай, если ты передумал, так и скажи!

— Нет, просто я думал. . . — начал он.

— Ну что, что ты думал?

— У тебя плохое настроение? — Голос звучал нежно и просительно.

Мне стало его жаль.

— Костя, я так тебе благодарна, мне страшно хочется посмотреть этот спектакль. Ты просто прелесть! — говорила я громко, чтобы слышал Андрей.

— Что с тобой? — неслось из трубки, но я продолжала, не обращая внимания: — Вот и хорошо, мы завтра встретимся и все обсудим! Я ждала твоего звонка. До завтра!

— До завтра, — слышалось в ответ.

Положив трубку, я с видом победителя вошла в комнату и села за машинку.

— Кто это? — спросил Андрей.

— Костя Мальцев, — ответила я как можно спокойнее.

— Я так и подумал, он никогда умом не блистал, — сказал он непонятно зачем.

— Каждому свое.

— Дураком его, конечно, не назовешь, — продолжал он в раздумье, — но и умным тоже, к сожалению.

Его тон начал меня злить.

— Послушай, умник, ведь ты должен радоваться: не будь дураков, не было бы и умников вроде тебя, — и я застучала машинкой.

Он что-то сказал в ответ, но я не слышала.

Через полчаса все швы были прошиты, и я принялась их обметывать.

— Света, — позвал Андрей.

Я перестала шить.

— Пожалуйста, не стучи.

Я прислушалась.

— Это Лист. Я играла на прошлой неделе. Помнишь?

Он молчал. Он не слышал меня, он слушал ее.

Боже мой, если это будет продолжаться каждый вечер, я не выдержу. Я отложила шитье и пошла на кухню.

Когда я шла по длинному и узкому, как чулок, коридору, до меня донеслось из кухни:

— А наш интеллигент пошел и сделал...



Я замедлила шаги: говорили явно о муже.

— Что ж она, сама пришла? — нетерпеливо спросила Анна Казимировна, старушка из маленькой угловой комнаты.

— Да нет, что вы, — решительно продолжала Седова, славящаяся по всему дому умением распускать сплетни, — она только утром показывается, и то бегом, чтобы никто не заметил. Но я-то уж несколько раз ее видела. Красавица, Анна Казимировна, глазищи — по ложке, по ложке! Это точно вам говорю. Так что естественно, что. . .

— Естественно? Стыда у них нет! — прошамкала старушка. — Ну вот, а теперь под пресс и на холод.

— Пресса-то нет.

— Как нет, а это что? Так что ж наш-то интеллигент? — Анне Казимировне не терпелось вернуть разговор на прежние рельсы.

— Девчонка позвонила и говорит: помогите, а то у папы не получается. Интеллигент-то вмиг и поставил. Тоже профессор, звонка поставить не может.

Никита Седов вышел из комнаты, и я вошла в кухню. Разговор сразу же прекратился. Я достала из стола большую чашку и зачем-то принялась ее старательно мыть под краном.

— Светлана, — Седова повернула ко мне остроносое лицо, — вот бы и нам поставить такой звонок.

— Какой?

— Да как твой Андрей поставил профессору.

— Да? — спросила я так, будто была в курсе дела.

— Недорогой, и звук такой музыкальный.

— Музыкальный, — машинально повторила я, набрала полную чашку воды, улыбнулась Седовой и пошла из кухни.

«Все понятно, все ясно», — повторяла я про себя и расплескала почти всю воду, пока шла до двери.

— Про какой это звонок говорит Седова? — спросила я, едва переступив порог.

Он не ответил.

О, какая музыка лилась сверху! И в Филармонии не всегда услышишь такое исполнение «Фонтанов виллы д'Эсте». Я замерла у двери, но только на одно мгновение, потому что тотчас представила перед собой огромные голубые глаза. «Он думает о ее глазах», — и я громко повторила вопрос.

— Звонок? А, звонок. . . Зина попросила, девочка. — И он указал наверх. — Ты представляешь, такая интересная девочка. . .

— Представляю, — прервала я его, — всегда интересно то, чем интересуешься.

Все рухнуло. Все. Надо ставить точку. Состязаться с ней не имеет смысла. Да есть ли вообще в чем-либо какой-то смысл, если все рушится в одну минуту? Пора, пора, и, чем скорее, тем лучше. В конце концов, каждый может ошибиться, утешала я себя, глотая слезы.

— Нам надо поговорить, Андрей.

— Ты думаешь? — спросил он медленно.

— Уверена.

— Ну, давай поговорим, — он достал сигарету, помял ее в пальцах и положил обратно.

— О чем будем говорить?

— О нас, — я подошла к окну и отдернула штору.

— Многообещающее начало. Как в романах, — он развалился в кресле, закинув ногу на ногу. — Так, я весь внимание.

Его насмешливый, шутовской тон в то время, как у меня по щекам текли слезы, ужаснул меня.

— Перестань паясничать, стань наконец серьезным!

Он облокотился на стол.

— Нам надо разойтись, — выпалила я.

Он не отвечал.

— Нам надо разойтись, — повторила я твердо.

— Ты это серьезно? — спросил он наконец.

В комнате запахло дымом — значит, закурил. «Хочет показать, что волнуется, а сам рад до безумия», — стонало внутри меня.

Все так же глядя в окно, я ответила:

— Да.

— Так, — он встал из-за стола, — так. Значит, ты серьезно. Значит, у тебя есть причина. Я думал, это все несерьезно. . .

— Что несерьезно?

— Ваша дружба. . .

— Какая дружба?

— Светлана, ты прекрасно меня понимаешь, хоть теперь не лги. Ах ты, Мальцев, Мальцев, — повторил он, засунув руки в карманы.

«Так вот оно что. Ему мало победы, он хочет еще, чтобы я была во всем виновата. Чудовищно!»

— Ну ладно, хватит сантиментов, — он подошел к вешалке, — я тебя провожу, и желаю счастья. Что же ты стоишь,



или ты думаешь, я буду умолять тебя остаться? Не бойся, не буду.

Он подошел ко мне вплотную, приподнял лицо за подбородок и безжалостно заглянул в глаза.

— Ты плачешь? Тебе жаль меня? Как это великодушно с твоей стороны. Благодарю! — Он церемонно поклонился. — Но не стоит, не стоит.

В его голосе звенела сталь.

Он напялил на меня шубу.

— Пошли.

Мы вышли из комнаты.

— Куда это вы на ночь глядя? — поинтересовалась Седова.

Мы промолчали.

На лестнице было темно.

— Как противно жить с нелюбимым, — сказал Андрей. — Я слышал, он собирается покупать кооператив, давно на очереди.

— Не надо меня провожать. Иди обратно. И желаю счастья.

— Спасибо. Через месяц у меня защита, можешь прийти, — сказал он тихо.

Мы молча подошли к остановке.

— Иди, Андрей, замерзнешь, — он был без шапки, валил густой снег.

— Ты теперь за меня не бойся, — он засмеялся, — вот как с вещами. . .

Подошел трамвай.

— Поцелуй меня, — неожиданно попросил он охрипшим голосом.

Я чмокнула его в холодную щеку и вскочила в трамвай.

Он вбежал следом. Двери захлопнулись. Трамвай дернуло, и я очутилась в его объятьях.

— Прости меня, прости, — повторял он; и его губы почти касались моей щеки, — пойдём домой. Пойдем и все решим завтра.

Господи, ну почему у меня такой паршивый характер, ну разве он виноват в том, что у нее красивые глаза?

«Виноват, виноват», — нашептывал другой голос, враждебный, злой и непримиримый.

Конечно, этот вариант с выходом на улицу просто какой-то цирк, но вернуться назад и опять потерять его под звуки музыки было выше моих сил.

Я начала высвобождаться. Безнадежно.

— Послушай, я лягу на раскладушке, но давай отложим все до завтрашнего утра. Ну давай не будем делать глупостей сегодня.

О, как велико искушение — побыть с ним под одной крышей в последний раз.

— Я ни о чем тебя не прошу больше, — говорил он, не обращая внимания на любопытные взгляды, — мы чужие, и уже давно.

— Да.

Он разжал руки, но я не отодвинулась, и он опять сцепил их.

— Мы выйдем сейчас.

— Да, — ответила я чуть слышно.

Мы вышли. Обратного трамвая не было видно, и мы пошли

пешком. Я боялась, что он заговорит снова, но он молчал, и я начала бояться, что он вообще больше со мной не заговорит.

Молча вошли мы в подъезд.

Разве думала я, до невозможности счастливая, первый раз переступая порог этого дома, что счастье мое будет так эфемерно и непрочно.

— Шляются, полуночники, — заворчала Седова, выглядывая из своей комнаты. — Что, нагулялись?

— Нагулялись, — ответил Андрей. — Спокойной ночи.

— Ну-ну, — и Седова закрыла дверь.

«И Седову больше не увижу», — подумалось мне с неожиданной грустью.

— Ну вот, — Андрей снял пальто. — Ты ложись тут, а я у окна.

И, не зажигая света, мы молча улеглись.

Но спать я не могла. Андрей тоже не спал. «Наверное, жалеет, что вернул меня», — подумала я, и мне стало себя так жалко, что я уткнулась в подушку, не в силах скрыть свое горе.

Так мы промучились до утра и встали раньше будильника.

Андрей поднялся, как всегда, первым и, стараясь не смотреть в мою сторону, достал чемодан и начал быстро бросать в него свои вещи.

— Зачем? — спросила я.

— Так будет лучше. О, пожалуйста, не волнуйся, я где-нибудь устроюсь. А тебе не следует отсюда никуда уезжать. Пока можете пожить и здесь.

— Ты просто сумасшедший. Ну где еще ты собираешься устраиваться? Ты сам сказал: не надо горячиться, надо все решить трезво. Ну так где же твоя трезвость?

— Что ты предлагаешь? — Он наконец перестал носиться по комнате, захлопнул чемодан и сел на наш единственный стул.

— Я пока поживу у родителей, а ты здесь. А потом мы разменяем эту комнату на две маленькие. Вот и все.

Он молчал.

— Ты опоздаешь на первый трамвай.

Он встал молча, взял свой чемодан и быстро пошел к двери, даже не взглянув в мою сторону.

Вот и все. Я прошлась по комнате, подошла к стулу, на котором он сидел всего минуту назад, и опустила на него, но тут же встала и, подбежав к окну, отдернула шторы.

Трамвай с уже закрытыми дверями стоял на остановке. Потом он встрепенулся и медленно покатил по рельсам. Остановка была пуста.

А снег все падал...

Что я наделала, ведь он никогда больше не вернется сюда.

И только в эту минуту я вдруг поняла всю безнадежность своего положения. Горло перехватило, и отчаяние овладело мной...

Я опаздывала уже на два часа. Совсем не помню, как прошел этот несчастный день.

«Милый мой, милый, ведь вот что случилось, опустела без тебя земля...»

Домой я отправилась пешком и протопала целых два часа. Я замерзла, устала, зато мои щеки порозовели и я перестала чувствовать себя погибшей.

В нашей комнате горела настольная лампа. «Утром забыла выключить, только и всего», — но сердце бешено заколотилось, и я прижала руку к груди, будто была в состоянии вернуть ему покой.

Я взлетела по лестнице, ворвалась в квартиру и остановилась в дверях.

Мелодия блюза, того самого блюза, первого, с которого все началось, встретила меня на пороге.

Как во сне приблизилась я к своей двери, она была приоткрыта, и я заглянула в комнату.

Андрей сидел за столом, обхватив руками голову и не мигая смотрел перед собой. Девочка лет четырнадцати, худенькая, с двумя толстенькими короткими косичками, склонилась над пианино, ее длинные музыкальные пальцы легко и смело бегали по клавишам, извлекая удивительные звуки.

Я вошла и прислонилась к стене.

«Я пришла... Я тебя люблю...» Мы смотрели в глаза друг другу, а девочка играла блюз...

Когда-то, давным-давно, я жила в старинном доме, в комнате с окнами, выходящими на шумный проспект. Сейчас там совсем другие люди. Но этот дом мне по-прежнему дорог, потому что там мы пережили первую критическую точку своей семейной жизни. Говорят, есть еще и вторая, и третья...

Но до них нам пока далеко.

ВИКТОР МЕНУХОВ

* * *

Светит солнышко. . .
Дерутся
На лужайке петухи.
Рядом курицы пасутся,
Равнодушны и тихи.
Зря деретесь,
Забяки!
Курам, видно, все равно,
Кто сегодня после драки
Поведет их
На гумно.

* * *

О чем задумалась, береза,
У всей деревни на виду? . .
Мальчишки, радуясь прогнозам,
Игру затеяли на льду,
И ветер, двигаясь по кругу,
Взрывает снег на вираже. . .
А ты откройся мне, как другу,
И станет легче
На душе.

ЮРИЙ АФАНАСЬЕВ

КАСКЕР, ИЛИ ШАГИ ПО ПУСТЫНЕ

Рассказ

Каскер — казахское название степного волка.

Обычно, когда не измучены зноем, бескормицей, эти волки свирепы и опасны, настоящие хозяева Бетпак-Далы. Но каскер, который замер сейчас метрах в пятидесяти от автомашины, старый и седой, с исхудалой мордой, уныло вытянутой в нашу сторону, явно не из числа грозных. Ко всему — плюс пятьдесят по Цельсию и солончаки.

На буром фоне разлома каскер выглядит белой вороной. Природа не пожелала защищать его от врагов. И он принужден делать это сам.

Белый волк медленно бежит к чернеющим невдалеке скалам. Там место не родное, но спасительное для него. Место, которое уберезет этого безобидного хищника от нас, молодых и безжалостных геологов-изыскателей. Ведь мы ж охотники!

Две пары кулаков яростно стучат по кабине:

— Генка, жми!

Генка Вороной тоже охотник. И тоже без удержу. Хотя ему тридцать один.

Он чуть не переворачивает автомобиль, чуть не разбивает задний мост о попавший на пути коренник. Гонит машину, не выбирая дороги, выжимает из двигателя все пределы. Мотор испуганно ревет, мы беснуемся в кузове: у нас нет ружья!

Расстояние между машиной и волком все сокращается, но — вот незадача! — впереди полоса щебня и обломков породы, дальше — скалы, и каскер уже среди них.

Грузовик, скрежеща тормозами, резко останавливается.

Генка высовывается из кабины. Облизывает спекшиеся от жары и погони губы, смотрит на меня.

Он уже потерял надежду. Ему тридцать один. А мне шестнадцать.

Мы в изнеможении валимся на дно кузова.

Над передним бортом светочем пламенует обгоревший на солнце нос Зины Реентовича, инженера-геолога. За время нашей азартной гонки он не проронил ни слова. Ни за, ни против. Его трудно взбудоражить такими вещами. Но сейчас Зина смотрит на всех столь значительно и ехидно, как будто он знает обо всем куда больше нас. Зиновий Реентович мудр как змий, это проверено практикой.

Мы вместе ходим в маршруты. Он за шефа, я за поисковика и радиометриста по совместительству. Он и я из одного города, его дом в трех автобусных остановках от моего. Вдвоем мы таскаем образцы, натираем мозоли, потеем и изнываем от жажды. Но мы не говорим друг другу о воде. Зина даже не вздыхает по ней. Зина — стоик, почти философ, а я, по его твердому убеждению, лодырь. Он мне этого никогда не говорил, но в конце сезона скажет, я уверен.

По правилам техники безопасности мы обязаны иметь при себе по фляжке с водой, но Зина отказывается от нее, так сказать, по этическим соображениям, ну а я — в силу врожденной неприязни к различного рода тяжестям. Будь моя воля, я бы и радиометр в лагере оставлял, — зачем он нужен?! Все же говорят, что наш район в перспективе дохлый. Но, вообще-то, есть служебный долг и начальник партии.

А если серьезно, то мы — я и Зина — выпиваем за завтраком по литру чая и потому спокойно выдерживаем жару до двенадцати часов.

Но когда уже два часа и во рту ни росинки, когда воздух вокруг тебя раскален до пятидесяти градусов, тогда... Зина — философ, а я — лодырь.

Сегодня черный день — день длинных маршрутов по пересеченной местности. Двадцать километров кустарника, скал, распадин. Или двадцать тысяч шагов, Зининых шагов. Это он недавно научил меня переводить метражи наших маршрутов в шаги.

Шаг, по его словам, ближе путнику и человечнее.

— Знаешь ли ты цену шагу своему, о ты, человеке?! — Зина стоит на краю оврага, опершись на длинную ручку молотка, меж тем как я, пыхтя и потея, цепляясь за камни и кусты, взбираюсь по почти отвесному склону. Душа Зинина, по-видимому, «страданиями человеческими уязвлена стала», вот он и расчувствовался.

— Будет ли он памятен тебе каплей пота соленого, сухой мозолью или мыслью, выплывшей из дебрей памяти, неизвестно каких?!

Отдуваясь, я взираю снизу благоговейно на новоявленного пророка. К сим нагорным проповедям я уже привык и смотрю на них как на перекур для человека иного склада и темперамента.

— От любимой тебя отделяют километры пустынь, степей, гор, а сколько шагов? Сколько пыли осядет на твоих плечах на этом пути? Сколько глотков воды из придорожных источников будет тобою выпито? А мыслей, окрыляющих и горьких, ласкающих и наводящих уныние, сколько мелькнет в твоём воображении? Знай: шаг минутен, как любое движение жизни, и, как оно, бесценен!

О, эти блаженные минуты триумфа, блеска славы, когда восторженные толпы падают ниц, замороженные твоим красноречием, когда нет ни испепеляющего солнца, ни жалких оврагов, ни пигмея-радиометриста!

..На пигмея я обиделся, и оттуда, снизу из оврага, позволил себе не согласиться со всем вышеизложенным.

Зина рассердился. Обозвал меня несмышленьшем и посоветовал учиться ходить пешком по пустыне и вообще по земле.

Несколько дней мы не разговаривали. Хотя после Зининой речи я стал ощущать вдруг свои шаги. И они волновали меня. Как будто в ногу со мной через пустыню шло нечто очень мне нужное и важное.

Зина же казался мне личностью загадочной.

Я знал, что он старше меня на девять лет и три года как окончил институт. Знал, что, проработав три года на Алтае в крупной поисковой партии, он перевелся сюда, в Бетпак-Далу, в маленькую партию из пятнадцати человек, в район в геологическом плане порожний, пустой. Еще мне было известно, что Зина женатик, причем не просто женатик, а с трехлетним ребенком. И ко всему женатик бывший, разведенный. Последнее поднимало Зину в моих глазах на недостижимую высоту мужской зрелости.

Но ему она (зрелость), кажется, была в тягость, потому что однажды, лежа под замшелой скалой, Зина выдал мне следующее:

— Скверно, друг Кеша (он всегда называл всех Кешами, — мне это не нравилось) к двадцати пяти годам прожить все или почти все из того, что большинству людей отводится

на целую жизнь. Мы вот торопимся жить, а не подозреваем, что мудр прежде всего тот, кто не спешит обгонять свои годы, не спешит, идя по земле. . .

Он вздохнул. Он смотрел куда-то в себя, в свое прошлое. Но на глаза ему попала моя распростертая на земле фигура, и он спросил:

— Зачем ты приехал сюда, Кеша?

Я еще переваривал его предыдущую тираду, растерялся.

— Ну, жизнь чтобы увидеть, людей. . .

— В пустыне?! В пустом месте жизнь и людей?! — Зина насмешливо смотрел на меня.

Действительно. Почему я раньше не задумывался об этом?! Пустыня не для жизни, не для людей.

Но тогда зачем я явился сюда? Что побудило меня уехать из дому? Дурость?! Так считает Зина. Он говорит, что лучше бы я работал в городе и набирался ума-разума.

— Что ты тут видишь? Глазеешь на камни и фауну? — Зина уже кричал на меня.

Хочу возразить, оправдать себя, да где там! У Зины очередной приступ красноречия.

— Такие мальчишки, как ты, бросают все: папу, маму, кровать. И очерта голову мчатся в пустыню. А зачем? Что ты знаешь, что ты отшагал по жизни, познал ли ты себя, чтобы испытывать потребность в сей пустоте?! Тебе же не с чем ходить в пустыню. Здесь смотрят в себя, а у вас, мальчик, внутри младенческая чистота. И пустыня вам вовсе без надобности. . .

Мы опять молчали несколько дней. Я обиделся тогда на Зину, но задумался. Ходил в маршруты, прислушиваясь к каждому своему шагу и тому, что было внутри меня.

Внутри меня не было ничего особенного. Мои желания в большинстве состояли из «не хочу так. . .».

Моя мама хочет, чтобы я стал инженером. Видимо, потому, что мой папа учитель. Мой папа хочет того, чего хочет моя мама. Опыту и здравомыслию мамы папа доверяет полностью. Я не хочу стать инженером, потому что этого хотят мои родители.

Мой дед мечтает увидеть меня лектором. Это уже интереснее: я не знаю, где учат лекторов, в принципе хочу быть лектором. Потому, что этого хочет мой дед.

Мои родители не хотели, чтобы на каникулах я работал в поисковой партии. И потому, что они этого не хотели, вероятно, главная причина того, что я здесь, в Бетпак-Дале.

Своего во мне оказалось очень мало. Настольный теннис, куча газетной информации, девочка, с которой мы целовались за неделю до отъезда сюда, и две любимые книжки: сборник рассказов Паустовского и растрепанный том «Американская новелла XX века».

Еще там была полузабытая уже мечта о море. Лет тринадцати, начитавшись книг о морских путешествиях, о загадочной, неузнанной и потому манящей жизни, я со слезами на глазах упрашивал родителей отдать меня в Нахимовское училище. Я мечтал стать моряком. Мальчишка, выросший в сухопутном городке, в глубине континента, мечтал о скитаниях в далеких морях... но в море ли он нуждался?

Скоро мне надоело быть наедине с собой. Тогда я стал внимательно смотреть вокруг. И я обнаружил, что пустыня вовсе не мертва. В ней жила своя жизнь со своим ритмом и значением. А двадцатипятилетний мудрец не замечал или не хотел замечать ее.

Как скоро высыхает на солнце колючая трава, как быстро покрываются лишайниками каменистые уступы разломов? Зина и я этого не знаем. Мы чужие здесь.

Но это знает старый Джетыбек, чабан, стоящий со своей отарой, сыновьями, снохами и внуками вблизи нашего лагеря. Он уже не пасет овец, он очень стар, за него это делают его дети. Он даже не знает своих лет.

— Сколько лет нашей Голодной Степи? — отвечает аксакал вопросом на мой вопрос. Делает паузу и добавляет с усмешкой: — Мы родились с нею в один год. Вместе выросли и возмужали. Вместе состарились. Но она еще крепкая старуха, моя Бетпак-Дала, она еще рождает траву для моих овец, да и я, — Джетыбек погладил себя по белой редкой бороде и заулыбался черными огонечками раскосых глаз, — еще в силе... Вон мой младший, Болат, ему восемнадцать...

В желтом пространстве неба и пустыни скачет на коне юноша-казах. Горячий воздух хлещет его по лицу, развеивает черные пряди волос. Под бурой шерстью молодого жеребчика дрожат разгоряченные мускулы. Лошадь тяжело дышит: наездник то гонит ее вперед, то резко натягивает удила, заставляя присесть на задние ноги, развернуться...

Рядом со скачущим конем мечется остромордая борзая. Забавы молодого хозяина ей в радость. Вот она слышит гортанный, по-мальчишески визгливый его выкрик: «Акбулюк, Акбу-

«Акбулюк, Акбулюк, кях, кях!» — и стремглав бросается за тушканчиком, вынырнувшим из травы и напугавшим коня.

Кажется, вот-вот и она вцепится клыками в этот дразнящий ее помпон на хвосте зверька, но, как всегда вовремя, тушканчик успевает спрятаться в норе. Собака рычит раздосадованно, бьет передними лапами по земле. Юноша вновь зовет ее, и, помахивая хвостом, она убегает продолжать игру.

Старый Джетыбек улыбается, глядя на них. Они ему нравятся. Они — молодой сын, горячий конь, лопухий Акбулюк, юркий тушкан, колючая трава и древняя Бетпак-Дала. Он способен их любить и не любить только вместе, в совокупности, и никогда отдельно. К ним он относит и себя, и восхищается Бетпак-Далой, когда рад, и недоволен, когда кому-нибудь из них двоих плохо.

Он держит в руке маленькую пиалу с кумысом — в жару старик всегда пьет этот пенистый напиток пастухов — и говорит:

— Весною нам было хорошо, совсем хорошо, сейчас хуже...

Нам — это значит Джетыбеку, его семье и Бетпак-Дале.

Потом я как-то спросил Зину, почему так: Джетыбек и Бетпак-Дала как бы вместе идут, а я вот отдельно жожу... И нет у меня своей Бетпак.

Зина долго смотрел на меня — вопрос его озадачил — и наконец ответил непонятно, что так надо!

Жарко! Очень! Мы едем уже полчаса, а Вороной только что просигналил трижды, что должно означать: до лагеря тридцать километров...

Черт знает, что такое! Кажется, попади сейчас на дороге тот злополучный каскер, глотку бы ему перегрыз, выжал всю кровь из его дряхлеющих вен... И пить хочется еще больше оттого, что знаешь, что до лагеря всего тридцать, что он где-то там, за черной горой, которую мудрый Джетыбек зовет Кара-Тюбе, у гранитных скал, из расщелин которых стекает вода.

Лагерь! Вода! Высокие слова отдыха и утоленных желаний...

Тяжелые, кованые гвоздями ботинки расшнурованы и заброшены далеко-далеко под раскладушку. Туда же летит сумка с образцами. С отвращением, но с большей аккуратностью складываешь в угол палатки радиометр с трубой. Синяя энце-

фалитка закинута на крышу жилища... Что еще нужно для полного счастья? Ну, литр компота, ну, миску поварихиных чудес, и ладно. И ладно! Ведь согласен, согласен. Даже если песок в волосах и режет глаза от солнца, согласен, потому что знаешь — есть где обмыть себя и укрыться от зноя. И счастлив этим ощущением.

Нет, Зина не прав. За три месяца здесь я научился ходить пешком, пусть не по земле, но по пустыне. И я не верю, что она мертва!.. Разве может мертвая земля давать импульс чужой жизни, заставляя молодого меня жить иными чувствами?!

Вороной сигналит два раза: еще двадцать километров пылить по дороге. Я верю Вороному — на своем газике он объездил эту равнину вдоль и поперек, Киик, Агадырь, Каражал, Моинты знакомы ему, как четыре колеса его всепролазного грузовика.

Сейчас Генка Вороной занят дорогой, скоростью под пятьдесят километров и мыслями о своей жене Лидке. Она уже ждет его в отдельном, их двоих Вороных, балке, чтобы накормить и утолить жажду мужа. Все мужчины в лагере завидуют этому обладателю отдельных обедов и любовных утех с горячей Лидкой. Я тоже мужчина, я тоже завидую... А Вороной знай себе рулит, знай мотает во все стороны пыльным стометровым хвостом своего коня. Но черные глаза его налиты кровью и ноздри подергиваются. Я знаю: Вороной голоден по борщам и Лидке. Также я знаю, что Вороной хочет второго ребенка.

Но я не знал еще, что через семь лет не будет прежнего Генки Вороного — огневого, бесшабашного, верткого, задорного черноволосого остряка, любимого женой и друзьями. Через семь лет я встречу тридцативосьмилетнего Генку и не узнаю его.

Лидки не станет, она погибнет дурацкой, глупейшей в наш век смертью, а он — с потухшими надолго глазами, полуседой и плешивый, с какими-то неряшливыми движениями рук, с двумя детьми, не знающий, как собраться с силами и начать новую жизнь.

И он не узнает меня через семь лет. Как не узнал бы тот, шестнадцатилетний, нынешнего, двадцатитрехлетнего меня. Тот мальчишка, азартный и строптивый, безжалостно преследующий затравленного каскера, растворился в этом, сегодняш-

нем, который теперь при встрече пощадил бы белого волка. Тогда я научился ходить в пустыне, но судьба меня больше не забрасывала в Бетпак-Далу. Тот я лишь подозревал, что на земле есть нечто не похожее на пустыни, нынешний я уже убедился в этом.

Долгий, ликующий гудок: осталось десять километров, а там... Там — протяни руку! — и твое все.

Великолепный, до спазм удушья бесконечный глоток холодной воды. (Слава Алевтине Михайловне! Нашей любимице, кудеснице, сплетнице, старой-вешалке-молодушке-лет-под-пятьдесят, слава! Это ее забота.)

Раскладушка — мечта! Самая лучшая раскладушка во всей Бетпак-Дале, с твоим раскинутым во всю ее длину и ширь телом...

Да, ты сейчас тот позавчерашний, вчерашний, который привычно думает о том, чтобы утолить жажду. Не родниковой водой, нет, чем придется. Но ты и не тот!

Ты тот, который через несколько минут скатится с кузова машины перед горсткой скал у Кара-Тюбе, где твой лагерь — почти родной, особенно когда родное почему-то оставлено и по-мальчишески забыто, — и будет думать, что вот сейчас он наконец-то волен, волен, хоть в небо лети! Волен ото всего: зноя, пустыни, усталости, от всех этих «так нужно» и «так принято», волен пойти, куда хочет, и делать, что хочет, что может. Хотите любой шестнадцатилетний, но... И через пару минут он пойдет мыть ноги. И делать все, что нужно и привычно.

АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ

* * *

Мы не пара...
Что такое пара?
Пара туфель
Или пара звезд?
Пара лодок
у причала в парке,
Пара
Закружившихся берез?

А не пара —
Это то,
Что люди
Не соединяют никогда.
Ну, представьте,
Как смотреться будут
Светлячок
И синяя звезда.

Только я о людях,
Не о звездах,
Ну а людям
Долго ль до беды...
О, как стремительно
И просто
Грехопадение звезды!

* * *

Шлепает дождик,
Сирень в слезах,
А я — словно город
Окошками настезь.
Сердце рисует
Твои глаза
Через ненастье,
Через ненастье.

Кончился дождь,
Улеглась гроза.
Солнце с рябины
Каплями льется.
А сердце рисует
Твои глаза
И вместе с твоими
Глазами смеется.

* * *

Разговоры льются
В тар и в тарары.
И слова толкутся,
Словно комары.

Кто-то о ботинках,
Кто-то о тортах,
Кто-то о бутылках,
Кто-то о цветах.

Говори потише,
Мне лишь одному.
Я тебя услышу,
Я тебя пойму.

АНАТОЛИЙ БЕЛИНСКИЙ

ПОВЕСТЬ НЕ О ВОЙНЕ

«Тыл — сторона, противоположная фронту».
(*Строевой устав пехоты РККА, 1938 г.*)

В нашем учебном полку офицеры менялись часто. Хотя до фронта была тысяча километров, они выбывали из списков части, как на передовой. Для фронтовика служба у нас считалась вроде отпуска: отдохнул — уступи место товарищу. А мы, молодые безусые ребята, недавно призванные в армию, с нескрываемым уважением смотрели на этих людей. Почти у каждого из них на груди были нашивки за ранения, желтые или красные.

Командир нашей роты лейтенант Гирия носил красную нашивку — знак легкого ранения. Высокий, румяный, с густыми черными бровями, лейтенант любил делиться с нами своим опытом. Прохаживаясь перед строем роты, он неторопливо, с остановками, говорил нам:

— Некоторые курсанты думают. Коль скоро они несут ствол миномета. То карабин можно оставить в пирамиде. Это грубейшая ошибка. Грубейшая. За которую я буду взыскивать.

Мы признавали эту ошибку и потому молчали.

— Карабин — личное оружие курсанта, — продолжал Гирия. — У меня личное оружие — пистолет. Он всегда при мне. Я на фронте ходил не только с пистолетом. Я всегда носил ручной пулемет. И не жаловался, что тяжело.

Несмотря на малый срок службы в армии, я уже понимал, что опыт Гирия пригодится не каждому. Особенно непонятно было, зачем лейтенант таскал на фронте тяжелый пулемет, когда можно было вооружиться автоматом. Скорей всего, рассказывая об этом, Гирия, в воспитательных целях, далеко уклонялся от истины.

Наш ротный был требовательным командиром. Он хотел, чтобы мы имели отличную выправку. Я думаю, он, наверно,

мечтал, чтобы все мы были такого же высокого роста, как он, и чтобы у каждого из нас были красивые черные брови. Но мы, к сожалению, были разные, большей частью худые и низкорослые. В семнадцать с небольшим лет нам еще предстояло расти и становиться красивыми.

Приведя роту на учебное поле, Гиря выбирал место повыше и с этого возвышения орлиным взором контролировал, как идут занятия. От его взора не могли укрыться малейшие недостатки. Человек энергичный, Гиря требовал, чтобы никто не ходил, не сидел, не лежал зря, а чтобы все ходили, сидели, лежали со смыслом. Если ходишь — отработай строевой шаг. Если сидишь, то читай устав или наставление. Если же лежишь, то чтобы в руках твоих был карабин. Так требовал Гиря.

А вот командир взвода у нас был нетребовательный. Лейтенант Лукашов был человек сугубо гражданский — невзрачный, смуглый, с черными цыганскими глазами навывкат. Сам он, по-моему, считал себя чистокровным цыганом, хотя эту родословную портил курносый нос. Наград и нашивок он не носил, но курсантам было известно, что он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, мерз в болотах подо Мгой, откуда привез кашель и нездоровый румянец.

Лукашов не был службистом, служба находилась у него на втором плане. Он постоянно был занят какими-то мыслями, которыми не делился ни с кем. Ходил Лукашов в потрепанной шинели. Всезнающие курсанты поговаривали, что подобная шинель свидетельствовала о его не очень успешной игре в преферанс.

Однажды Лукашов был дежурным по полку, а я при нем — досылным. В это время передали срочную телефонограмму: к нам приезжает командующий войсками, проверить боевую подготовку. После такой телефонограммы в штабе всполошились, забегали. Появился начальник штаба майор Мойзес, высокий, тощий, похожий на Дон-Кихота. В зубах у него была, как всегда, причудливо изогнутая трубка. Увидев, что дежурным по части является не кто иной, как Лукашов, майор поморщился.

— Лейтенант Лукашов, у вас что, нет лучшей шинели?

— Шинели? — низким бархатным баритоном переспросил Лукашов и тут же вежливо ответил: — Нет, другой шинели у меня нет.

Голос у нашего Лукашова был удивительной красоты, в особенности когда лейтенант брал в руки гитару и, задумав-

шись о чем-то своем, начинал петь. В негромких душевных словах его песен, в доверительных интонациях было нечто берущее в плен сердца слушателей. И это случалось не только с солдатами. Я был свидетелем, как однажды в кругу офицеров зашла речь об актрисе местного театра, за которой настойчиво, но безуспешно ухаживал лейтенант Гирия. Эта безуспешность несколько выводила из равновесия Гирию, он и возмущался и восхищался одновременно добродетелью актрисы. Слушая его сетования, Лукашов лишь слабо улыбался, а потом вдруг предложил Гире:

— Владимир Аполлонович, хотите спор на пару бутылок вина? Вы знакомите меня с ней, даете два дня сроку — и она моя?

— Ваша?..

В голосе у лейтенанта Гири было столько удивления и даже пренебрежения, что я подумал, глядя на Лукашова: куда ему, если даже у Гири, с его черными бровями, ничего не вышло!..

Спор есть спор, и через несколько дней Гирия со сдержанной досадой объяснял офицерам:

— Лукашов голосом берет. Все дело в голосе. Сидит, молчит. А потом берет гитару, запел — всё! Она и растаяла... Такую женщину — и чем взял?!

Я тогда впервые понял, что красивая внешность мужчины не всегда главное, когда речь идет о вкусах женщин, и это несколько утешило меня. Но много ли я понимал тогда в женщинах?..

На майора Мойзеса бархатный голос Лукашова не производил такого магического действия, как на актрису. Майор вынул трубку изо рта и проворчал:

— Черт знает что! В такой шинели нельзя показываться на глаза командующему. — И тут же отдал распоряжение начальнику строевой части: — Сменить дежурного!

Но сменить дежурного среди бела дня, когда полк на занятиях, оказалось делом не простым. А тут появился в штабе командир полка полковник Тавадзе, плотный мужчина с интеллигентным лицом, украшенным щеточкой усов. Майор Мойзес коротко доложил полковнику о непрезентабельном виде дежурного, демонстрируя для наглядности Лукашова, который стоял рядом. Причем Лукашов, хотя и старался стоять «смирно», имел вид безнадежно штатский.

Полковник Тавадзе, пощипывая усики, осмотрел Лукашова и произнес мягко, с легким грузинским акцентом:

— Пригласите вещевика, пожалуйста.

Через минуту начальник обозно-вещевой службы, ражий детина в капитанских погонах, стоял перед командиром полка.

— Выдай Лукашову шинель, — вежливо предложил полковник. — Да?

— Товарищ полковник, — напористо начал капитан, — Лукашов удовлетворен всеми видами вещевого довольствия полностью! А новая шинель ему положена только в одна тысяча девятьсот сорок шестом году.

Разговор этот происходил в апреле сорок четвертого года.

— Выдай, пожалуйста, — сказал Тавадзе, оставляя в покое свои усики. — Зачем так много разговоров? Через час будет командующий — ты его хочешь в такой шинели встретить? Полк в лицо грязью ударить хочешь, да? Выдай шинель немедленно!

Полковник повернулся и пошел по коридору. За ним, поморщившись, двинулся майор Мойзес, вслед за ним исчезли остальные штабные, маячившие в отдалении. Начальник вещевой службы дал волю чувствам:

— Ну, Лукашов, я тебе припомню! Как я буду отчитываться за эту шинель?

— Товарищ капитан, — мягко возразил Лукашов, — я, собственно, не настаиваю... Я могу и в этой шинели встретить командующего.

— Смотрите, какая овечка! — взбеленился капитан. — Он не настаивает! А с меня последнюю шкуру снимает! Не настаивает!..

Через час Лукашов уже щеголял в новенькой офицерской шинели да к тому же и в новых лейтенантских погонах. Начальник вещевой службы, при всей своей шумливости, справедливо решил, что, по сравнению с шинелью, погоны — мелочь, из-за которой не стоит быть принципиальным. Снявши голову, по волосам не плачут...

Мой товарищ Ваня Перибайлов, худенький сероглазый паренек, сказал по поводу новой шинели Лукашова:

— Армейское сукно, ему износу не будет!

Я верил опытности Перибайлова. Я поверил в нее в первый же день совместной службы, когда февральским вечером наш поезд с призывниками прибыл в столицу одной из автономных республик на Северном Кавказе. С вокзала нас повели в баню, и там, в мыльной, я и познакомился с Ваней Перибайловым. Из всей сотни новобранцев он один оказался настолько предусмотрительным, что, уходя в армию, взял с собой из дому

мочалку. Перибайлов великодушно предложил мне воспользоваться ею, и с той минуты я уверовал в опытность Вани.

Надо сказать, что наш интерес к крепости обмундирования был далеко не праздным. Уж на что прекрасны были выданные нам американские ботинки — легкие, удобные в носке, с металлическими набойками, — но и они не выдерживали ежедневных занятий на каменистых полях предгорий Кавказа: через три месяца ботинки уже требовали основательного ремонта. Да и гимнастерки наши, просоленные солдатским потом, изнашивались не менее быстро, расползались лоскутами от воротника к подолу.

Из всего обмундирования неизносимыми были только обмотки. К ботинкам полагалась пара обмоток, которыми следовало обмотать каждую ногу, начиная от края ботинка, вверх до отметки «два пальца ниже колена». Командиры отделений вырабатывали у нас умение одеваться быстро, но какая может быть быстрота, если вокруг каждой ноги надо накрутить двухметровую обмотку?! Понадобилось некоторое время, прежде чем мы уяснили: обмотки можно сделать ровно в два раза короче, убытка от этого не будет никому, зато скорость одевания резко возрастает. Практика учила нас целесообразности. . .

. . . А лейтенант Гирия продолжал делиться с нами своими мыслями:

— Курсант — это человек с оружием. Человек с ружьем. Был такой фильм. Без оружия ты — не боец! Отсюда — вывод. Карабин — это спутник курсанта. Лучший спутник. На всю жизнь. Ясно?

— Ясно! — хором отвечали мы.

Было ясно, что речь лейтенанта близится к концу.

— Если ясно — приступить к занятиям!

Безымянный полковой поэт писал о нашей жизни так:

Ровно в шесть часов подъем,
Как один, мы все встаем.
День проходит по порядку,
И бежим мы на зарядку.
Трубы медные поют
И в столовую зовут.

День начинался, как сказал поэт, в шесть утра. За окнами звучал сигнал трубы «Подъем», и дневальный у двери кричал что есть мочи:

— Вторая рота, подъем!

Помощники командиров взводов (их будили за пятнадцать минут до общего подъема) дублировали команду дневального:

— Первый взвод, подъем!

— Второй взвод, подъем!

— Третий взвод, подъем!

— Четвертый взвод, подъем!

А за ними и остальные сержанты повторяли приказ своим отделениям:

— Первое отделение, подъем!

— Второе... подъем!

— ...подъем!.. подъем!.. подъем!

Это напоминало крики деревенских петухов, когда в глухой ночи прокукарекает один, а затем петухи перекликаются по всей округе. Сто шестьдесят курсантов, собранные в одной казарме, очумевшие спросонья от обилия командных голосов, вскакивают, отбросив одеяла, натягивают брюки, ботинки, топчутся с обмотками, потому что уже через минуту раздастся команда: «Выходи'строиться на физзарядку!» Того, кто опоздает, ждет разговор с дежурным офицером, который стоит тут же, у выхода из помещения.

Казарма пуста, лишь несколько человек, освобожденных по различным причинам от физической зарядки, принимаются за заправку постелей. Заправка — это целая наука, которая постигается лишь долгими годами службы. Можно даже сказать, что это сплав науки с искусством, в особенности когда имеешь дело не с ватным матрацем, а с тюфяком, набитым соломой. Когда его набивают свежей соломой, он становится в три раза больше своего владельца. Попытка отнести матрац в казарму напоминает попытку карлика обнять великаншу. Кое-как взгромоздив тюфяк на спину, тащишь его в помещение и, уложив на нары, с недоумением спрашиваешь себя: как, каким образом можно спать на такой бочке?..

Однако уже после первой ночи солома в тюфяке уминалась, но так неудобно, что в головах и ногах тюфяк бугрится, зато в средней его части возникла глубокая впадина. А в это время старшина Фесенко требует, чтоб матрац был заправлен в виде идеального кирпича. Превратить соломенный матрац в прямоугольную призму — в этом и заключалось искусство заправки постелей. Искусство это сложное, трудное, многим оно не дается за всю их службу в армии.

Но были и такие народные умельцы, которые научились удивительно ловко превращать те полупустые бурдюки, какими

стали наши матрацы, в аккуратный ряд солдатских постелей. Этим умельцев знала вся рота, их ценил старшина Фесенко. Им доставалась вся основная работа после того, как курсанты, кашляя и сморкаясь, возвращались с физической зарядки и начерно заправляли свои постели. После этой черновой работы приступали к делу умельцы. Под их ловкими пальцами постели приобретали благородные, почти прямоугольные, очертания.

Умельцы торопились, потому что заправка постелей была делом трудоемким, а они не без основания боялись, как бы в столовой, пока тут возишься с матрацами, не закончился завтрак.

В завтраке же, надо заметить, в те времена наиболее существенную часть составлял дележ хлеба. Мы получали буханку на отделение. Десять человек, составлявших отделение, окружали стол, на котором один из курсантов, самый натренированный, разрезал буханку на двенадцать частей. Два лишних куска нужны были для добавок: порции невозможно сразу нарезать одинаковыми. К каждой порции полагалась добавка, и эта добавка водружалась поверх порции. Если на взгляд заинтересованного общества какая-то порция оказывалась меньше других, к ней добавлялся еще кусочек хлеба, а то и два. После этого один из нас отворачивался, а делильщик, указуя ножом на каждую порцию, по очереди вопрошал:

— Кому?

Отвернувшийся называл фамилии курсантов отделения, и таким образом осуществлялся самый справедливый, на наш взгляд, дележ хлебных порций. Но однажды лейтенант Гиря увидел эту процедуру и был до глубины души потрясен такой дикостью. Построив роту, лейтенант, прохаживаясь перед строем взводных колонн, сурово укорял нас:

— Стыдитесь, товарищи курсанты! Это некультурно! Вы не доверяете друг другу! Даже если порции немного отличаются. Это же граммы! Один или два грамма. От этого сытым не станешь. Я на фронте трое суток крошки в рот не брал. И — жив-здоров! Категорически приказываю: прекратить этот обычай — «Кому? Кому?»! Нужно быть культурными. Разделите буханку на нужное число частей. Пусть каждый спокойно поедает. Возьмет свою порцию!

Так укорял и стыдил нас лейтенант Гиря, и с того дня мы начали делить хлеб культурно. Выглядело это так: наш делильщик Митя Чувелев, рыхлый белолицый парень, у которого

шея не ворочалась от бесчисленных фурункулов, ловко разрезал буханку, а мы зорко следили за делом его рук, заранее присматривая каждый себе подходящий кусок. Чем ближе к концу подходил процесс дележки, тем теснее сплачивали мы наши ряды вокруг Чувелева. Головы наклонялись над столом, нависали над Митей, который не спеша раскладывал добавки на каждую порцию. Наше горячее дыхание, наши взгляды, устремленные к хлебу, нервировали Чувелева, и он орал на нас:

— Да отойдите же! Как воронье! . .

Мы подавались назад, но ровно настолько, чтобы в любое мгновение рука могла ухватить облюбованный кусок.

Раскладывая последние добавки, Чувелев предостерегал нас:

— Не хапáй! Не хапáй!

И вдруг, воткнув свой делящий нож в одну из порций, командовал:

— Хапáй!

Руки наши, как ястребы на цыплят, падали на хлеб, и в одну секунду на столе оставался один-единственный кусок — порция Вани Перибайлова. Ваня никогда не принимал участия в нашем ритуале дележа хлеба. Его веснушчатое добродушное лицо смущенно улыбалось. Глядя на наши страсти, он говорил:

— Все они одинаковые, чего там! . .

Как-то Чувелев, посмеиваясь, пристал к Перибайлову с вопросом, чем можно объяснить его равнодушие к хлебу. Ваня долго отмалчивался, а потом сказал:

— У нас дома восемь человек ребят было. Если кто норовил схватить кусок побольше, отец, бывало, возьмет деревянную ложку и по лбу — хрясь! Не жадничай! Хлеб — добро, всем равно! . .

Вышло, что Перибайлов подтверждал слова лейтенанта Гири. Но самое любопытное, что Ване действительно, за редким исключением, доставалась хлебная порция ничуть не меньше, чем любому из нас. Однако даже такое наглядное доказательство не могло изменить нашу привычку.

После завтрака раздавалась команда:

— Выходи строиться!

Команда эта заставляла нас на той стадии, когда в котелках уже чисто, многие курят в сторонке и лишь наиболее медлительные еще смакуют последнюю корочку.

Снова строй, карабины на ремнях, минометы на вьюках, рота в походной колонне направляется к выходу из городка, где уже блестит ярко начищенная медь полкового оркестра.

Военная служба научила меня любить духовой оркестр, и я, обладающий минимальным слухом, мог безошибочно напевать мелодию «Встречного марша», «Тревоги», «Развода караулов» или желанного «Бери ложку, бери бак, нету хлеба — кушай так!». А щемящие звуки «Прощания славянки» или «Егерского марша»? Ими провожал нас в семь тридцать утра духовой оркестр на занятия, этими же маршами встречал он нас, когда на склоне дня мы возвращались в свои казармы после занятий в поле.

Занятия наши проходили на каменистом плато, в восьми километрах от военного городка, на берегу мелководной речушки. Во время дождя она превращалась в ревущий поток, способный сбить с ног любого смельчака, кто пытался перейти ее вброд. В обычное же время мы в этой речушке стирали пропотевшие гимнастерки. Пока длился пятнадцатиминутный перерыв между занятиями, гимнастерка, раскинутая на камне, успевала просохнуть.

Перерыв заканчивался, и мы пять, и десять, и двадцать раз выполняли одни и те же команды сержанта Щенёва, нашего помкомвзвода:

— Отбой! Миномет на вьюки!

— Огневая позиция — двести метров впереди, у белого камня. Отделение, перебежками — вперед!

— Миномет к бою!

Сгибаясь под тяжестью минометного ствола, который нелепо болтается на вьюке за спиной и грозит ежесекундно стукнуть тебя по башке, ты несешься по полю, обливаясь потом и петляя как заяц. Если на тебе не ствол, а двунога-лафет, то двунога все время норовит ткнуть в подколенки острыми сошниками. Опорная плита миномета в этом отношении удобнее, но она весит гораздо больше, чем двунога. Да и лотки с минами — тоже не сахар, так что служба минометчика тяжелая. И только командир отделения бежит, можно сказать, налегке, с автоматом и биноклем. Но мы еще не командиры, мы только учимся. Учеба расплывается на наших гимнастерках темными пятнами пота, который, просыхая, оседает на плечах белой солью.

...А на фронте в это время наши войска брали штурмом Севастополь.

Мы изучали, из каких частей состоит миномет, мы стреляли из карабинов, нас учили ходить и бегать, ползать и прыгать, кидать и хватать, подтягиваться и лазать. Короче, происходил тот самый процесс превращения гражданского человека в военного, который, приводя к некоторой потере оригинальности, вырабатывает взамен этого умение жить и действовать в коллективе.

Из всех видов обучения нам больше всего нравилось изучать уставы. Уставы можно изучать бесконечно — об этом неоднократно напоминал нам лейтенант Гирия. Для нас же главным преимуществом уставов было то, что их можно изучать сидя. Правда, некоторые из нас пользовались этим преимуществом самым бессовестным образом. Стоило нам усесться, а сержанту Щеневу взять в руки устав, как у какого-нибудь Фомина глаза смыкались сами собой. Сержант же Щенев имел вспыльчивый характер, вид дремлющего Фомина вызывал у него сильнейшее возмущение. Наступала расплата за мгновения блаженства: Фомин тотчас же получал наряд вне очереди.

После отбоя, когда казарма, уgomонившись, постепенно погружалась в сон, медлительному, неуклюжему Фомину предоставлялось обширное поле деятельности в виде казарменного пола площадью сто пятьдесят квадратных метров. Прежде чем приступить к работе, Фомин старательно, с выражением, читал вслух изречение русского генерала Драгомирова, которое, по распоряжению Гири, было начертано на плакате в нашей казарме:

О воин, службою живущий!
Читай устав на сон грядущий
И, ото сна опять восстав,
Читай усиленно устав!

После этого Фомин придирчиво осматривал все швабры, выданные ему дежурным по роте. Выбрав наиболее подходящую, он снимал гимнастерку и приступал к работе. Если, случилось, еще не спал Сергей Позднышев, курсант лукавый и насмешливый, тот принимался упрашивать Фомина:

— Фомин, а Фомин! Прочитал бы, что ли, лекцию о швабре!..

Фомин сперва отнекивался. Но работа ему предстояла большая, приступать к ней сразу не хотелось. Потому очень скоро Фомин поддавался на уговоры и проводил беседу для тех, кто не спит.

— Швабра, — говорил он вдумчиво, не торопясь, — есть личное индивидуальное оружие нарушителя дисциплины. Швабра предназначена для ускоренного мытья пола в казарме. Она состоит из рукоятки, дощечки и резиновой накладки, выполненной из автомобильной покрышки. Боевая скорострельность швабры достигает пятидесяти туда-сюда в минуту...

Слушатели покатывались со смеху, а Фомин входил в роль; и потому беседа затягивалась. Все это замедляло мытье пола и отнимало у Фомина изрядную долю сна. В результате у него образовался хронический недосып, который Фомин каждый раз пытался ликвидировать во время изучения уставов...

Одним словом, занятия у нас были самые разнообразные, большей частью под палящим солнцем, но иногда и под проливным дождем, от которого на поле негде было укрыться. Десять часов занятий проходили довольно быстро, тем более что нам привозили обед в полевой кухне. А там, глядишь, уже и солнце на закате, и мы идем узкими улицами пригорода столицы, и местные жительницы провожают нас восхищенными (так нам казалось) взглядами, а наш ротный запевала, белобрысый Ваня Курилло, фатовато сдвинув пилотку на бровь, разливаясь соловьем.

Когда впереди показывались краснокирпичные стены военного городка и контрольно-пропускной пункт с часовым у ворот, мы подтягивались, шли четче. Оркестр встречал нас оглушительным ревом меди:

То ли дело, то ли дело
Егеря, егеря!..

Полковник Тавадзе, стоя у КПП, поднимал в приветствии руку к своему бледному интеллигентному лицу, глядя на нас, как говорится, строгими, но добрыми глазами. И под его отеческим взглядом мы чувствовали себя выше, лучше, краше.

Армейская служба не казалась мне тяжелее того, чем я занимался с пятнадцати лет. Когда в сорок первом пришло известие, что мой отец погиб на фронте, я пошел работать: разгружал зерно на токах, рубил лес и косил сено, долбил киркой мерзлый грунт, рыл противотанковые рвы. И если сейчас меня заставляли много раз подряд выполнять один и тот же поворот, я, чувствуя всю докучность этого, считал, что так и должно. Видимо, в силу этой моей убежденности лейтенант

Лукашов стал меня чаще, чем других, брать с собой в наряд. Два раза в месяц он дежурил по полку, а я становился посыльным при нем.

После отбоя, когда дежурные по ротам доложили, что в их подразделениях происшествий не произошло, Лукашов укладывался на жестком топчане в дежурке, а я присаживался у горячей печки. Лукашов подолгу расспрашивал меня, что успел я узнать за свою не очень долгую жизнь. Выяснилось, что некоторые книги, прочитанные мной в детстве, нравились и лейтенанту: он с нежностью вспоминал о Жюле Верне, Фениморе Купере, Луи Буссенаре.

Мы много с ним говорили о русской литературе. Что касается меня, то русскую литературу я узнал, можно сказать, случайно. В первую военную зиму, оказавшись в эвакуации без обуви, я целыми днями сидел один в нетопленной горнице дома, куда нас определили на постой. Мне страстно хотелось читать, но читать было нечего. Когда в июле сорок первого мы с матерью и старшим братом эвакуировались в Саратовскую область, то, в числе предметов первой необходимости, захватили несколько учебников для девятого и десятого классов. В хуторе, куда мы приехали, школы не было. Когда наступила зима, я, чтобы не чувствовать голода и убить время, стал читать все, что попадало под руку. Попадало немного. В доме, где мы остановились, книг не было, если не считать «Бухгалтерский учет в колхозе» и «Памятку доярке». Пришлось взяться за учебники.

Физика, алгебра, химия меня не интересовали, я читал только учебники русской литературы. Я читал их как романы, я выучил наизусть все стихотворные цитаты, я мог подробно рассказать о Базарове и Кирсанове, об Ионыче и Челкаше. Я свободно цитировал диалоги из пьес Островского (те, что были приведены в учебнике) и знал, кто такие «лишние люди». Этих учебников и книг Жюль Верна оказалось достаточно, чтоб мы с Лукашовым коротали ночи в беседах до трех-четырёх часов утра. После этого Лукашов уходил проверять караул, а я дремал, сидя на табурете у теплой печки.

Беседы наши имели то неожиданное для меня следствие, что очень скоро Лукашов стал поручать мне вести с отделением занятия по уставам и по изучению оружия. Делал он это не столько из расположения ко мне, сколько потому, что

во взводе на четыре отделения было лишь два сержанта — Щенев и Рагозин.

В одно из таких дежурств Лукашов сказал мне:

— Вам надо быть зубастей. Человек должен быть добрым и зубастым.

Я не понял его и спросил:

— А вы, товарищ лейтенант? Вы разве зубастый?

Он как-то странно посмотрел на меня, отвернулся и уставился в огонь, что пылал в печке. После долгого молчания обронил:

— Мне уже это не нужно. . .

Я постеснялся и не спросил почему.

В конце мая, в воскресенье, старшина Фесенко бросил нас, человек десять курсантов, на заправку постелей. В казарме были трехъярусные нары, и обычно лучше всего заправлялись матрацы нижнего яруса. Здесь постель выглядела безукоризненно. На втором этаже матрацы тоже были заправлены хорошо, но там старшина Фесенко добивался не столько индивидуального выражения каждого матраца, сколько общего впечатления ровности и аккуратности. Дело в том, что проверяющее нас начальство уже не могло рассмотреть на этом уровне каждую складку и морщинку на одеяле — для этого пришлось бы стать на табуретку.

Что же касается третьего яруса нар, то там надо было создать красивый фасад — самый край, торец матрацев, который только и был виден снизу. По этой причине за красивым фасадом третьего яруса скрывалось обширное пространство кое-как заправленных постелей, с ямами и буграми. Верхний этаж становился надежным убежищем, где курсанты преспокойно отсыпались, как сказал Василий Теркин, в запас и за прежний недосып. Но иногда старшина Фесенко забирался наверх и, пыхтя и отдуваясь, будил с помощью швабры наиболее беспечных любителей сна. После этого он приказывал заправить третий ярус столь же тщательно, сколь и первый.

Именно такой случай и произошел в то воскресенье. Получив от старшины Фесенко категорический приказ привести матрацы «в божеский вид», мы старательно взбивали солому в тюфяках, выравнивали углы, разглаживали морщины на одеялах. Вдруг я услышал, что дневальный у входа выкрик-

нул мою фамилию. Я спустился вниз и увидел лейтенанта Лукашова. Он близоруко шурил глаза, поджидая меня. Сдержанно кивнув мне, предложил:

— Идемте в коридор.

В коридоре мы остановились у окна, и Лукашов деловито, даже официально сказал мне:

— Получите увольнительную записку до шестнадцати часов! Вот вам деньги, здесь сто рублей. Пойдете на рынок — вы знаете, где он находится, рядом с баней. Там купите красивый букет и отнесете его по этому адресу.

Он вручил мне деньги и записку с адресом: Заречная улица, 23, Анна Николаевна Евсева. Это была фамилия той самой актрисы.

Надо сказать, что пари, выигранное Лукашовым у лейтенанта Гири, давно уже смущало меня. Я и восхищался удачью Лукашова, и осуждал его. В свои семнадцать лет я считал себя вправе осуждать взрослого мужчину за то, что он выиграл на пари женщину. Теперь же, поручив мне отнести цветы, Лукашов одним разом рассеял мои сомнения. Я был горд, что тоже участвую в интриге, достойной героев «Трех мушкетеров». Вместе с тем здравый смысл заставил меня уточнить:

— А если она спросит, кто прислал?

— Ответите, что не знаете. Вообще старайтесь не вступать в разговор: вручите и уходите. В городе не попадайтесь комендантскому патрулю. Увольнительная у вас есть, но патрули не любят, когда военнослужащие ходят на рынок. Идите!

Итак, тайна! И я в ней если не действующее лицо, то очень близок к нему. Это было романтично.

Я вышел, впервые не в строю, за ворота городка и направился вдоль шоссе по направлению к белеющим впереди домам. Навстречу мне шли женщины-горянки в темных одеждах, ехал на арбе, запряженной мулами, старик-горец в косматой папахе, скакал верхом на ишаке мальчик-горец, тоже в папахе. Я шел по шоссе и наслаждался свободой, которая была предоставлена мне до шестнадцати часов, что и удостоверялось подписью и печатью. При всем том я внимательно следил за встречными и обгоняющими меня военными, не забывая приветствовать их, как того требовали уставы.

У меня и в мыслях не было использовать увольнение для собственных дел. Да какие у меня могли быть дела? Разве что



опустить в почтовый ящик письмо матери, которое я написал заблаговременно...

Я сразу направился на рынок, но там ждало меня разочарование. На прилавках, а то и на земле был раскинут немудрящий скарб тех, кто пришел сюда продавать. Толклись вокруг прилавков люди, большей частью женщины и старики, все приценивались, но мало кто покупал. Да и покупать особо было нечего: какие-то бочки, глиняные кувшины, веники, вязанки дров, клетка с синицами. Дама в черной шали с кистями продавала диковинную фарфоровую лампу с бронзовой подставкой и перламутровым абажуром. Шмыгали шустрые ребятишки, норовя засунуть руку в чужой карман. Девчушка лет восьми с аккуратным жестяным ведерком и жестяной кружкой ходила между прилавками и весело напевала:

Есть холодная вода,
Кому надо — вот она!

Вода не нужна была никому. Покупатели теснились возле продуктов, но продуктов на рынке было мало: зеленый лук и редиска, растительное масло и кукурузная мука, которую продавали стаканами.

Цветов тоже было мало, и все какие-то невзрачные: зеленые стебли с мелкими синими и белыми цветочками. А мне хотелось найти такие цветы, которые приносил однажды мой отец. Я несколько раз прошелся по рядам и убедился, что таких цветов на рынке не было. Постояв и поразмыслив, я углубился в тихие улочки, что отходили от рыночной площади. В этих улочках, у глинобитных домиков, росли в палисадниках красивые и самые разнообразные цветы. Но их охраняли такие свирепые псы, что один вид их отбивал желание обратиться к хозяевам с просьбой о продаже.

Но вот, у одной белостенной мазанки, я увидел сидящую на завалинке благообразную старуху в белом платке, с личиком, похожим на печеное яблоко. Она глядела на меня веселыми голубыми глазами и приветливо улыбалась, словно приглашала к разговору. Перед низкими, почти вросшими в землю окнами ее дома росли чудесные пионы — те цветы, которые я искал. Лепестки их были ослепительно белые, но не голубовато-холодные, а с той едва заметной восково-желтой прозрачностью, от которой они кажутся теплыми. Рядом росли красные пионы такого насыщенного, густого цвета, что

на душе становилось тревожно. Эти цветы соответствовали заданию лейтенанта Лукашова. Я остановился у калитки.

— Бабушка, вы не могли бы продать мне цветов?

Старуха приподнялась, засеменила к калитке и, всматриваясь мне в лицо, запела:

— Ну-к што ж, ну-к што ж! Зайди, солдатик, выбери, нарви себе цветочков. Цветы у меня нынче ха-арошие! Нарви, нарви себе цветочков!

Я вошел во двор.

— Я деньги заплачу, бабушка, — заверил я. — Только мне нужен большой букет, красивый!

— Цветы у меня ха-арошие! Какие тебе понравятся, те и рви!

И я стал рвать. Я сорвал, наверное, штук тридцать самых лучших пионов — букет был сказочный! В эту минуту дверь в доме скрипнула и на пороге встал худой старичок в розовой ситцевой косоворотке.

— Это что? — высоким голосом спросил он. — Это почему? Это куда? Ты что, старая, ай совсем из ума выжила?

— Ну-к што ж! — старуха оглядывалась на старика, а сама торопливо подталкивала меня к калитке. — А если ему надо? Ему нынче без цветов нельзя — служба такая!

Я был уже за калиткой. Старуха напутствовала меня:

— Иди, милый, иди! Мы тут разберемся. Дедко у меня строгий — это он для порядку. А ты иди, иди!

Я пошел было прочь, но вспомнил, что у меня в кармане деньги, по тем временам не бог весть какие, но — деньги! Я повернул назад.

— Ну што, касатик, што? — спросила меня старуха.

— У меня есть деньги, — пояснил я. — Я должен за цветы заплатить. Сто рублей у меня.

— Што ты, милый!.. — начала было старуха, но дедко стремительно рванулся к калитке, выхватил у меня из рук ассигнацию.

После этого он так же стремительно скрылся в домушке, а старуха укоризненно качала вслед ему головой. Еще раз сказав ей «спасибо», я пошел на Заречную улицу, к таинственной Анне Николаевне Евсевой.

Я сразу нашел и улицу, и двухэтажный ветхий дом (низ каменный, верх деревянный), на углу которого был прибит ржавый номерной знак. Темная от времени калитка, висевшая на одной петле, отворилась со скрипом. На этот скрип, пока

я шел по дорожке, в окне первого этажа, рядом с крыльцом, приподнялась занавеска. За стеклом мелькнуло женское лицо в черном платке. Занавеска опустилась.

Когда я вступил на крыльцо, в доме стояла мертвая тишина, словно никто не заметил моего прихода. Ничего не оставалось, как постучать во входную, с фанерными заплатами, дверь, такую же старую, как калитка, и также на одной петле. На мой стук никто не отозвался. Я распахнул дверь и вошел в сени. Направо была дверь, прямо шла на второй этаж крутая деревянная лестница с широкими, истертыми до выемок ступенями.

Я постучал в дверь направо. Что-то зашуршало, стукнуло, скрипнуло, потом дверь приотворилась, и черное остроносое лицо в черном платке, которое я видел в окне, высунулось в образовавшуюся щель.

— Чево надо? — сипло спросило меня лицо, косясь на букет.

— Анну Николаевну Евсееву я могу увидеть? — вежливо поинтересовался я.

— Можешь, — прошипела старуха-чернавка. — Дрыхнет. Наверху.

Я заторопился наверх. Все было как в настоящей сказке: спящая красавица, а ее охраняет злая колдунья!

— Цветы ей! — шипела позади меня черная. — Третий месяц за квартиру не плочено. Карасину нету. Кажинный раз после полуночи приходит!

Я больше не слушал змеинового шипения колдуньи, я остановился на площадке и постучал в дверь.

— Кто там? — услышал я в ответ.

Голос, который спросил: «Кто там?», заставил вздрогнуть мое сердце, такой он был мягкий, нежный, столько доброты послышалось мне в нем.

— У меня к вам поручение, Анна Николаевна, — сдерживая волнение, произнес я в закрытую дверь.

— Минуточку, — попросил меня тот же голос.

Наступила небольшая пауза, в течение которой за дверью незнакомки не было слышно ничего, зато снизу доносилось сиплое дыхание колдуньи, которая, без сомнения, интересовалась, о чем я буду говорить с ее жиличкой.

Дверь распахнулась, и на пороге встала миниатюрная молодая женщина в шелковом выношенном халатике. Озорные серые глаза и коротко стриженные волосы придавали ей

мальчишеский вид. Но мне она показалась такой красивой, что у меня дух захватило.

— О! — удивленно произнесла женщина. — Ко мне военные? Вот так сюрприз!

— У меня к вам поручение, — заученным голосом произнес я. — Эти цветы — вам!

— Спасибо! — обрадовалась она.

Взяла цветы и, прижав их к груди, вскинула на меня лукавые глаза.

— Если это от вас лично, я вам бесконечно благодарна!

— Что вы! Это совсем не я! — вырвалось у меня, словно цветы от меня были бы чем-то оскорбительным.

— Понимаю, — улыбнулась женщина. — А тот, кто вас послал, конечно же, пожелал остаться неизвестным?

— Да, пожелал, — глупо согласился я.

— Ну, зайдите же на минуту! — предложила она, отступая в комнату.

— Нет, нет! Я должен сразу уйти.

— Почему же?

Она приблизилась ко мне, взяла за рукав гимнастерки, ласково, но настойчиво потянула за собой. И я нарушил приказ лейтенанта Лукашова. Я не ушел сразу, как было велено, а покорно последовал за этим чудесным видением в шелковом халате.

Анна Николаевна извинилась за беспорядок в квартире, хотя, на мой взгляд, никакого беспорядка в ее комнате нельзя было заметить — так мне все сразу понравилось здесь. Усадив меня на стул, женщина прошла во вторую комнату, возвратилась оттуда с вазой синего стекла. Все так же лукаво поглядывая на меня, она спрашивала мое имя, давно ли служу в армии, какие книжки люблю и бываю ли я в театре. На все ее вопросы я отвечал добросовестно, хотя кратко.

Управившись с цветами, Анна Николаевна полюбовалась букетом еще, поставила его на стол, изящно склонилась над ним. Цветы ей понравились, что не вызывало сомнения.

— Сейчас мы будем пить чай, — непринужденно заявила она. — У меня как раз чайник готов.

— Нет, я не могу!

Я даже вскочил, намереваясь уйти. Анна Николаевна загородила мне путь.

— Нет уж, без чаю вы от меня не уйдете! Подумать только, какой стеснительный! Совсем мальчишка!

Она стояла рядом со мной, и, так как была значительно ниже меня, я невольно видел в вырезе халата ее нежно белющую грудь. Поспешно отведя свой взгляд в сторону, я отвечил как можно суровее:

— В армии мальчишки не служат.

— Ну да! Вы все закаленные воины! А что, — спросила она внезапно про Лукашова, — Вадим Александрович с солдатами такой же нелюдим, как с нами?

— Нет, он совсем не... нелюдим! — поспешно возразил я и понял, что проговорился, открыл тайну цветов.

А она рассмеялась так, что слезы появились на глазах, и весело захлопала в ладоши:

— Ах, как я вас провела! Да? Провела? Вы ведь не должны говорить, от кого цветы? Ну, не сердитесь! Не огорчайтесь. Лучше расскажите про Вадима Александровича, я его совсем мало знаю, — сказала она просительно, в голосе ее прозвучало что-то жалобное.

Но что я мог рассказать ей о своем командире взвода, которого видел только на занятиях да в нарядах? Ей хотелось знать, что он делает по вечерам, не скучно ли ему, о чем он говорит с друзьями. Ничего этого я не знал, потому что нас с Лукашовым разделяли не только воинское звание и десятилетняя разница в возрасте. Я был по сравнению с ним просто мальчишка, а он — умудренный жизнью взрослый человек, хлебнувший полной мерой фронтовых невзгод. Лукашов словно бы всматривался в самого себя, в свое прошлое. В этом прошлом навсегда остался блокадный Ленинград и снег Невской Дубровки, где Лукашов был ранен. Туда, в свое прошлое, он не впускал никого. Поэтому единственное, что я мог сказать Анне Николаевне, было мое твердое убеждение, что лейтенант Лукашов хороший человек. И что, кажется, он болен, потому что все время кашляет.

Веселые глаза Анны Николаевны враз насторожились, улыбка сошла с ее лица.

— Он заболел? — переспросила она встревоженно. — Он вам... жаловался?

— Нет, что вы! Это я подумал, потому что кашляет он. И мало смеется.

— Я совсем не знала об этом, — произнесла она жалобно.

Наклонилась над чайником и замерла, словно забыла обо мне.

Остаться здесь дольше было неловко: я и так нарушил

приказ Лукашова, да еще и стал причиной ее тревоги. Но, как только я встал, Анна Николаевна встрепенулась:

— Погодите! Я сейчас приготовлю чай.

— Спасибо, не надо! Я пойду.

— Можно, я пошлю с вами записку? — просительно сказала она.

Я заколебался.

— Вообще я не должен был...

— Он не обидится! — горячо убеждала она меня. — Скажете, что я давно ждала... Я сейчас!

Она ушла в другую комнату. Я видел, что Анна Николаевна не на шутку встревожена здоровьем Лукашова, и мне было стыдно за тот секрет, которого она не знала наверняка: за то, что Лукашов выиграл ее на пари. Но теперь я уже оправдывал его, говорил себе, что это, должно быть, Лукашов нарочно сказал про пари. На самом деле он, наверное, давно был влюблен в Анну Николаевну...

Через несколько минут Анна Николаевна возвратилась с конвертом в руках. Конвертов я не видывал, пожалуй, с довоенного времени, а этот был очень красивый, из голубоватой бумаги. Вручая его мне, она попросила:

— Пожалуйста, если можно, передайте ему сегодня же. Я заверил, что передам сразу, и стал прощаться.

— Если будете в наших краях, заходите ко мне в гости, — пригласила Анна Николаевна.

Время по ступенькам американскими ботинками, я скатился вниз. Внизу не было никого.

Глубоко вздохнув, я заторопился вон со двора, а когда вышел на улицу, еще раз перевел дух. Так. Поручение выполнено, а времени, судя по солнцу, у меня оставалось еще много. Но свободное время почему-то не радовало меня. Не хотелось идти в центр города, глазеть на витрины с довоенными муляжами окоров или сидеть в городском кинотеатре, где шла картина «Радуга». Картину эту я уже видел два раза в нашем солдатском клубе. Письмо Лукашову властно требовало: возвращайся в казарму. Я возвратился.

Лукашов ждал меня, читал какую-то книгу, сидя за столом в нашей казарме. По случаю воскресенья в помещении были только дневальные да дежурный, остальные курсанты разбрелись кто куда по военному городку. Когда я вошел, лейтенант поднял на меня свои глубокие черные глаза и спросил:

— Вручили?

— Ваше приказание выполнил! — отрапортовал я.

И замялся. Потом, ожидая разноса, сказал несмело:

— Вам письмо, товарищ лейтенант. Просили передать.

Лукашов не выразил удивления. Взял письмо, сказал мне «спасибо», поднялся из-за стола и вышел из казармы. Вскоре ушел из казармы и я. Неподалеку от спортгородка, у высокой кирпичной ограды, лежали на травке два моих товарища — Ваня Перибайлов и Ваня Курилло. Они знали, что я отпущен в город, и несказанно удивились моему быстрому возвращению.

— Ну как? — набросился на меня Ваня Курилло. — Что так рано вернулся?

— Лейтенант посылал по делам, — сдержанно сказал я.

— Знаем мы эти дела!.. — засмеялся Курилло, подмигивая Перибайлову.

Тот лишь тихонько улыбался. А Курилло, опрокинувшись навзничь, глядел в высокое небо и, щуря глаза, окаймленные белесыми ресницами, мечтательно произнес:

— Лукашов по части женщин — большой спец!

Я возмутился:

— Откуда тебе знать, кто спец, а кто не спец?

Курилло не стал спорить со мной. Он перевалился на живот и возбужденно заговорил:

— Я вчера тоже чуть одну не заарканил. Дежурил на КПП, гляжу, идет какая-то, в платочке, с корзинкой в руках. Фигурка у нее ничего, и тут — все на месте. В общем, девчонка что надо! «Можно, — говорит, — вызвать мне Силантьева из пулеметного батальона?» Го-го! Силантьева ей, из пульбата! Она мне говорит, а сама глазками так и стреляет. Ага, думаю, здесь можно будет пожить. И начинаю с ней строго: «Кто вам сказал про пулеметный батальон? Это он вам наболтал, да? А знаете, что за разглашение военной тайны он пойдет под трибунал?» Она тут и скисла, а я давай задний ход. Стал с ней полегче, шуточки отпускаю, она и заулыбалась. Я к ней бочком — ничего, не убегает! Ну, думаю, дай только время...

Курилло внезапно умолк. Мы с Перибайловым тоже дипломатично молчали, а товарищ наш вздохнул:

— Силантьев этот — замухрышка замухрышкой!.. Что она в нем нашла?..

Потом Курилло вновь пристал ко мне:

— Так ты видел эту артистку или нет?

С Перибайловым и Курилло я подружился больше всех,

но даже с ними я не стал делиться тайной, доверенной мне. В моих мечтах Анна Николаевна Евсеева заняла с того дня, я думаю, не меньшее место, чем в душе лейтенанта Лукашова. Нет, я не собирался стать его соперником. Просто мне хотелось верить, что у Анны Николаевны есть младшая сестра, такая же красивая и умная, как она. И вот однажды, когда я буду «в тех краях», я зайду к Анне Николаевне, и она познакомит меня со своей сестрой. И тогда мы все — Лукашов, Анна Николаевна, ее сестра и я — будем как одна семья, родные и близкие друг другу люди. Лучше этого нельзя было придумать ничего.

Служба наша катилась как по рельсам: мы уже знали многое из того, что положено знать солдату. Впереди нас ждал фронт, и мы гадали, куда попадем: может, на Украину, а может — под Ленинград. Как раз там, на Карельском перешейке, наши войска штурмовали линию Маннергейма...

И вдруг однажды ночью нас подняли по тревоге, раздали патроны и предупредили о возможном участии в бою. О каком противнике могла идти речь здесь, на Северном Кавказе?..

— Может, на фронт пошлют? — высказал общее предположение Митя Чувелю.

— Разговорчики! — прикрикнул на него сержант Щенев. — Я тебя не на фронт, а уборную чистить пошлю! Ишь, разговорился!

Пришлось наши предположения держать при себе.

В пять утра к казарме подкатили автомобили, четыре огромных, крытых тентами «студебеккера». Рота повзводно погрузилась на машины, и мы поехали куда-то через центр столицы, мимо полуразрушенного здания пединститута, мимо разрушенной фашистами гостиницы «Интурист», мимо белостенных домиков в зелени деревьев и высоких стеблей кукурузы. Потом мы выехали в степь, которая даже сейчас, в начале лета, была уже тронута кое-где желтизной. По всей степи, словно нарочно разбросанные, валялись выбеленные дождями и солнцем камни, большие и маленькие.

Ехали мы долго, потом остановились у какой-то развилки дорог. Объявили привал, и, пока мы занимались тем, чем положено заниматься на привале, офицеры роты собрались возле лейтенанта Гири. Гиря, тыча пальцем в топографическую

карту, что-то втолковывал взводным, а те согласно кивали в ответ.

Потом мы снова двинулись вперед, въехали в ущелье и стали подниматься вверх по горной дороге. Дорога эта заставляла замирать наши сердца, столь громадные скалы нависали над ней с одной стороны и столь головокружительные обрывы открывались с другой. К счастью, мы сидели в кузове, покрытом тентом, и все страсти горной дороги открывались нам после того, как мы уже миновали их. Но что нас ждало впереди?

Машины едва двигались, останавливались, снова трогались с места, и три десятка курсантов в кузове машины испытывали одно огромное напряжение, одно и то же чувство: когда же, когда она закончится, эта дорога?..

Вдруг закрипели тормоза нашего «студера», словно он наткнулся на преграду, затем машина медленно-медленно стала подаваться назад. Кузов ее плавно выносился над пропастью. Уже исчезла под кузовом кромка обрыва, и тем, кто сидел на последней скамейке, открылась синяя бездонная глубина ущелья.

— Стой! Стой! — не своим голосом крикнул кто-то, будто голос этот мог долететь до водителя в кабину.

Все сидевшие в кузове испытывали непреодолимое желание выскочить из машины, но — куда? Водитель наш, однако, тоже не хотел полететь в пропасть: «студебеккер» замер на месте, а затем потихоньку стал двигаться вперед. Когда продвинулись метров десять, мы увидели причину страшных маневров шофера: посреди дороги высился обломок скалы, только-только свалившийся откуда-то сверху.

И снова медленное движение вперед, движение, связанное с таким нервным напряжением, что нам казалось, будто это не мотор крутит колеса, а мы сами, своими мышцами, тащим машину вверх по головокружительной горной дороге.

Но всякая дорога имеет свое начало и конец, свой пункт А и пункт Б. Нашим пунктом Б оказался безлюдный горный аул, притулившийся к стене ущелья. Было странно видеть эти белые сакли, добротные и ухоженные, с целыми стеклами в окнах и дверями на замках, — сакли, в которых никто не жил. В ауле не раздавался лай собак, не мычал скот, только в садах неумолчно жужжали пчелы.

Мы выбрались из машины. Рота была построена, и лейтенант Гиря прочитал боевой приказ. Оказалось, прошлой



ночью с фашистского самолета, прилетевшего со стороны Черного моря, в район вот этих гор были сброшены парашютисты. Вероятная цель выброски десанта — проведение диверсий. В задачу нашей роты входило оседлать определенные приказом четыре вершины, закрыть все выходы из ущелья, перейти к разведке, выявить диверсантов и пленить или уничтожить их.

Третьему взводу досталась самая отдаленная вершина с отметкой 941,2, километрах в десяти от аула. Тотчас нам выдали сухой паек, два ящика патронов, ящик гранат. Напутствуемый обстоятельными указаниями лейтенанта Гири, наш взвод под командой Лукашова направился по тропе, которая начиналась сразу за аулом и исчезала где-то вверх.

Был ясный солнечный день. Нам было жарко, потому что шли мы с полной боевой выкладкой: с противогазами, скатками, лопатками, карабинами и подсумками, не говоря уже о вещмешках, где лежал двухдневный запас еды.

До этого дня я никогда не был в горах, да и никто из тридцати моих товарищей — тоже. Поэтому только сейчас нам стало ясно, что ходьба в горах не такое уж приятное занятие. Мы почти совсем не шли по горизонтальной прямой, а все время двигались либо вверх, либо вниз. Идти вверх, когда на тебе сидит патронный ящик, тяжело. Однако спускаться вниз еще хуже: с каждым шагом у тебя словно обрывается все внутри, а по спине бьет все тот же патронный ящик. Хорошо еще, что на взвод было всего три таких ящика.

По мере того как мы удалялись от аула, горы приближались к нам. Собственно, мы уже давно шли в горах, но белые вершины по-прежнему возвышались над нами, спокойные и недоступные. Их недоступность заставляла думать о вечности. Поднявшись в горы, постигаешь, почему горцы не любят суеты: она мешает подобным размышлениям.

Темная зелень деревьев и кустарников осталась внизу, и наши ноги в желтых армейских ботинках топтали разнотравье, в котором я, по своей ботанической малограмотности, различал только листья ландыша да мохнатые синие колокольчики. Когда поднялись еще выше, трава почти исчезла, лишь по скалам в трещинах зеленели какие-то невзрачные растеньица с белыми цветочками.

Горные вершины открывались нам одна за другой весь день. Мы взбирались на хребты и проваливались в низины, упорно карабкаясь к неуловимой отметке 941,2. И когда на-

ступил вечер и солнце неожиданно быстро опустилось за горный хребет, лейтенант Лукашов сказал вдруг:

— Пришли.

Это и была высота с отметкой 941,2. Впрочем, может, это была высота с отметкой 1941,2 или 2941,2 — я этого не могу сказать в точности. Знаю только, что именно на этой высоте я отличился самым неприятным для меня образом.

Еще во время подъема к этой высоте, ожидая встретить диверсантов, мы зарядили карабины. Тогда-то Ваня Курилло и предложил мне:

— Загони пятый патрон в патронник и поставь затвор на предохранитель. Если появятся диверсанты, снимешь затвор с предохранителя — и карабин к бою готов! Знай нажимай только на спусковой крючок!

Я так и сделал. А когда мы пришли на высоту, лейтенант Лукашов, расставив часовых, отдал распоряжение:

— Разрядить оружие!

Я попробовал открыть затвор, но он не открылся. Тогда я снял курок с предохранителя и, по глупой привычке молодого стрелка, нажал, без всякой на то надобности, на спусковой крючок. В ночной темени полыхнуло пламя, грянул выстрел, эхом отдаваясь где-то в долине. Мне сперва показалось, что выстрелил не я, а кто-то рядом. Но когда понял, что выстрел — дело моих рук, я помертвел: фактически я провалил операцию по ловле диверсантов, предупредил их выстрелом, что здесь кто-то есть.

Я испугался не штрафной роты, не гауптвахты, — я испугался, что лейтенант Лукашов будет презирать меня.

Надо отдать должное выдержке Лукашова: он всегo-навсего обозвал меня болваном. Вместо Лукашова зверски ругался сержант Щенев — он добросовестно упомянул меня, моих предков и потомков, господ бога и всех святых. Это продолжалось никак не меньше часа, но о штрафной роте или хотя бы гауптвахте речь пока не заводил никто. Мне, однако, было достаточно того, что я думал о своем проступке.

Остаток ночи прошел без приключений, мы дремали, укрывшись бушлатами. Чуть только забрезжило, принялись устраивать наблюдательные пункты, огневые точки, маскировать свое расположение — приводить необжитую высоту в опорный пункт.

Уже в первый день выяснилось, что сухого пайка нам не хватит на два дня. Дело в том, что сухой паек, при всей его

равноценности по калориям, никак не может заменить котловое довольствие по объему. Казалось бы, в чем разница — не хватает только воды! Добавь воду — получится та же пища. Ан нет! Продукты, выданные сухим пайком, обладают специфическим свойством: их поедаетшь немедленно, притом в соотношении два к одному. То есть, получив сухой паек на три дня, ты за один присест съедаетшь двухдневную норму. Так что на три дня у тебя остается практически дневная норма. Когда вечером ты снова принимаешься за еду, от нее опять остается лишь одна треть — теперь уже на два дня. Дело не меняется от того, что дадут продукты на пять или десять дней: соотношение два к одному действует с неумолимостью закона природы.

В силу этих причин в первое же утро на высоте 941,2 оказалось, что от двухдневного рациона у нас осталось по тридцать граммов пшена (которое неизвестно по каким причинам попало в сухой паек) да по половине селедки (селедку в темноте не успели разделить на брата). Из пшена в то же утро был сварен суп, а так как у нас не оказалось соли, то в суп бросили селедку. Селедка сразу растворилась в этом вареве. Когда мы стали есть, то на зуб почему-то попадались только хребты и плавники и ни разу того самого рыбьего мяса, которое, собственно, и называется селедкой.

С раннего утра мы вели непрерывное наблюдение за местностью. Но такой малоподвижный образ жизни показался лейтенанту Лукашову неоправданным, и он сказал, что надо выделить дозоры. Дозоры осмотрят местность в радиусе двух-трех километров вокруг нашей высоты и выяснят, нет ли признаков парашютистов.

Я слушал лейтенанта Лукашова, и в моих глазах, видимо, светилась такая мольба, такое желание загладить постыдный случай со стрельбой, что Лукашов, не колеблясь, указал на меня. Вместе со мной в один дозор был назначен Ваня Курилло, а старшим с нами пошел сержант Щенев. Вторым дозором командовал рыжеусый сержант Рагозин, пожилой молчаливый мужчина, единственный в нашей роте сержант, уже побывавший на передовой.

Что касается Щенева, то это был веселый, но нервный парень с необычайно звонким голосом. Он превосходно пел, забираясь по нотам на такую высоту, что я в восторге думал: ему бы не минометчиком быть, а петь в оперном театре. Правда, репертуар у Щенева был своеобразным: он славился

исполнением частушек «с картинками». Частушки Щенева пользовались огромным успехом, его приходили слушать даже из соседних рот. Это, конечно, характеризовало не с лучшей стороны не только исполнителя, но и слушателей, однако, как говорится, из песни слов не выкинешь.

Когда наш дозор под водительством Щенева отправился в путь, в неведомую долину, где за кустами и деревьями, возможно, прятались парашютисты, первым указанием нашего старшего было:

— Идти не в куче! А то всех за один раз перебьют, как куропаток!

Это указание настроило нас на серьезный лад, и мы за час прошли не больше, чем километр-полтора. Вокруг стояла тишина, легкий ветерок шевелил травы, доходившие нам до пояса. Мы осторожно продвигались вперед и нигде не замечали признаков человека: ни голосов, ни шума шагов, ни встревоженных криков птиц. Вдруг впереди, в самой низине, что-то зачернело, какое-то строение, вроде сарая.

— Кош! — шепнул сержант Щенев. — Сарай для пастухов. На карте обозначен.

Приблизившись к сараю метров на двести, мы минут десять наблюдали за ним. Никакого движения.

Щенев подумал-подумал, принял решение и приказал мне:

— Ты перебежками приблизишься к сараю, а мы с Куриллой будем прикрывать. Осмотришь сарай!

Ох, как мне хотелось остаться прикрывать кого-нибудь другого! Но приказ есть приказ. Тем более я не забыл, что на мне лежало моральное пятно, и я мог стереть его только личным бесстрашием, то есть решительным осмотром сарая.

Перебежками, от куста к кусту, я приближался к строению, каждую секунду ожидая, что настороженная тишина взорвется таким же выстрелом, как вчера вечером, с той лишь разницей, что, когда я услышу выстрел, мне надо будет еще успеть упасть на землю, чтоб пуля не попала в меня. Теоретически я уже тогда знал, что звук в воздухе распространяется гораздо медленней, чем летит пуля. Но мне казалось, что я успею упасть до того, как она пробьет мне грудь.

Между тем сарай молчал, и я наконец оказался у его стены. С пересохшими губами, сдерживая дыхание, я прислушивался к тому, что делалось внутри сарая. Ни звука. Осторожно выглянул я из-за угла, с карабином на изготовку, держа палец на спусковом крючке, — никого! Сквозь приоткрытую

дверь сарая на меня глядела непроницаемая даже в такой солнечный день темнота.

Что же делать? Зайти? А ну, как оттуда — в упор!.. Я по-дождал немного, потом поднял камень, швырнул его в дверь и отскочил за угол. Камень стукнулся об дверь, но в сарае — ни звука. Тогда я обогнул угол и осторожно заглянул в дверной проем. Внутри сарая высилась гора прошлогоднего сена, а посреди, подвешенный к балке, висел на цепях огромный, литров на триста, котел, весь в саже. Сквозь крышу сарая местами просвечивало голубое небо. Я бодро повернулся к моим товарищам, махнул рукой: все в порядке!

Когда Щенев и Курилло присоединились ко мне, мы второе еще раз внимательно осмотрели все вокруг и пришли к выводу, что нога человеческая давно уже не ступала в этих местах. Сарай находился в глубокой котловине. Рядом протекал ручей, который я, занятый ожиданием выстрела из сарая, ухитрился преодолеть, не заметив его. Щенев прошел вдоль ручья и вдруг удивленно присвистнул:

— Да здесь полно диких кабанов! Смотрите — следы!..

Мы и сами теперь заметили отпечатки раздвоенных копыт, взрытую землю. Видимо, у диких кабанов здесь был не только водопой, но и столовая, где они питались какими-то корнями.

Побродив вокруг сарая, мы решили возвратиться ко взводу: судя по всему, диверсанты здесь не бывали, а теперь, когда сюда пришли мы, они не появятся и подавно. Так мы и доложили Лукашову, когда вернулись в расположение взвода. Примерно то же сказал и сержант Рагозин, возвратившийся после нас.

Лукашов тотчас принял решение отправить к командиру роты донесение, в котором сообщал результаты осмотра, а также поставил в известность о продовольственном кризисе в нашем взводе. Учитывая сложность маршрута, донесение было отправлено все с тем же Щеневым, в помощь которому выделили курсанта.

Щенев ушел, и нас осталось на высоте двадцать восемь человек. К вечеру нам уже хотелось есть с мощностью двадцати восьми лошадиных сил. И тогда Ваня Курилло обратился к Лукашову с предложением:

— Товарищ лейтенант, может, поохотиться на кабанов? Все равно диверсантов здесь нет, так чего уж?..

Лукашов долго молчал. Он сидел у слабо дымившегося костра, в накинутой на плечи новой шинели. Поднял голову, долго глядел на садящееся солнце, а потом сказал мне:

— Пойдете вместе с Курилло.

Я отозвался:

— Есть!

Лукашов подумал еще немного и добавил:

— Смотрите там, в случае чего...

Я кивнул в знак согласия. Я не знал, что именно надо смотреть «в случае чего», но почти был уверен, что в долине никого нет и, значит, «в случае чего» не произойдет. Кроме разве встречи с дикими кабанами, но это еще неизвестно, произойдет ли такая встреча.

Уже смеркалось, и мы с Ваней Курилло, прихватив карабины и бушлаты, заторопились вниз. Два километра, которые днем мы шли два часа, были преодолены минут за пятнадцать. Тем не менее к сараю мы подходили уже в полной темноте: в низине смеркалось гораздо раньше, чем наверху. Темнота настораживала, к сараю мы подходили затаив дыхание. В каждой тени чудился то кабан, то диверсант.

Долго стояли и прислушивались, но, как и днем, ничто не выдавало присутствия людей. Наконец мы вошли в сарай. Ваня чиркнул спичку, чтоб убедиться, что никто здесь не притаился. Действительно, не притаился. После этого мы вышли из сарая.

— Где будем ждать? — спросил Ваня. — Нужно устроить засаду.

— Ты когда-нибудь охотился на кабанов? — в свою очередь полюбопытствовал я.

— Ни в жизни! — отозвался Курилло. — У меня дядя был охотник. На уток и зайцев.

Лично у меня даже дяди-охотника не было в роду. Все мои сведения о диких кабанах были почерпнуты в основном из книги о бароне Мюнхаузене, который, как известно, неоднократно сражался с этими зверями. Я подумал, что устраивать засаду у ручья не только поздно, но и опасно, учитывая свирепый, как утверждал достопочтенный барон, нрав кабанов.

— Надо забраться на крышу сарая, — робко предложил я, опасаясь насмешек со стороны товарища.

Курилло явно обрадовался этому предложению.

— Ну да! На крыше хорошо: кабаны не учуют, и мы их сразу увидим издали!

Сказано — сделано. Мы забрались на соломенную крышу сарая, удобно устроились и стали ждать. Кабаны не появлялись. В ожидании, когда добыча сама придет к нам в руки, Ваня Курилло стал мне рассказывать о своей любви.

У Вани было любвеобильное сердце. Мы служили с ним вместе всего четвертый месяц, но за это время Ваня успел влюбиться уже пять раз. Или даже шесть. Я же за это время не влюбился ни разу, если не считать Анну Николаевну Евсееву, да и то — Анна Николаевна совсем не в счет! . .

Одна Ванина любовь, например, была писарем строевой части нашего полка. Я ее видел много раз и тоже мог бы влюбиться, потому что это была ладная стройная блондинка (а мне блондинки тоже нравятся). Военная форма на этой блондинке лишь оттеняла ее прелести: сапожки подчеркивали округлость ее колен, а юбка плотно облегла плавную линию ее бедер. Что касается гимнастерки, то она так обрисовывала высокий бюст писаря строевой части, что, когда этот писарь шел по военному городку, глаза рядового, сержантского и офицерского состава невольно поворачивались в его сторону.

Еще до встречи с Анной Николаевной я, будучи в душе реалистом, сразу понял, что лично мне влюбляться в этого писаря нет никакого смысла. Я ее видел большей частью лишь тогда, когда был посыльным по штабу и, вооруженный веником, заходил в строевой отдел, чтоб подмести помещение. Естественно, что с веником в руках трудно рассчитывать на взаимность такого писаря, как эта блондинка. Кроме того, сержант Щенев, проводив ее однажды восхищенным взглядом, сплюнул и сказал:

— Эта девочка умеет постоять за себя собственной грудью. . .

Я не сразу понял глубину этого афоризма, а когда понял, влюбляться расхотел еще больше. Ваня же Курилло игнорировал подобные мелочи и несколько раз напросился вне очереди на дежурство в штабе. Каждый раз, возвращаясь с дежурства, он рассказывал мне восхитительные подробности общения с писарем строевой части. Впрочем, общение это, как признался Ваня мне сейчас, на крыше сарая, было чисто платоническим.

Собственно, и остальные четыре (или пять — хоть убей, не помню!) любви Вани Курилло отличались некоторой одно-

сторонностью. Он, например, познакомился однажды с продавщицей чуреков и тотчас же влюбился в нее. Замечу, кстати, что слово «чуреки» употребляется здесь вовсе не для восточного колорита, а лишь потому, что горячие лепешки, которые торговки продавали нам по десять рублей за штуку, так и назывались — чуреками.

Продавщицы чуреков встречали нас жизнерадостной толпой у железнодорожного переезда, когда мы возвращались в городок после занятий. Их расчет был неумолимо точен: молодой аппетит не мог дожидаться ужина в городке, хотя до столовой оставалось каких-нибудь пятьсот пар шагов. Измятые червонцы (у кого они были) переходили в руки продавщиц, а взамен курсантские руки обретали горяченькие, округлые, желтые кукурузные чуреки. И мало у кого хватало силы воли сберечь чурек до ужина, не впитаться в него сразу крепкими молодыми зубами.

С одной из этих продавщиц у Вани Курилло был роман, она продавала ему чуреки не по червонцу, а пару за пятнадцать рублей. Чтоб продлить радость общения со своей любовью, Ваня крупно задолжал товарищам: ежедневные покупки чуреков требовали немалых капиталов. Когда долг Вани Курилло достиг астрономической для солдата суммы в сто семьдесят рублей, все отказали ему в кредите. И тогда выяснилось, что любимая продавщица способна на общение с Ваней лишь на базе формулы «деньги — товар». Денег у Вани не было, и любимая отвернулась от него с безжалостным смехом. Она отдала свою ослепительную улыбку и горячие чуреки тем, у кого были червонцы. Такова была проза жизни в те далекие дни.

Я не стану рассказывать об остальных предметах его любви — все эти предметы были такими же реально-эфемерными. В их выборе сказывалась неосознанная тяга Вани к романтическому восприятию событий. Но восприятие восприятием, а в реальной жизни Ваня поступал достаточно прозаично: сошелся с поварихой из полковой кухни и ухитрился, при строжайшем внутреннем распорядке, под бдительнейшим оком командиров и начальников, отщипнуть достаточно полноценный кусочек личного счастья. Об этой реальной любви Ваня тоже рассказывал мне, лежа на крыше сарая, среди Кавказских гор, в ожидании, когда кабаны придут на водопой.

Не скажу, чтобы предмет разговора не волновал меня. Мне было интересно слушать его рассказ, но в то же время, примеряя к себе такое счастье, вынужден сознаться, что оно для меня было невозможно. Дело в том, что Ваня был прозаик при всей своей романтичности, а я, человек трезвый и рассудительный, оставался в душе романтиком. Я считал, что сперва должен найти ее — красивую, добрую, непременно умную девушку, познакомиться с ней, постараться понравиться, и только после этого следует влюбляться. Это и был настоящий романтизм.

Да и Ваню та любовь, о которой он мне рассказывал, удовлетворяла мало. Ему хотелось чего-то возвышенного, таинственного, а повариха склад ума имела практический и рассуждать о предметах таинственных, а тем более — возвышенных, отказывалась начисто. Ваню все это сильно сокрушало, и, рассказывая, он очень вздыхал, а я под Ванины вздохи неожиданно для себя задремал. Уснул и он, потому что когда я очнулся, то увидел, что Ваня лежит рядом, прикрыв ухо полой бушлата, и тихо похрюкивает во сне, как дикий кабан.

Небо было облачным, накрапывал дождик, и я растолкал Ваню:

— Пойдем в сарай, а то намокнем.

Он послушно спустился вслед за мной, мы зашли в сарай, зарылись в сено и преспокойно уснули, забыв о диверсантах, кабанах и о наставлениях лейтенанта Лукашова.

Все же выспаться в ту ночь нам не удалось. Дождь пошел сильный, и сквозь дырявую крышу на нас полились струи воды. Мы проснулись, на этот раз окончательно, и вышли из сарая. По предрассветному небу бежали тучи, но дождь прекратился. И тогда я увидел возле ручья какие-то движущиеся темные пятна, пять или шесть штук.

— Ваня, кабаны! — придушенным голосом (чтоб звери не услышали) прохрипел я.

Это действительно были дикие кабаны. Расстояние до них не превышало и сотни метров, но в предрассветных сумерках стрелять по ним мы не решились: наверняка промажешь...

— Надо зайти с подветренной стороны, — шепотом предложил я.

— Давай заходи! — также шепотом отозвался Ваня. — А я буду прикрывать отсюда.

У Вани уже появилась устойчивая привычка прикрывать других. Но осуждать эту привычку или протестовать против нее у меня не было времени. Я вогнал патрон в патронник, обежал вокруг сарая и, с шумом подминая заросли кустарника, спустился к ручью. Перейдя ручей, стал подниматься по склону небольшого бугра, который отделял меня от кабанов. На ходу я пытался понять, как иду — по ветру или против ветра. Видимо, все же я, хотя и бессознательно, шел против ветра, потому что мы вдруг наткнулись друг на друга: я на кабанов, а они на меня.

Нас отделяло метров десять — пятнадцать. Обе стороны замерли от неожиданности, а потом кабаны, как более сообразительные, сыпанули в разные стороны. Я вскинул карабин и пальнул вдогонку. По-моему, я ни в кого не попал, потому что темно-коричневые звери метались как угорелые по всему склону, прорываясь сквозь заросли кустарников и трав. Я выстрелил еще раз, еще. Издали из прикрития палил Ваня Курилло, и я опасливо оглянулся: не по мне ли он пуляет?

Треск кустов затих вдали. Как говорится, «финита ля комедия»! Поохотились...

Я с досады даже сплюнул: ведь рядом же, рядом стояли! Ну почему я замешкался, когда они были от меня в двух шагах?

Тяжело дыша, прибежал Ваня Курилло с карабином на изготовку.

— Попал? — спросил он, переводя дыхание.

— Ну да, попал! — горестно произнес я.

— Ты их сразу распугал! — упрекнул меня Ваня. — Мне было и не прицелиться!

— Сам бы пошел, а не прикрывал меня! — огрызнулся я.

Мы медленно поднимались вверх по склону. По небу ползли сумрачные тучи. Светало. И вдруг я увидел неподалеку на траве что-то светло-коричневое, похожее на бревно. У меня дрогнуло в груди. Я шагнул туда и... это лежал брюхом вверх, растянувшись во весь рост, дикий кабан. Он был недвижим.

— А это... это... — начал было Ваня, судорожно глотнул воздух и умолк.

Держа палец на спусковом крючке, я опасливо приближался к кабану, но он оставался неподвижным. Пуля пробила ему голову.

Ого-го! Это был кабан, скажу я вам! Пудов на восемь, наверное. Недаром я сперва принял его за бревно! Неужели это мы, мы подстрелили такого? Ай да мы! Ай да охотники!

— Что мы с ним будем делать? — спросил Ваня, пытаюсь перевернуть его на брюхо. — Нам его не поднять!

Я не знал, что мы будем делать. Я знал только, что у нас было задание убить кабана и мы это задание выполнили. Вот и все.

— Надо доложить лейтенанту, — решил я наконец.

— Он, наверно, и сам уже догадался, такую мы пальбу открыли!

— Все равно надо доложить.

— А вдруг кабана сожрут звери, пока мы ходим? — высказал предположение Ваня.

— Так мы ж сразу вернемся!

Только мы тронулись в путь, как услышали топот и голоса, что накатывались с горы: это бежали нам навстречу три наших курсанта во главе с ефрейтором Позднышевым.

— Вы? — окликнул нас издали Позднышев. — Живы?

— Живы.

— Что вы тут стрельбу подняли?

— Ухлопали кабанчика пудов на десять! — скромно заявил Курилло.

— Брешьешь?

— Собаки брешут! Вон он лежит!

Все вместе мы пошли назад.

— Лейтенант там икру мечет, — плутовато поблескивая круглыми серыми глазами, рассказывал Позднышев. — Вы такой шум подняли, что мы все по тревоге вскочили!..

Кабан лежал там, где мы его оставили.

— Хорошая скотинка! — одобрил Позднышев и тут же деловито предложил: — Надо ему кровь спустить!

Если собираются вместе три солдата, то, видимо, нет такой работы, которую они не умели бы делать. Позднышев оказался специалистом по разделке кабаньих туш, словно занимался этим всю свою сознательную жизнь. Мы перетащили кабана к сараю. Когда Позднышев увидел котел, он прямо-таки пришел в восторг.

— Живем, братцы! Кабанчика разделаем и сразу кой-чего сварим, чтоб не таскать зря тяжесть наверх. Да там, наверху, и котла такого нет, чтоб сварить на всех!

Он принялся хлопотать возле туши, а я сказал Ване Курилло:

— Оставайся с ними, я пойду доложу лейтенанту.

Доложить Лукашovu мне казалось настоятельной необходимостью по следующим причинам: во-первых, выполнил приказ — доложи (это как по уставу); во-вторых, я считал, что хоть как-то загладил свой злополучный проступок — выстрел на сопке. Мне хотелось лично услышать из уст командира взвода прощение и похвалу.

Лукашова я застал все на том же месте — у костра. Он сидел в новенькой своей шинели, которая, впрочем, уже пообмялась и приобрела едва уловимые признаки заношенности. Выслушав мой доклад, Лукашов не простил и не похвалил меня. Он помолчал, подумал, потом сказал:

— Вы отдыхайте, а Позднышеву надо передать, пусть тащат кабана сюда: нечего там разводить цыганский табор! Надо послать кого-нибудь, пусть возвращаются немедленно.

Желающих передать приказ командира оказалось неожиданно много: курсанты с любопытством прислушивались к моему докладу и теперь, вероятно, хотели проверить, соответствует ли он истине. Лейтенант остановил свой взгляд на толстом, вечно сонном лице нашего «рыцаря швабры» — Фомина и приказал пойти вниз, к Позднышеву. Фомин кинулся выполнять приказ с несвойственной резвостью, а вслед ему глядели завистливые глаза товарищей.

Минут через пятнадцать, видя, что снизу не появился никто, Лукашов послал туда фоминского товарища по швабре — Третьякова. Третьяков должен был категорически потребовать от Позднышева бросить все дела и вместе с кабаньим мясом возвратиться в распоряжение взвода. Третьяков молниеносно исчез, растаяв, как призрак, в высокой росистой траве.

Поднялось солнце, стало тепло, но Лукашов все кутался в шинель, сидя у костра. Когда спустя полчаса снизу никто так и не пришел, лейтенант наконец возмутился. Он подозвал Ваню Перибайлова и приказал:

— Немедленно вниз, и передайте Позднышеву: если он через десять минут не будет здесь, я посажу его на двое суток на гауптвахту!

Ваня Перибайлов неторопливо поправил на себе снаряжение, повернулся кругом через левое плечо и так же не торопясь ушел к Позднышеву.

Урочное время истекло, а снизу не доносилось ни звука, не замечалось никакого движения. Лукашов рассвирепел, хотя обычно его не выводили из равновесия различные неполадки. Но сейчас его распоряжения как бы вязли в росистой зелени высокогорного пастбища: отказал механизм обратной связи, не выдавая ему никакой информации. Оставалось загадкой, что же происходит там, внизу. События приняли оборот, напоминающий приключения астронавтов на неведомой планете: планета бесследно поглощает одного за другим членов экипажа, а командир бессилён предотвратить гибель команды.

Лукашов не хотел быть бессильным. Он послал вниз сразу двоих курсантов, увеличив угрозу пребывания на гауптвахте до пяти суток. Результат был тот же — никаких результатов!

В расположении взвода оставались часовые да несколько спящих курсантов, которые только сменились с постов. Остальной личный состав взвода исчез внизу, в буйном сплетении трав и кустов. И тогда Лукашов решился на крайнее средство. Он сказал мне, как самому надёжному:

— Идите поторопите их.

Я заспешил вниз и на полпути встретил некое подобие крестного хода: впереди шли четыре курсанта, неся каждый на спине кабанью ногу. Следом за ними шли двое и несли на палке кабанью спину. А завершали это шествие остальные курсанты во главе с Позднышевым, которые тащили на толстом дрине котел с мясной похлебкой. Увидев меня, все как по сигналу остановились. Позднышев с некоторым беспокойством, которое с трудом читалось в его сытом взгляде, поинтересовался:

— Что Лукашов, ругается?

— А ты думаешь, хвалит? — вопросом на вопрос ответил я.

— Мы тут сварили потроха, вот и решили нести наверх вместе с котлом!

Пока мы разговаривали с Позднышевым, остальные участники этой процессии собрались вокруг котла с ложками и стали вылавливать в нем куски мяса. Я был оскорблен этим зрелищем до глубины души. Я, основной добытчик диких кабанов, сижу как дурак голодный со вчерашнего дня, а эти бессовестные потребители жрут плоды моих трудов! А каково их товарищам, которые в это время бдительно несут службу на постах? Чем они хуже этих оглоедов?

Возмущению моему не было предела. Но тут Ваня Перибайлов, подцепив ложкой изрядный кус мяса, протянул его мне:

— На, съешь!

Слова упрека застряли у меня в горле. Я не мог отказаться, я принял из рук Перибайлова благородный дар.

До сих пор помню дивный вкус этого мяса, нежность и податливость его, аромат каких-то кавказских трав, которые Позднышев, уроженец донских степей, сумел найти и положить в котел, когда варил похлебку. К сожалению, великолепное впечатление от еды портило отсутствие соли в ней, но мне было не до таких тонкостей.

Подкрепившись, процессия снова двинулась вверх. Подъем происходил медленно, мы еще раз останавливались и собирались вокруг котла. А когда предстали перед лицом своего командира, то полностью осознали, что сейчас над нами прогремит гроза небывалой силы и придется расплачиваться за неумеренное чревоугодие.

Однако, пока мы совершали свое восхождение на Голгофу, произошло важное событие: возвратился сержант Щенев с курсантом. Они вдвоем принесли нам суточный паек продовольствия и приказ лейтенанта Гири немедленно возвратиться в аул. Пока мы тут прохлаждались и охотились на диких кабанов, первый взвод обнаружил парашютистов. Произошел короткий злой бой, диверсанты отстреливались до конца, и пришлось всех их уничтожить. Первый взвод потерь не имел, лишь одному курсанту осколком камня поцарапало нос.

Эта лавина новостей, принесенная Щеневым, разрядила обстановку в нашем взводе: Лукашов никого не стал отчитывать или наказывать. Что касается меня, я испытывал тревожную зависть к тем, кто служил в первом взводе: пока мы занимались глупой охотой на кабанов, мои сверстники из первого взвода успели получить настоящее боевое крещение. Они уже примерили себя к тому, что ждет нас всех впереди, — к встрече с врагом на поле боя. И они выдержали испытание, а я?..

Выслушав Щенева, Лукашов, рассеянно глядя на котел с похлебкой, распорядился:

— Приступить к завтраку. В десять ноль-ноль уходим!

В тот же час высота 941,2 из Голгофы превратилась в Олимп, и началось пиршество богов, тем более что в принесенном Щеневым пайке была соль. Мы досыта наелись,

похлебал из котелка и Лукашов. А когда настала пора уходить, мы вдруг обнаружили, что груз, который нам предстояло перенести, удвоился за счет кабаньего мяса.

Пришлось нам в тот день попотеть! Я проклинал тот час и миг, когда мы застрелили кабана. От перехода по горам у меня в памяти осталось лишь ощущение черной по цвету жары, ноющей боли в плечах и пояснице и ничем не утолимой жажды. Десять километров, отделяющих нас от аула, тянулись, казалось, бесконечно.

А когда мы спустились в аул, то увидели, что вся рота уже в сборе. Они сразу накинулись на нас:

— Где вас черти по горам носят? Идти надо, а они где-то бродят!..

Лукашова сразу вызвал к себе лейтенант Гирия: оказывается, через десять минут выступаем!

Вот так раз! Мы, едва живые от усталости, дотащились до аула, а нам говорят: в путь...

Как только дали команду «разойдись!», мы побросали свою поклажу и разбежались кто пить, кто переобуваться, кто по другим неотложным делам. Мы разбежались, зато груз свежего кабаньего мяса привлек внимание наших товарищей из соседних взводов. Они окружили эти ноги и эту спинку, в ход пошли ножи, и мясо постепенно стало исчезать в глубинах солдатских вещмешков. Мы же, третий взвод, с беззаботностью сытых людей смотрели, как расхищается наше богатство. И даже радовались, что не надо нести эту дополнительную тяжесть. О сытые! Как скоро вы забываете минуты голода, как ошибочно вам кажется, что ваше сытое состояние будет длиться бесконечно долго! Скоро, скоро это заблуждение рассеется, но пока что вы, сытые, равнодушно смотрите на расхищение добытого вами мяса!

Когда раздалась команда лейтенанта Гирия «рота, строиться!», на траве оставалась лежать одна-единственная задняя нога кабана, порядочно остроганная солдатскими ножами, но все же сохранившая в себе килограммов пять весу. Эта нога, лежавшая на траве обочь дороги, уже не привлекала курсантского внимания. Но лежала она уж очень на виду у роты, построившейся посреди улицы. Ее-то и заметил сразу лейтенант Гирия. Его красивые брови высоко взлетели на лбу, Гирия спросил удивленно:

— А это что такое?

Народ безмолвствовал. На повторный вопрос командира роты ответил наконец Лукашов:

— Третий взвод убил дикого кабана.

Изумлению Гири не было предела.

— Так это — мясо? Ну, товарищи, так нельзя! Нельзя, товарищи! Почему его бросили?

— Тяжело, говорят, нести...

Гиря был оскорблен.

— Ну, товарищи! В такое время! Когда каждый кусок хлеба на счету?! Это — безобразие! Я, когда был на фронте, никогда не... никогда... Надо взять мясо! Нести по очереди! Я сам понесу! Как можно, как можно? Лейтенант Лукашов, выделите двух человек!

Лукашов вышел из строя, осмотрел взвод своими близорукими черными глазами, подумал и сказал:

— Сержант Щенев, выделите!

Щенев тотчас же вызвал из строя меня с Ваней Курилло и приказал:

— Взять ногу!

Я не думаю, что Щенев выбрал нас, чтоб отучить меня и Ваню Курилло от охоты на диких кабанов. Я склонен считать, что наши имена подсознательно запечатлелись в щеневском мозгу в сочетании с фактом убийства дикого кабана. И все же, назвав нас, Щенев добился замечательного эффекта: с тех пор я больше ни разу в жизни ни на кого не охотился.

Мы вышли из аула сразу после обеда и, пока солнце не село, прошли километров пятнадцать. Потом наступила ночь, и в темноте мы прошли еще километров пятнадцать. Если учесть, что наш взвод до этого совершил марш по горам, то можно понять, почему к полуночи я уже шел как в бреду. Темные скалы, нависшие над нами, каменная дорога, на которой наши кованные ботинки то и дело высекали искры, размеренное безостановочное движение солдатской массы, которое захватывало, словно движение воды в реке, — все это слилось в причудливую фантазмагорию, подобную тяжелому сновидению. Несмотря на усталость, ты, как заведенный механизм, переставляешь и переставляешь пудовые ноги, и в этом механическом движении любая остановка была труднее, чем бездумное, безостановочное движение вперед.

Несколько раз я вздрагивал и ловил себя на том, что сплю на ходу. Когда объявляли малый привал, мы падали на

обочину дороги, а сознание наше проваливалось в темноту. Но это длилось (казалось нам) не больше секунды, потому что тут же звучал зычный голос лейтенанта Гири:

— Рота, встать! Строиться!

И мы снова двигались вперед. Путь, который два дня тому назад мы проехали на автомашинах, теперь не имел конца. Кто-то спросил, куда же делись те машины, что привозили нас, и почему их сейчас нет. На подобные вопросы ответа обычно не бывает. Во всяком случае, практика учит: если тебя забросят туда, то оттуда ты и сам придешь.

Как бы то ни было, мы тешили себя фантастическими надеждами, что вон там, за поворотом, нас ждут не дождутся автомашины, которые отвезут нас в родной военный городок. Повороты, однако, миновали один за другим, а машины не появлялись. К полуночи мы добрались до какого-то населенного пункта и остановились возле обширного строения, похоже—возле школы. Был объявлен привал до утра. Мы повалились на землю кто где и тотчас уснули.

И сразу наступило утро. Было оно ясное, солнечное, с бодрящей свежестью. Мы активно доедали наш сухой паек, когда за лейтенантом Гирей пришел «виллис». Гиря отдал необходимые указания командирам взводов, сел в машину и вдруг вспомнил:

— Да, а где же нога? Ну, эта, кабанья нога?

На этот раз нога не оставалась безнадзорной, ее берег, завернув в листья крапивы и лопуха, ефрейтор Позднышев. Он тотчас же явился на зов лейтенанта Гири. Видя такое служебное рвение Позднышева, Гиря предложил ему сесть на заднее сиденье «виллиса» и охранять ногу до самой квартиры лейтенанта. Так была вознаграждена добродетель ефрейтора Позднышева. Скромно потупив нахальные глаза, Позднышев забрался в машину, и «виллис» уехал. А за нами вскоре пришел старенький «зис», один на всю роту. Лейтенант Лукашов разъяснил ситуацию:

— Сейчас погрузится первый взвод, остальные пойдут пешком. Потом машина вернется, заберет еще один взвод, отвезет и вернется за остальными.

С первым взводом должны были уехать все больные, хромые, с потертостями ног. Подобных страдальцев оказалось так много, что половину первого взвода пришлось оставить. Борта кузова трескали от напора людских масс, а шофер не находил слов, чтоб выразить свое негодование по поводу че-

ловеческого бесстыдства и издевательства над техникой. Наконец из мешанины усилий, волнений, нервов, матерщины сложилась равнодействующая, которая стронула «зис» с места и толкнула его в нужном направлении по дороге. А мы пошли по той же дороге пешком.

Ноги наши все еще болели, но идти было несравненно веселей, чем ночью. Скоро мы дошли до пересечения с шоссеиной дорогой. Здесь наблюдалось оживленное движение. Мы остановили попутную машину, которая шла в столицу с пустым кузовом. Тотчас же кузов был заполнен курсантами, и наша походная колонна уменьшилась почти вдвое. Потом от колонны начали отрываться отдельные молекулы из двух-трех курсантов, которые, напутствуемые командирскими указаниями, исчезали в голубой дали. А потом возвратился пустой «зис», прихватил оставшихся, так что к полудню мы оказались у стен родного городка.

Встречали нас без оркестра, но нам и не нужно было этого. Нам нужна была баня, еда и постель. Баню нам устроили, спать разрешили не ожидая отбоя, а насчет еды оказалось, что паек свой мы уже съели на день вперед. Вот когда припомнились нам кабаньи окорока, вот когда было наказано наше сытое зазнайство! Ну, да что там вспоминать? Всяко бывало...

Я уже упоминал, что офицеры у нас менялись часто. Так, вскоре после нашего возвращения из экспедиции в горы полковник Тавадзе уехал на фронт, а на его место прибыл новый командир полка. Это был плотный седеющий мужчина в синей кавалерийской фуражке — подполковник Горовой. Вид у него был ладный, крепкий, лишь иногда его голова непроизвольно подергивалась. Солдатская молва приписывала это подергивание контузии, которую Горовой получил в одной из лихих кавалерийских атак.

На другой день после его приезда полк был разбужен необычной мелодией, которую нежно выводил трубач вместо положенного сигнала «Подъем». Что за черт? Дежурные по ротам подняли свои подразделения, но оказалось — зря: сигнал этот назывался «Побудка» и был предназначен, кажется, для чистки лошадей и уборки конюшен. Сигнал «Подъем» прозвучал через пятнадцать минут, но, опять же, это был не

привычный нам сигнал, а какой-то незнакомый. Тоже, должно быть, связанный с лошадьми.

Мы еще не успели понять, к худу это или к добру, как оказалось, что весь полк должен бежать на физическую зарядку в одно и то же место — на плац. Там уже ждал подполковник Горовой с оркестром. Вот тогда и началась зарядка: оркестр наяривал легкомысленный фокстрот, три тысячи курсантов бегали по кругу, а Горовой отдавал команды, которые были слышны лишь тем, кто находился рядом с ним.

На зарядку ушло минут сорок, и потому мы опоздали на завтрак. А когда завтрак кончился, весь полк снова был выстроен на плацу: наш новый командир определенно любил командовать войсками в крупных масштабах. Оказалось, нас собрали для изучения сигналов. Горовой громким голосом объявлял название сигнала, трубач трубил, а мы должны были запоминать его. Три тысячи курсантов во главе с офицерами стояли в строю и запоминали.

Однако такое пассивное обучение скоро перестало нравиться самому Горовому, и он решил проверить, как полк ходит в строю. Ходили мы недостаточно хорошо, да еще плац показался Горовому неровным, так что срочно пришлось заняться выравниванием дорожек. Прежде чем приступить к работе, мы составили оружие «в козлы». Но тут оказалось, что не у всех курсантов есть колечки из бечевки, при помощи которых составляют оружие «в козлы». В силу этих причин весь полк в течение часа обучался, как делать такие кольца.

Потом мы разравнивали плац. Нет ничего более легкого, чем разравнивать плац. Мы счищали бугорки, засыпали ямки, подбирали камни и относили их к ограде, подолгу ожидали, когда ездовые привезут на телегах песок... Нет ничего хуже работы, в которой не чувствуешь необходимости: такая работа превращается в незаслуженное наказание.

— Служба, называется! — ворчал Позднышев, с ожесточением пиная ногой камни. — Люди воют, а мы — маршируем!..

— Союзники — и те зашевелились! — серьезно поддержал его Митя Чувелев и показал клочок газеты, из которой собирался завернуть сигарку. — Вон в газете пишут: «Наступая с возвышенности севернее Сен-Андре-сюр-Орн, пехота союзников захватила эту деревню». Понял? Наши взяли Львов, а союзники — деревню Сен-Арсен-сюр-пур!..

Сержант Рагозин, человек обычно молчаливый, вдруг заговорил:

— Куда вы ребята торопитесь — воевать! Успеете еще, хлебнете! Всё вам награды хочется получить, подвиги сделать! А война — это страшное дело, ребята. Тяжелое дело.

К Рагозину мы прислушивались с уважением, потому что на груди у него была медаль «За отвагу» и был он уже дважды ранен. Правда, о себе он не любил рассказывать, и вообще он не столько командовал отделением, сколько плотничал на различных хозяйственных постройках в полку. Будучи гораздо старше нас, он лишь посмеивался, слушая наши речи о фронте. Но сейчас ему захотелось поделиться своими соображениями на сей счет. Завернув из махорки сигарку, он высек при помощи огнива, кремня и трута огонь, закурил и сказал:

— Вы говорите: при Тавадзе такого не было. Сейчас, мол, хуже. А того не понимаете, что такое раненый человек. Или контуженный. У меня был земляк, Самохин Петро Арсентьевич, из одной деревни. Через две избы от меня жил. Вот однажды мы попали под артоналет. И место, скажу вам, укрыться можно, да немец жарит и жарит снарядами. Вокруг — камни такие огромные, валуны — мы и попрятались. Я залез под камень, а Петро между двумя валунами щель нашел, забрался туда. И что ж ты думаешь? Снаряд прямо в этот валун попал — аж зазвенело вокруг! Кончился артоналет, мы выбрались на дорогу. Вижу, идет Самохин, улыбается, что-то говорит. «Ну, как, — кричу ему, — Петро, жив?» А Петро улыбается и говорит какие-то слова: «Матрена, — говорит, — картошку ставь!..» Меня даже оторопь взяла! Вдруг Петро засучил ногами на одном месте, его и повело, повело, все назад, назад!.. Да все по кругу. Потом завалился наземь — кровь из ушей пошла! Мы его скорей на руки, на носилки, в медсанбат отправили. Да только не довезли.. Снаряд, видишь, как ударил в камень — вся ударная волна и пошла на Петра. Мы на земле лежали, нам не так, а ему сразу — все в голову! А вы говорите: на фронте да на фронте!..

Мы притихли, слушая Рагозина, и даже Щенев ничего не сказал. Один только Позднышев отнесся к рассказу бывшего солдата с улыбкой.

— А, товарищ сержант! — сказал он беспечно. — Не каждая пуля — да в грудь! Которая попадет, а которая и мимо! Только я в минометчиках не хочу: сразу засекут. Минометчиков

дуже скоро на прицел берут. Мне бы в разведку попасть — вот красота!

Рагозин курил, выпускал дым из-под своих рыжих усов и вроде не слышал Позднышева.

— Сержант Щенев! — послышался оклик Лукашова. — Почему прекратили работу?

— А ну, по местам! — скомандовал Щенев.

Мы снова принялись разравнивать плац.

День был для нас трудным. Но и следующий день, суббота, оказался нисколько не легче. Все специальные занятия с минометами, пушками, пулеметами были отменены, полк снова вывели на плац. Большинству подразделений предстояло заниматься строевой подготовкой, некоторым — физической, другим — рукопашным боем. Горовой ходил между взводами и личным примером учил курсантов. Тем, кто занимался строевой подготовкой, он показывал, как нужно тянуть носок. Тем, кто прыгал через «коня», он, опустив ремешок кавалерийской фуражки под подбородок, показывал, как надо прыгать. Причем делал это он так лихо, что можно было бы любоваться им, если бы не угнетало сознание, что сейчас он и тебя заставит повторить прыжок. Но больше всех досталось тем, кто занимался рукопашным боем, и такими несчастливцами оказались, конечно же, курсанты нашего третьего взвода.

Кто служил в армии, тот знает эти бесконечные «Длинным коли!», «Влево отбей!», «Сверху прикладом бей!». Перед курсантом, вооруженным винтовкой со штыком, стоит чучело, и тут же рядом находится второй курсант с длинной палкой в руках, которой он имитирует укол противника. Задача состоит в том, чтобы первый курсант, отбив «нападение» противника, нанес укол в чучело. Дело это нехитрое и, по существу, имеет мало общего с настоящей рукопашной схваткой. Горовой справедливо заметил, что подобное обучение слишком схоластично. Он решил лично показать, как надо обучать курсанта штыковому бою. Взяв в руки винтовку, Горовой приказал курсанту Фомину, что стоял с палкой у чучела:

— Ну-ка, бей меня палкой! Бей, не бойся!

Скорее всего, в настоящем бою, когда речь идет о жизни и смерти, Фомин постарался бы нанести противнику удар с полной силой. Но сейчас перед ним стоял командир полка, и в сонных глазах Фомина было заметно недоумение, смешанное с испугом. Удар, который он нанес, был элегантно-

вежливый. Горовой отбил этот удар так ловко, что палка вылетела из рук смущенного Фомина.

— Держи крепче! — потребовал подполковник. — Бей еще раз! Сильней!

На этот раз Фомин ткнул шестом сильней, но и этот удар не удовлетворил Горового.

— Разве так бьют? — возмутился он. — Возьми винтовку, я покажу, как надо бить.

Они обменялись орудиями обучения, Горовой встал с шестом у чучела и приказал Лукашову:

— Лейтенант, команду!

Лукашов близоруко сощурил глаза, откашлялся и бархатным голосом пропел:

— Влево отбей — длинным коли!

По этой команде Горовой ткнул Фомина палкой с такой быстротой, что тот едва увернулся от удара.

— Отбивайся! — крикнул Горовой.

Побледневший Фомин стоял неподвижно, его колотила крупная дрожь.

— Отбивайся, кому говорят! — загремел Горовой и поднял свой шест, как копьё.

Фомин дрогнул и... побежал.

Горовой сорвался с места вслед за ним и, стараясь на бегу достать Фомина палкой, кричал ему:

— Защищайся! Кому говорю — защищайся!..

Но Фомин явно не собирался выполнять это приказание, он мчался, как заяц, по плацу. Полк затаив дыхание наблюдал за невиданным соревнованием.

Годы взяли свое: Горовой вскоре отстал, а Фомин улепетнул напрямиком в казарму.

Командир полка остановился, перевел дух, вытер белоснежным платком пот со лба и возвратился к нашему взводу.

— Если бы я не в этих сапогах был, я догнал бы его обязательно, — сообщил он с сожалением и тут же деловито попенял Лукашову: — А вообще, лейтенант, плохо ты готовишь бойцов: не солдаты, а кисейные барышни! Очень низкие волевые качества. Завтра весь день занимайтесь рукопашным боем.

Завтра было воскресенье, и мы весь день занимались рукопашным боем. Но уже с понедельника что-то изменилось: мы снова, как при полковнике Тавадзе, вышли в поле с минометами. Видно, методы Горового не соответствовали плану

боевой подготовки. Поговаривали, что возврату к старому способу занятий содействовал замполит полка. Но так ли это было, мы не знали. Тем более что через неделю Горовой уехал от нас навсегда. А на его место прибыл новый командир полка. Это был средних лет мужчина с малоприметным бледным лицом, в выцветшей гимнастерке с погонами полковника на плечах. Вел он себя скромно, ни на кого не кричал, да и голос у него был совсем не такой зычный, как у Горового. Он ни за кем не гонялся, и я не уверен, что он смог бы перемахнуть через «коня». Выступая в первый день перед строем полка, он сказал:

— Товарищи курсанты! Фронту нужен сержантский состав. Красная Армия вступила в Восточную Пруссию, осталось сделать еще одно усилие, чтоб покончить с фашистским зверем. Но это усилие очень тяжелое, оно потребует от нас с вами пота и крови. Вы будущие сержанты, именно вам предстоит вместе со всей армией добить зверя в его логове. Для этого нужно уметь воевать. Очень скоро фронт поставит каждому из вас отметку, чему и как вы научились здесь, в учебном полку. Поэтому у меня к вам будет одна просьба, товарищи курсанты: учитесь хорошо!

Так, довольно необычно для нас, говорил этот малоприметный с виду человек, в присутствии которого, однако, даже невозмутимый подтянутый майор Мойзес становился еще более подтянутым. Мы из его речи сделали один вывод: скоро на фронт! На занятиях с нас потекло в два раза больше пота, а через три недели мы выехали в лагеря на боевые стрельбы.

Для тех, кто не знает, что такое минометные стрельбы, следует рассказать, как устроено это оружие. Главная часть миномета — ствол, похожий на трубу (недаром в армии минометчиков называют самоварщиками). Сунешь в эту трубу, хвостом вниз, увесистую рыбину-мину и слышишь, как она не очень быстро, но и не слишком медленно опускается по стволу, с шипеньем выдавливая воздух. Сползет вниз, тукнется капсюлем о боек и мгновенно, со звонким, оглушающим барабанную перепонку «бам-м!», вылетает из ствола. По небу мина летит неторопливо, с негромким шелестом — за ее полетом, по крайней мере в начальной стадии, можно следить невооруженным глазом. Затем вдали взлетает вверх земля, клубы дыма и пыли, в которых полыхнет пламенем, и только потом доносится звук взрыва. А ты глядишь в бинокль и определяешь, сколько надо довернуть:

— Правее ноль-двадцать!

Или:

— Левее ноль-десять!

И так далее, пока не накроешь цель.

Боевые стрельбы мы провели хорошо, и меня наградили значком «Отличный минометчик».

Мы возвратились из лагеря в городок, и тут мне вручили письмо от матери, в котором она писала, что в боях за город Витебск мой брат пал смертью храбрых за честь и независимость нашей Родины. Отец мой погиб еще в сорок первом году, и я, получив это письмо, понял, что наступил мой черед.

Не то чтобы я был фаталистом, но я знал, был твердо уверен, что меня тоже не минует вражеская пуля или снаряд. И моей единственной заботой, моим беспокойством было только одно: как бы не оказаться трусом. Я смотрел на моих товарищей — нам уже присвоили сержантские звания, в штабе день и ночь сидели писаря, составляя необходимые документы для маршевых рот, — и ни в ком из моих однокашников не видел страха, трусости, желания спрятаться за чью-то спину. Некоторые куражились: «Надоела эта муштра, скорей бы на фронт!» Но большинство принимало предстоящую отправку на передовую как продолжение службы, то есть работы, которую за тебя никто не сделает.

Я глядел на товарищей и спрашивал себя, неужели я струшу, если никто из них не выказывал страха. Но если все могут, значит, и я смогу!..

Однажды вечером, в конце августа, лейтенант Лукашов, придя в казарму, попросил меня взять вещевого мешок и помочь ему донести до квартиры полученный на складе дополнительный паек, который выдавали офицерам. Я пошел с Лукашовым, и мы получили паек — масло, печенье, консервы. Всего этого добра оказалось так мало, что я удивился, зачем Лукашову нужен помощник.

Когда мы вышли за ворота городка, Лукашов заговорил со мной так, будто продолжал давний разговор:

— Вы на фронт не поедете, останетесь в полку. В вас есть необходимые качества, и я считаю, что вы будете хорошо учить новое пополнение.

Я ожидал всего, только не этих слов.

— Как же так, товарищ лейтенант, — вырвалось у меня, — что подумают ребята? Все будут воевать, а я?..

Лукашов окинул меня взглядом своих влажно-черных глаз и промолвил, не глядя на меня:

— Вы, вероятно, думаете, что вы один такой хороший и потому вас оставляют в полку? Я должен вас разочаровать: только из нашей роты остается шестнадцать человек, а из батальона — больше полусотни. Война не кончилась, и учить новых курсантов тоже кому-то надо. Не скрою, вашу фамилию предложил я: у вас уже есть некоторый опыт, думаю, и впредь у вас будет получаться хорошо.

Мне было лестно слушать Лукашова, и в то же время я испытывал угрызения совести. Если говорить начистоту, выходило, что я не уеду на фронт лишь потому, что Лукашов хорошо относится ко мне. А это, знаете ли, пахивает проекцией!..

Я высказал ему все напрямик. Лукашов улыбнулся своей рассеянной мягкой улыбкой:

— Вы более наивны, чем я думал. Остаться вам здесь или быть там — зависит вовсе не от вас и не от меня. Скажу по секрету, что все мы, офицеры роты, тоже уходим на фронт. Так что моя роль в этом невелика.

А я все думал, как буду глядеть теперь в глаза Вани Перибайлова, который уедет на фронт. Что будет думать обо мне сержант Щенев? А Позднышев, Фомин?..

Лукашов, кажется, понимал, что происходит в моей душе.

— Не переживайте, — сказал он мне добродушно, — война не кончилась. Впереди еще много крови. Не попадете в этот раз — будет еще другой. Не казните себя и не думайте, что лейтенант Лукашов очень добрый. Вообще-то, я совсем не добрый, скорей бессердечный, но вам этого еще не понять. Да и не надо понимать.

Тут он остановился и сказал:

— Возвращайтесь в казарму, я сам донесу мешок. Здесь близко.

Он пожал мне руку и пошел прочь, загребая сапогами мягкую, как мука, дорожную пыль. Я постоял-постоял, глядя ему вслед, и побрел назад в городок. Была уже ночь, высоко над головой сияла полная луна. Рядом со мной по дороге двигалась моя укороченная тень, и я почему-то подумал, что человеку не дано наступить ногой на собственную тень...

Назавтра произошел раздел: тех, кто оставался, отделили от тех, кто уходил. Через день те, кто должен был уйти, ушли.

Накануне мы, остающиеся, человек десять, ходили в штаб полка к майору Мойзесу с просьбой отправить нас на фронт.

Майор, выслушав нас, вынул трубку изо рта и негромко произнес:

— По своим подразделениям... — И вдруг рывкнул: — ...шагом марш! И чтоб я больше не видел никаких делегаций!

Нам даже не удалось проводить товарищей до вокзала, потому что всех нас разослали в наряды — кого в караул, кого на кухню, кого работать на складе. Я все же проводил роту до контрольно-пропускного пункта. Ваня Перибайлов хмурил свое веснушчатое лицо и был печален. Рыжеусый Рагозин, прощаясь со мной, смахнул с глаз слезу:

— Эх, думал, на этот раз минует! Не миновало!..

Щенев заразительно хохотал, пел частушки, приплясывал, да так лихо, что все вокруг покатывались со смеху. Я подошел к лейтенанту Лукашову, тот взглянул на меня рассеянно. Иссиня-черные щеки его были тщательно выбриты, и сам он выглядел даже подтянуто. За плечами у него, как у всех маршевиков, был солдатский вещевой мешок.

— Писать не буду, не люблю! — заверил он меня, хотя о письмах я даже не заикался. — Прощайте!

А Щенев озорно подмигнул мне:

— Теперь ты воюй с лейтенантом Гирей!..

Из всех офицеров роты только Гиря оставался в полку. Провожать маршевиков он не пришел — может, дежурил где.

Маршевые роты под рыдающие звуки оркестра одна за другой направились к выходу из городка. По ту сторону ворот собралась немалая толпа местных жителей, большей частью — жительниц. Я видел заплаканные лица женщин. По мере того как ротные колонны выходили из ворот, то одна, то другая женщина кидалась к строю, подхватывала кого-то под руку. Никто из старших начальников не вмешивался в это нарушение строевого устава.

И вдруг я увидел Анну Николаевну Евсееву, мою мечту и любовь лейтенанта Лукашова. Она была в светлом макинтоше, с непокрытой головой, а в руках держала огромный букет астр. Когда вторая минометная рота во главе с офицерами вышла из ворот, Анна Николаевна бросилась к Лукашову. Она отдала ему цветы, припала к его груди и горько заплакала. Лукашов вышел из строя, остановился, смущенно щуря свои близорукие глаза. А мимо них шли в строю мар-

шевики и глядели кто добрыми, кто завистливыми, кто печальными глазами на этот обычный финал тыловой любви.

Лукашов и Анна Николаевна пошли рядом, вслед за ротой. Я долго смотрел им вслед. Что она говорила ему, что отвечал ей он? Не знаю.

Мы остались в опустевшей казарме. Пока где-то в военкоматах шла подготовка к очередному призыву, мы, можно сказать, не вылезали из караула: через день — на ремень!

Стало голодно, потому что курсантами мы получали паек по девятой норме, а став сержантами, перешли на третью. Нормы были не пустой формальностью: по девятой выдавали свиную тушенку, масло, сгущенное молоко, а в третьей норме такие деликатесы начисто отсутствовали. Нехватку калорий мы восполняли кукурузой. Кукурузу жарили, пекли, варили, ее ели в початках, зернах, толченую и молотую, как в том присловье: горох жареный, горох вареный, горох пареный, горох-жижа и горох комком. . .

Особенно отличался по этой части Ваня Курилло — он тоже был оставлен в учебном полку, не попал на фронт. Ваня все свободное время пропадал на кухне, где делил это свободное время между любимой поварихой и не менее любимой кукурузой, которую жарил в топке плиты.

Мы в то время жили все в одной казарме и, по существу, находились на положении рядовых: стояли у входа дневальными, ходили в караул на посты. Изредка занимались строевой подготовкой. Вели занятия с нами офицеры различных рот, а иногда мы были предоставлены сами себе. Как-то раз старшим на занятиях назначили меня, тогда-то и произошел со мной неприятный случай.

Мне приказали заниматься строевой подготовкой. Среди тех, кем я командовал, были сержанты из других рот, но были и мои товарищи, которые знали меня как облупленного. Получив приказ отрабатывать повороты, я стал гонять своих сослуживцев по всему плацу. Делал я это с таким усердием, что в рядах строевиков поднялся дружный ропот. Я, как еднначальник, ропот этот игнорировал и продолжал добиваться чистоты поворота. Я чувствовал себя старым служакой, который показывает новичкам, что есть настоящая служба. Наконец, смилостивившись, остановил строй и сказал в назидание:

— Подумаешь, заныли! Разве это занятие? Вот нас гоняли так гоняли — не чета этому!

На мои слова отозвался возмущенный голос Мити Чу-
велева:

— Что ты врешь? Кто тебя гонял, Лукашов, что ли? Ни-
кого он не гонял. А ты выслуживаешься, вот и все!

Я почувствовал, что лицо мое залилось краской: действительно, Лукашов никогда не «гонял» третий взвод, действительно, я врал самым безбожным образом. Я не выслуживался, отнюдь, но когда человек обретает какую-то, пусть небольшую власть, ему почему-то очень хочется испытать ее на подчиненных. Вот за это низкое чувство я и был немедленно наказан Чувелевым, у которого привычка делить хлеб на равные порции выработала своеобразную реакцию на любую несправедливость. Чувелев не дал мне соврать, и с тех пор я стараюсь никогда, никому, ни при каких условиях не показывать своей власти. Мне это не стоит большого труда, потому что никакой властью я не обладаю, ни формальной, ни моральной. . .

Наступил октябрь, когда нас, десять человек сержантов, передали в распоряжение старшего лейтенанта Сосницкого: мы должны были поехать за новобранцами в Астрахань. Сосницкий — недавно прибывший в батальон командир взвода, молодой еще парень с круглым, как полная луна, лицом, с хитрющими детски-голубыми глазами. Он глядел на мир безбоязненно и даже панибратски. Его лоб у правого виска был обезображен широким неровным шрамом — следом ранения, полученного Сосницким на фронте. Был он старше нас всего на три года, но боевая биография и высокое звание (у нас ротный ходил в лейтенантах, а тут командир взвода — старший лейтенант!) исключали дружеские отношения между нами.

Собрав нас перед отправкой, Сосницкий предупредил:

— Товарищи сержанты! Чтоб у меня был полный порядок: никаких выпивок, самоволок, никаких баб! Я человек строгий, ни на кого не посмотрю, если что! . .

Мы были изрядно ошарашены столь крутым характером нового командира, тем более что не чувствовали за собой никакой вины. Но Сосницкий вдруг сменил гнев на милость и, подмигнув нам, произнес скороговоркой:

— А вообще — все в порядке: Бобик сдох, Дамка хромает, кипит молоко! Дуем в Астрахань!

Путь в Астрахань лежал через Моздок и Кизляр, затем по безводной Прикаспийской равнине. Желтая выжженная солнцем степь с бегущими по ней призрачными шарами перекати-поля наводила уныние своей пустотой и бескрайностью. К тому же по ночам было холодно, а ехали мы в «телятнике» — теплушке, необогреваемой и не приспособленной к перевозке людей. В ней даже примитивных нар не было — голый пол. Но ждать лучшего мы не могли: поезда ходили редко, на железнодорожных станциях сутками и даже неделями сидел военный и невоенный люд, для которого наша теплушка показалась бы землей обетованной.

Занимали нас тогда два вопроса: еда и тепло. Что касается еды, тут было все ясно: нам дали паек на три дня, и сразу вступило в свои права соотношение «два к одному», о котором уже было сказано раньше. Одним словом, с едой у нас было плохо, а с теплом — и того хуже. Обогревались мы исключительно собственным, имманентным теплом.

Ночные заморозки заставляли нас тесней прижиматься друг к другу. А паровоз в это время едва-едва ползет, километров двадцать в час, не больше. Идет, идет — и остановится. Постоит и снова пойдет не торопясь, и еще остановится: ждем встречного. Наконец дотащились до какого-то разъезда и вдруг — о, чудо! — при свете луны мы увидели рядом с разъездом тюки сена. Что может быть лучше, чем сон на сене?! Мы ринулись к тюкам, но в это время состав тронулся. Не тут-то было! Мы предпочитали отстать от поезда, чем лишиться сена. Вмиг тюков десять было переброшено в раскрытые двери теплушки. Пока поезд набирал ход, мы благополучно забрались в вагон.

И тут оказалось, что сено-то — с гнильцой! Этим тюкам от роду, наверно, было лет десять, если не больше. Когда мы размотали проволоку, которой они были стянуты, сено рассыпалось в прах. Теперь мы имели полвагона праха. Но это было лучше, чем совсем ничего. Зарывшись, как поросята, в сенную труху, мы провели в ней божественную ночь.

А утром... На кого только были мы похожи утром! Глаза и зубы наши блестели, как у настоящих негров. Даже старший лейтенант Сосницкий ничем не отличался от нас: так же, как мы, блестел белками и сверкал зубами. Глядя друг на друга, мы покатывались со смеху. Умыться же было негде и нечем: поезд шел по безводной степи, водой заправляться

должны были километров через сто. Так мы и ехали, голодные и грязные.

Но судьба все же не окончательно повернулась к нам спиной. Внимательно изучая из полуоткрытой двери теплушки однообразный пейзаж, что расстилался по сторонам, мы заметили в нем некоторые перемены. Появились поля. Что было посеяно или посажено на этих полях летом, сказать было трудно. Однако это была земля, обработанная руками человека. А где человек, там и пища. И вдруг впереди, у самой железнодорожной колеи, мы увидели кучу корзин, а в них... в них что-то было.

— А ну, мигом! — распорядился Сосницкий.

Поезд у корзин не остановился. Но он шел не очень быстро, и этого оказалось достаточно, чтоб трое или четверо из нас спрыгнули, подхватили две корзины и забросили их в вагон прежде, чем сесть самим. В корзинах была превосходная морковка, крупная, сочная и даже не очень пострадавшая от заморозков.

В тот день у нас была морковная диета.

Мы хрупали, как лошади, добытой морковкой, глядели в открытую дверь теплушки, но теперь даже степь не казалась нам такой унылой и безрадостной. Трудяга паровоз не спеша тащил наш состав мимо какого-то переезда, где была лишь одна желтая железнодорожная будка. Неожиданно за будкой нам вдруг открылась искореженная громада немецкого танка с крестами на башне, с пушкой, нелепо нацеленной в землю. Состав медленно постукивал на стыках рельсов и катил мимо танка, а мы, притихшие, глядели на этот памятник войны. Невольно думалось: вот куда доползла эта чудовищная машина, сработанная в Германии, чтоб найти здесь свою гибель! И какая нужна сила, чтоб наша армия от этого места снова дошла до западной границы, вступила в Пруссию! Как-то там наши друзья и товарищи?..

— Во, гада! — произнес за моей спиной Сосницкий.

Он, как и все мы, глядел на покореженный танк.

— Гада! — повторил он поморщившись и сплонул в открытую дверь. — Такая и меня шарахнула! Ну, и я одну приговорил, лично!..

Он сказал это не хвастаясь, как человек, который сделал свою работу и доволен ее результатом.

— А как это было, товарищ старший лейтенант? — спросил я.

Он не сразу оторвал свой взгляд от переезда, где остался танк. Потом повернулся ко мне, и в его глазах уже появилась улыбочка.

— Так и было, сержант! У каждого это по-своему выходит. Главное дело — не трусь и помни: если не ты его, значит, он тебя! Арифметика простая.

Больше он не сказал ничего, словно захлопнул чуть приоткрытую дверку. Вот так и Лукашов, тоже никогда не рассказывал о себе!..

Минула еще ночь, а утром мы уже переезжали длинный железнодорожный мост. Под мостом блестели широкие полосы воды — это была Волга. Пошли островки, затоны, кое-где кудрявилась еще зелень. Потянулись домики, домишки, дома, здания... Астрахань!

К тому времени мы помылись, почистились, заправились, подтянулись и в город вышли настоящим воинским подразделением. Нас встретил незнакомый город с неведомой нам шумной жизнью, с запахом рыбы и песчаным скрипом тележных колес, с трамваем, одолевающим крутую горку, и кремлем, возвышающимся над другими строениями. Эта незнакомая жизнь привлекала нас, вызвала острейшее желание окунуться в нее, познакомиться с ней. Но военная служба, в особенности если это срочная военная служба, имеет жесткие маршруты — от казармы к казарме. После того как старший лейтенант Сосницкий побывал у коменданта города и навел справки, мы двинулись прямехонько в казарму какого-то запасного полка.

Устроились на ночлег. Сосницкий назначил меня старшим и объявил:

— Сержант, ты тут командуешь, а мне надо уйти. Повидаться кое с кем.

— Товарищ старший лейтенант, — попросил я, — может, разрешите нам в кино пойти? Недалеко кинотеатр есть, цветной фильм идет, «Багдадский вор».

— «Багдадский вор»? — уточнил Сосницкий. — Да, это вещь! Стоит посмотреть. Разрешаю, под твою личную ответственность. Если что — пеняй на себя!

Так мы попали в городской кинотеатр. Единственный цветной фильм, который я видел еще до войны, была «Сорочинская ярмарка». Так что сейчас я с восторгом смотрел на проделки вора, оглушенный цветом и звуком. Но больше всего мне нравилась героиня, красавица с такими внешними дан-

ными, что у меня дух захватывало. Но о том, как она мне нравилась, я не делился ни с кем, потому что на подобные темы я разговаривал лишь с Ваней Курилло, а он остался в полку.

Когда мы возвратились из кино, Сосницкого еще не было. Он появился лишь утром, на лице — довольная ухмылка, но, стараясь казаться строгим, Сосницкий хмурил бесцветные брови.

— Сержант, как тут? Никаких происшествий?

— Никаких, — заверил я.

— Ну, что ж, все в порядке, Бобик сдох! . . . Сейчас пойдем за молодняком.

За «молодняком» отправились после завтрака. Во дворе военкомата нас ждала толпа стриженных ребят — призывников. Тут-то мы по-настоящему почувствовали себя опытными старыми солдатами. Молодые — это они, вот эти притихшие парни, которые жадно ловят каждое слово из наших уст. Были, конечно, и среди них бойкие, шумные, но эта бойкость достигалась в основном при помощи бутылок самогона, заблаговременно припрятанных в холщовых мешках. Такого куражу хватало ровным счетом на час-другой, но ведь и бутылок в их мешках оказалось не так уж мало!

Нам выделили два спальных вагона, и когда мы привели эту шумную команду на вокзал, то стоило труда усадить всех на свои места. После этого Сосницкий оставил меня за старшего и снова надолго исчез. Только когда паровоз дал гудок к отправлению, Сосницкий появился возле нашего вагона, ведя под руку двух кургузых крепеньких молодых, таких же круглолицых, как сам он. Молодухи были в очень хорошем настроении, старший лейтенант в ухарски сбитой на затылок шапке — тоже в превосходном.

А вот у меня к тому времени настроение испортилось. Как старший, я получал продукты по аттестату, потом через каждые полчаса проверял по списку, все ли новобранцы на месте. Причем каждый раз получалось, что либо двух-трех не хватает, либо несколько новобранцев лишних. Я разнимал дерущихся, укладывал спать подвыпивших, выпроваживал из вагонов каких-то женщин, молодых и пожилых, которых в вагоне было больше, чем новобранцев. Словом, к тому времени, когда поезд тронулся и на подножку вагона лихо вскочил улыбающийся Сосницкий, я понял, основательно и навсегда, что быть старшим — дело очень нелегкое.

Сосницкий на прощанье помахал шапкой двум своим молодухам, а когда они исчезли из его поля зрения, он вынул изо рта потухшую папиросу, щелчком выстрелил ее в раскрытую дверь тамбура и повернулся ко мне. Взор его был мечтательный.

— Ну что, сержант, порядок?

— Не знаю, — просипел я, потому что давно уже лишился голоса.

Старший лейтенант неодобрительно покачал головой.

— Эх ты! А еще старшой! Люди все на месте?

— Не знаю, — упрямо повторил я. — Были все, а сейчас не знаю.

Я думал, Сосницкий обрушится на меня, станет распекать, грозить арестом, но он лишь сказал деловито:

— Ладно, проверим!

И пошел в вагон, а я остался в тамбуре. Я думал о том, что ни за что не хотел бы, чтоб моим командиром взвода был Сосницкий. Он же совсем не похож на Лукашова! . .

До службы в армии я думал, что самое трудное в ней — походы разные, марши, суровая дисциплина. Спору нет, все это есть, но хуже другое. Хуже, если в одно прекрасное утро или в один прекрасный вечер тебя вызывает начальство и говорит:

— Вы откомандировываетесь в распоряжение того-то, поедете туда-то!

И все. Рвутся связи, которые человек заводит там, где жил. Это все равно что дерево пересаживают: сколько надо проявить осторожности, чтоб оно могло расти на новом месте. В армии такие пересадки происходят чаще, чем в саду. Вырвут из привычной обстановки твоего отделения, взвода, и ты, с обнаженными корнями-нервами, должен привыкать к новым товарищам, новым командирам. Может, люди эти не хуже тех, которых ты оставил, даже наверняка не хуже, но это еще предстоит узнать. Это — всегда непросто, а особенно непросто, когда попадется такой командир, как Сосницкий. Вот Лукашов — тот был совсем другой! . .

Я постоял у открытой двери тамбура, продрог и возвратился в вагон: надо было помочь Сосницкому проверить людей. Но оказалось, что старший лейтенант уже уснул, растянувшись на верхней полке. Таким образом, проверить или не проверять — снова осталось целиком на моей совести.

К счастью, мы не потеряли ни одного человека и благополучно вернулись в полк через два дня. Прямо с вокзала повели

новобранцев в баню, где передали их в руки расторопных ребят из комендантского взвода, которыми командовал младший сержант. Не тот младший сержант, который нас встречал в феврале, но очень похожий на того, февральского.

Мы передали новобранцев и возвратились в полк. Возвратились — и сразу оказались при деле: пока мы ездили в командировку, нас успели распределить по подразделениям. Я с Курилло и Чувелевым остался в роте лейтенанта Гири, а моим взводным оказался... старший лейтенант Сосницкий. Хуже нельзя было придумать. Но командиров не выбирают, они приходят к тебе, как судьба, а на судьбу жаловаться бесполезно.

В первый день нашей совместной службы Сосницкий четко определил круг моих дел.

— Помкомвзвод, — сказал он мне, — уставы и матчасть — твоя святая обязанность! Организуй!

В последующие дни круг моих святых обязанностей значительно расширился. В них вошли занятия по химической защите и инженерная подготовка, внутренний распорядок и физкультура. Когда моему командиру взвода понадобились конспекты для занятий — конспекты тоже стали моим прямым делом. И, кроме того, у меня еще было отделение — десять стриженных парней. В первые дни они смотрели на меня с испугом и какой-то обреченной покорностью. Но уже через месяц у каждого из них прорезался характер, а что делать с их характерами — этому меня никто не учил. Я старался быть похожим на Щенева и делал все так, как раньше делал он. Теперь уже я, а не Щенев, кричал охрипшим голосом:

— Отбой! Миномет на вьюки! Огневая позиция — сто метров впереди, у отдельного куста. Отделение — вперед!

Теперь я, а не Щенев, бежал во главе отделения, с биноклем на груди и автоматом за спиной. Но жизнь командира отделения не казалась мне теперь легче солдатской. В этом я убедился на собственном опыте, когда на меня навалилась гора дел, больших и маленьких. Но что значили все мои перегрузки по сравнению с тем, что пережил Ваня Перибайлов?..

Как-то в январе, когда в казарму принесли вечернюю почту, я получил от Перибайлова письмо. Торопливо развернул лист, сложенный треугольником, и прочитал:

«. . . Домой вернусь не на своих двоих, а на трех: два костыля и одна нога. Такие мои дела-делишки. Ребят наших пораз-

бросало, мало что знаю о них. Слышал лишь, что Рагозина убило. А Позднышев отличился, ему дали орден Славы. И Щенев с медалью «За боевые заслуги». Меня вроде тоже хотели представить к награде, но не знаю точно. В декабре встретил лейтенанта Лукашова. Он куда-то ехал на грузовике, так что мы даже не поговорили с ним. А может, и не он был, потому что я издали его видел.

Опиши, как вы живете, что делаете. Я тут проваляюсь месяца три, не меньше, — черкни пару слов. Передай от меня привет всем нашим, кто остался в части. До свиданья! Твой друг Иван Перибайлов».

Я был оглушен этим письмом. Ваня Перибайлов — без ноги? У меня это никак не укладывалось в голове. Тут я вспомнил кинофильм «В шесть часов вечера после войны» — у нас в клубе его недавно показывали впервые. В фильме главный герой тоже потерял ногу, но он все равно был красивым и встретился с любимой девушкой. Ваня Перибайлов в моих глазах был таким героем. Хотя он ранен, но совершил подвиг и будет награжден. Пока мы тут, в далеком тылу, учим уставы и бегаем по учебному полю, там люди воюют, погибают, получают награды. А мы опять остаемся в стороне от главного!

Перечитав письмо, я поспешил в ротную кладовую — каптерку, где хозяйничал Митя Чувелев. Когда я ездил в Астрахань, Чувелев сделал карьеру и стал ротным писарем-каптенармусом. Для нас с Курилло такое возвышение Чувелева имело громадное преимущество. Вечером, как только офицеры расходились по своим квартирам, мы собирались в каптерке и свободно, без посторонних, говорили о наших делах.

И на этот раз в каптерке у Чувелева я застал Ваню Курилло. Он возился со стареньким патефоном, пытаюсь извлечь музыку из единственной имевшейся у нас пластинки. Чувелев пересчитывал наволочки и солдатские портянки, разложив их на две кучи на полу.

— Письмо от Перибайлова! — сообщил я и тут же прочитал им письмо от начала до конца.

Курилло позавидовал Позднышеву:

— В разведке, наверно, Серега! Он говорил, что уйдет в разведку. Везет человеку! Нет, скорей бы выпуск, а то останусь без медали!

Чувелев, копаясь в наволочках, проговорил задумчиво:

— И Щенев молодец! Он, вообще, боевой. . .

О Рагозине мы не говорили. Но я все время помнил, как он сказал мне на прощанье:

— Думал, на этот раз минует. Не миновала!..

Мы потолковали о письме Перибайлова. Ребята воюют, половину Польши освободили, а мы отсиживаемся за их спиной. . . От этого разговора на душе было бесприютно.

Ваня Курилло попытался расшевелить нас. Он завел патефон, поставил пластинку. Пластинка шипела, а томный мужской голос пел:

Апрэ туа жё н'оре плю д'амур. . .

— Ну что, тыловики, станцуем? — бросил клич Курилло.

Чувелев проворчал:

— Двух портянок не хватает. . . Не иначе, сперли!

Мне тоже было не до танцев, Курилло даже обиделся на нас. Дело в том, что за эту зиму он выучил нас с Чувелевым танцевать танго, вальс и фокстрот. У меня, правда, долго ничего не получалось, но Курилло был тверд:

— Слона в цирке обучают, и тебя обучим! — заверил он меня.

И выучил. На нашей патефонной пластинке с одной стороны было записано танго, с другой — фокстрот. В танго речь, видимо, шла о любви, потому что мы различали слово «амур», фокстрот же весь был какой-то нерусский. Что касается вальса, то его мы танцевали, сопровождая себя на губах: «м-па-па, м-па-па, м-па-па! . . .»

Мы с Курилло покружились немного в тесной каютке, топчя портянки, разложенные на полу, а Чувелев орал на нас, чтоб мы не мешали ему. Но тут в дверь постучали, а затем заглянул дневальный, бойкий смысленый курсант моего взвода.

— Разрешите, товарищ сержант? — спросил он Чувелева, как хозяина.

— Чего надо? — начальственно хмуря брови, спросил тот.

Дневальный повернулся ко мне:

— Товарищ сержант, вас вызывают на контрольно-пропускной пункт!

— Меня? Хорошо, иду!

— Кому это ты понадобился? — удивился Курилло.

Я лишь пожал плечами. Взяв шапку, как был, в одной гимнастерке, побежал на КПП. Холодный морозный воздух враз охватил меня, заставил поежиться. Я бежал по расчищенным от снега дорожкам нашего военного городка и все пытался до-

гадаться, кто меня вызывает. И вдруг увидел у ворот Анну Николаевну. В стареньком черном пальто с меховым воротником, в платке и валенках, она была совсем не похожа на актрису. Анна Николаевна, издали заметив меня, помахала рукой. Я вышел за ограду. Анна Николаевна кинулась ко мне.

— Ну, как? Нет писем от него?

Я удивился такому совпадению: только-только получил письмо от Перибайлова, и Анна Николаевна, будто узнала об этом, сразу пришла. . .

Торопливо пересказал я ей все, что было написано в письме. Анна Николаевна сперва огорчилась, что я знаю так мало, потом обрадовалась, что хоть в декабре Лукашов был жив. Потом снова встревожилась: с тех пор прошло много времени, и наши войска уже полмесяца наступают в Польше. А вдруг с Лукашовым что-нибудь случилось?

Я успокаивал ее как мог. И не заметил, как из проходной вдруг вышел лейтенант Гирия. Увидев меня рядом с женщиной, Гирия высоко поднял брови.

— Вы что здесь делаете? — спросил он, глядя на Анну Николаевну.

И вдруг он узнал ее. Лицо его расплылось в безбрежной улыбке.

— Анна Николаевна! Какими судьбами? Вы ко мне?

— Нет, не к вам, — произнесла она холодно, театральным голосом. — Я — к нему.

Лицо у Гири вспыхнуло, он с некоторым изумлением оглядел меня с головы до ног. И вдруг, отдав честь, поклонился Евсеевой, произнеся несколько раз:

— Не смею задерживать!.. Не смею задерживать!

И отошел прочь, не оглядываясь.

Анна Николаевна сказала мне, что у нее нет никакой весточки от Лукашова, ни единого письма. И добавила, что Лукашов — злой, бессердечный человек. И тихонько заплакала. А я стал убеждать ее, что Лукашов замечательный человек. А что он не пишет — это у него такой принцип. Я тоже так поступил бы, чтоб не давать повода к лишней тревоге и переживаниям. Зато, если бы остался жив, сразу же приехал бы сюда. И Лукашов приедет, обязательно приедет!..

Анна Николаевна перестала плакать, улыбнулась мне:

— Вы его защищаете, будто он ваш брат!

И, помолчав, попросила:

— Если еще что-нибудь узнаете — сразу сообщите мне. Хорошо?

Я горячо обещал сделать все, как она говорит. А потом мы расстались.

На следующий день меня вызвал к себе лейтенант Гирия. Он был один в канцелярии роты. Внимательно окинув меня взглядом, словно увидел впервые, Гирия спросил, как я познакомился с Анной Николаевной. Я сказал, что нас познакомил Лукашов.

— Лукашов?

Гирия надолго задумался.

— Лукашов. . . — повторил он, встал и прошелся по канцелярии. Потом внезапно повернулся ко мне:

— Вы с ней в хороших отношениях?

Я не знал, что он вкладывает в слова «хорошие отношения», но мне показался унижительным этот разговор. И для меня, и для Анны Николаевны. Я не знал, что ответить Гирию.

Гирия, видимо, почувствовал неуместность своего вопроса.

— Я видел, — подтвердил он самому себе. — Она хорошо относится.

— Анна Николаевна любит лейтенанта Лукашова! — сказал я с вызовом.

Командир роты произнес в раздумье:

— Хорошо. Идите!

Но когда я уже выходил, он остановил меня словами:

— Если вам нужно будет. Увольнение в город. Обращайтесь ко мне.

— Есть обращаться к вам! — отозвался я и вышел.

Когда я в двух словах рассказал Ване Курилло об этом разговоре, тот пришел в восторг.

— Проси немедленно увольнительную на двоих: пойдём с тобой на танцы в «Интурист»!

Ваня давно уже считал, что мои танцевальные способности надо проверить в свободном, как говорят летчики, поиске. А это могло произойти только в «Интуристе». Гостиница эта, как я уже упоминал, была разрушена фашистами, но в ее уцелевших подвалах по субботам и воскресеньям устраивали платные танцы, и туда приходило много девушек. Там и только там должен был я сдавать мой экзамен — так решил Курилло. Поддавшись его уговорам, я набрался нахальства и попросил у командира роты увольнительную на двоих. И Гирия такую увольнительную дал!

Ваня повел меня в «Интурист». Познакомил с большеглазой, довольно невзраченькой на вид девушкой по имени Нелли и с ее подругой. Когда музыка заиграла танго, Ваня соединил мою руку с рукой Нелли и подтолкнул меня в танцевальный круг.

Огромный танцевальный зал, переполненный танцующими, казался мне морем, а я со своей партнершей — углой лодчонкой, которую кидает по волнам со стороны в сторону. Я плыл по этому бурному морю, как в бреду, то и дело наступая кованым солдатским башмаком на нежные ножки Нелли. Каждый раз я гнусно оправдывался упавшим голосом:

— Ну вот, опять наступил! . .

На что она мне отвечала:

— Нет, нет, это я ошиблась!

К концу танца я чувствовал себя так, словно много километров тащил на себе миномет в собранном виде. Танец закончился. Людской волной нас прибило к стене слишком далеко от того места, где стояли Ваня и подруга моей партнерши. Идти к ним через весь зал было страшно. Мы остались на месте, и я, помнится, напрягал все свои умственные способности, чтоб как-то развлечь Нелли. Однако никакого предмета для светской беседы, кроме жалкого клеймения собственной неловкости, я так и не смог найти. Нелли обмахивалась платочком и слушала мой лепет без явного отвращения — это было моей единственной отрадой.

А потом музыка заиграла вальс. Не иначе как с отчаяния я пригласил Нелли и на этот танец. Неожиданно оказалось, что вальс мы с ней танцевали лучше, чем танго. Потом мы присоединились к Ване, потом танцевали еще. Потом, когда танцы кончились, я провожал Нелли домой.

Была лунная морозная ночь. Дома бросали на землю черные тени, и мне казалось, что я смотрю на улицу в солнечный день через зеленое стекло. Рядом шла хрупкая большеглазая девушка, из-под платка у нее выбивалась прядь темных волос, и я почему-то подумал: если бы луна была обитаема, то лунные жители должны быть такими, как Нелли, — хрупкие и большеглазые.

Разговор наш сперва не выходил за круг танцевальных тем. А потом Нелли сказала мне, что она никакая не Нелли. По-настоящему ее зовут Анеля, и сама она — полька, из Западной Украины. И что она уйдет в монастырь, потому что видела вещий сон.

Мне все это показалось невероятным. Чтоб эта чудесная девушка, которая так терпеливо танцевала со мной, стала монашенкой — подобная мысль не укладывалась у меня в голове. С другой стороны, танцуя со мной, она, возможно, как раз и подвергала испытанию свою стойкость — качества, как известно, необходимые солдатам и монахам.

Со всей силой антирелигиозной убежденности я стал отговаривать Нелли от такого ложного шага, но она туманно намекала на какую-то причину, на обет, данный ее матерью в память о погибшем брате Нелли. Больше она не сказала мне ничего.

Мы постояли у калитки ее дома. Я был благодарен ей за то, что она выучила меня танцевать. Кто знает, если бы в тот вечер я был более настойчив, Нелли не ушла бы в монастырь. Но я не был достаточно смел, и Нелли, видимо, пришлось стать монашенкой.

Я говорю «видимо», потому что, когда я возвращался в тот вечер в казарму, в голове у меня стоял шум, похожий на шум прибора, и я как-то смутно воспринимал все происходящее. Сперва я думал, что меня дурманит восторг влюбленности, но в казарме меня стал бить озноб. Что было дальше, я помню плохо. Курилло, увидев меня, зашел:

Рита и крошка Нелли
Привлечь его сумели.
Часто он клялся
В любви обеим. . .

Я слабо реагировал на песню, и Ваня заподозрил неладное. Мне сунули градусник под мышку и обнаружили жар. Вечер мой закончился в полковом лазарете.

У меня оказалась малярия, и с этой малярией я провалялся в санчасти две недели. Я глотал акрихин, и все предметы казались мне окрашенными, как этот порошок, в ядовито-желтый цвет. Где-то на окраинах желтого малярийного мира скользили почти неуловимые тени Нелли, Анны Николаевны, Лукашова, моего старшего брата, погибшего на фронте, моей матери, которая осталась одна-одинешенька, без родных и близких, в маленьком казачьем хуторе на Хопре.

Изредка в этом призрачном мире появлялось лицо Вани Курилло, такое же нереальное. Ваня что-то говорил мне, но я плохо слышал и, главное, плохо соображал, вижу ли я его на самом деле или это лишь кажется мне.

Потом стало легче, температура круто поднималась лишь в определенные часы дня и ночи, и я помаленьку стал поправляться. Реальный Ваня Курилло приходил навещать меня, но это случалось редко, так как доступ к нам, малярикам, был ограничен. Когда мне стало лучше, я принялся за чтение и прочел «Войну и мир» и «Севастопольскую страду». С тех пор у меня сложилось твердое убеждение: толстые книги надо читать, когда болен. Чтение толстых книг способствует выздоровлению.

Акрихин и классические романы подняли меня на ноги. Через две недели я предстал перед глазами моих командиров, Гири и Сосницкого.

Гирия, оглядев меня с ног до головы, сказал обрадованно:
— Желтый вы.

Брови его были высоко, в удивлении, подняты на лбу. Казалось, он решал и никак не мог решить, что со мной делать.

А вот Сосницкий — тот знал, что делать.

— Помкомвзвод, — провозгласил он, — довольно сачковать! Я тут работаю за тебя как вол!

— У меня освобождение на три дня, товарищ старший лейтенант, — попытался возразить я.

— У меня на всю жизнь освобождение, и то работаю, а ты — три дня!

Логика была слабым местом старшего лейтенанта Сосницкого, и потому спорить с ним было безнадежным делом. Снова началась служба, от подъема до отбоя.

Все эти дня я не забывал о Нелли, и, когда дней через десять удалось попасть в город, я поспешил к ней. Всю дорогу я пытался найти подходящее объяснение, почему иду к ней, но так и не нашел его. Да оно оказалось и не нужно: дом Нелли стоял с заколоченными окнами, а соседи сказали, что все выехали отсюда, куда — неизвестно. Я-то догадывался куда: в монастырь, конечно!

Грустный возвратился я в тот день в казарму. Я не был влюблен в Нелли, я находил в ней немало недостатков: больно худенькая, и фигура могла бы быть лучше. Но все равно — зачем ей в монастырь?..

Когда я поделился своей печалью с Ваней, тот, чтоб утешить меня, предложил:

— Хочешь, познакомлю тебя с девушкой — не чета твоей Нелли? Только учти, что у меня с ней все уже обговорено, я

сказал, что люблю ее. Будем возвращаться с занятий — зайдем.

Мы, сержанты, позволяли себе иногда такую вольность: возвращаясь окраинными улочками с занятий, мы иногда забегали на квартиру к своему командиру взвода или в ближайший магазин, где покупали кое-какую мелочь. Времени, конечно, было в обрез, но Ваня Курилло, как оказалось, успел за это время познакомиться с девушкой и объяснить ей в любви.

И вот однажды, возвращаясь с занятий, мы свернули с улицы, по которой был проложен маршрут нашей роты. Переулками вышли мы на окраину, где утопали в снегу тихие домишки. Приближался вечер. Стоял небольшой мороз, все вокруг было присыпано свежевывающим снегом. Ветки яблонь и вишен были лохматыми, будто в хлопьях ваты. И посреди этой сказочной зимы у калитки одного дома стояла высокая кареглазая красавица в меховой шапке и белой шубе. Красавица улыбнулась нам с Ваней, и по ее милой улыбке, по ямочкам на щеках, по ровным белым зубам я понял, что это и есть та, которую я ищу. В романах об этом обычно писали так: «Его словно током ударило...» Вот так и меня, ей-богу!

Ваня представил меня, она протянула свою руку с тонкими длинными пальцами и назвалась:

— Катя.

Мы вошли во двор, и Ваня тут же, без подготовки, начал свой объяснения в любви.

У Вани была любимая поза, когда он кокетничал с девушками. Сунув обе руки за пояс, Ваня поднимался на носках, при этом его белесые брови «играли»: то поднимались высоко на лбу, то опускались, выгибались по-змеиному. А полные губы Вани в эти минуты были сложены в умильную улыбку. Кокетничая, Ваня любил говорить ничего не значащие слова: «Вы так думаете?», «Даже?» или еще что-нибудь подобное.

Когда предмет обожания не поддавался на его ухищрения, лицо Вани становилось трагичным. Он томно вздыхал, закатывал глаза, прижимал руку к сердцу, так что можно было подумать, будто он играет в каком-то спектакле. На самом деле это не был спектакль, это Ваня так переживал.

Итак, Ваня признавался в любви, а я стоял молча, не в силах прийти в себя. Время от времени я спохватывался и ощущал на своем лице глуповатую улыбку. Катя же время от времени бросала на меня любопытствующие взгляды и даже попыталась вовлечь меня в разговор. Из этого, правда, ничего

не получилось, потому что я только стоял, хлопал глазами и кривил рот в улыбке.

А Ваня все требовал:

— Скажите, Катя, окончательно: да или нет?

— А если нет? — шаловливо спросила она.

— Тогда мне остается одно, — трагично промолвил Ваня, — пойти и . . .

Тут я наконец обрел дар речи и подсказал Ване:

— . . . победать.

Катя рассмеялась, а я от этого смеха сразу вырос в своих глазах. И для меня перестал существовать Ваня Курилло как человек, которому я должен помочь объясниться в любви. Ваня стал моим соперником, потому что я понял: Катя, Катя, конечно же Катя! Только ее симпатию должен завоевать я, только ее улыбка что-нибудь значит для меня!

Ваня обиженно надул губы:

— Не такой уж я обжора, чтоб думать только про обед!

После этого он попросил у Кати гитару, и, пока она ходила в дом, Ваня вздохнул и заявил мне:

— Нет, этот орешек не каждому по зубам! . . . А может, и не пытаться? . . .

Я не стал разубеждать его — такова была сила чувства, вспыхнувшего во мне.

В это время Катя появилась на пороге с гитарой в руках и предложила:

— Может, все-таки зайдете в дом?

— Нет, нет! — категорически отказался Ваня. — Мы на минутку всего. . .

Ваня сел на скамеечку возле дома, стал перебирать струны гитары. При этом он закатывал глаза, громко вздыхал. Катя, пряча подбородок в воротнике шубы, весело смеялась. И я тоже находил все эти Ванины ужимки очень смешными.

С надрывом в голосе Ваня запел:

Один лишь мальчик сидит, грустит,
Его Жанетта с другим кутит.
Она приветлива и пьет кокетливо. . .

Катя подняла на меня свои сияющие карие глаза и ангельским голоском спросила:

— Вы тоже будете переживать, как Ваня?

— Почему переживать? — глупо удивился я.

— Из-за любви ко мне, — пояснила она просто. — Учтите,

у меня жених на фронте, Коля Сенченко. Вы, наверно, знали его. Он в сентябре ушел на фронт, и я обещала ждать его. Так что смотрите не влюбитесь в меня.

Она говорила эти чудовищные слова милым голоском, а я чувствовал, что передо мной разверзлась пропасть. Если бы моим соперником был только Ваня, я бы мог еще на что-то надеяться. А так выходит, все напрасно: она другому отдана и будет век ему верна!..

Ваня между тем меланхолически и даже с долей трагизма пел:

Не плачь, мой мальчик, и не грусти:
Где много женщин, там нет любви!
Где женщины и вино, там нет любви давно,
Один обман купается в крови!

Я отвечал на какие-то Катины вопросы, а сам мучительно соображал: даже в самом благоприятном случае, даже если бы — о, если бы! — Катя ответила на мою любовь, которая так ярко вспыхнула четверть часа тому назад, даже если бы она ответила мне взаимностью, то в каком положении окажусь я по отношению к моему товарищу по оружию, Коле Сенченко?.. Вот вам классический тип подлеца: пока его товарищи проливают кровь на передовой, он в тылу занимается тем, что соблазняет их невест, одну за другой. Нет, такой низости я себе простить не мог бы!

Ваня рванул заключительный аккорд, и гитара умолкла. Он подул на свои окоченевшие пальцы, поднялся со скамейки и возвратил гитару хозяйке:

— Ну-с, Катенька, я ухожу. — Он многозначительно поиграл бровями. — Ухожу, но знайте, что мое сердце разрывается на части!

Нет, это у меня, а не у него, сердце разрывалось на части! В особенности когда Катя подала мне свою изящную руку и ласково попросила приходить к ним чаще. Я возликовал и тут же впал в уныние: комплекс похитителя чужого счастья не дал разгореться моей радости.

Молча шел я рядом с Ваней в казарму. Да, все случилось согласно моим принципам, о которых я уже упоминал. Я встретил красивую, умную, интересную девушку, я познакомился с ней, я старался понравиться ей, и, следовательно, мне осталось только влюбиться в нее. Ого! В том-то и дело, что я влюбился раньше, чем понял, что она красивая, умная, интересная,

раньше, чем познакомился с ней, раньше, чем постарался понравиться ей.

— Прибавь шагу! — озабоченно подогнал меня Курилло. — Эти оглоеды могут ничего нам не оставить!

Да, конечно, мне нужно быть с Катей вежливым и молчаливым. Буду приходиться к ней с бледным от потаенной муки лицом, а потом тоже уеду на фронт. Там меня ранят, быть может, тяжело ранят, и только тогда, уже при смерти, я напишу ей письмо, в котором расскажу о своей любви. И она обольется слезами, читая мое письмо, но будет уже поздно... Меня не будет, а она найдет свое счастье с Колей Сенченко. И лишь иногда, в дни самого безоблачного счастья, в душе ее возникнет неясное воспоминание обо мне и смятение на миг посетит ее невинную душу...

— Знал я этого Сенченко, — подумал вслух Ваня Курилло, — ничего особенного. Лупоглазый такой, из комендантского взвода. Слушай, давай побежим, а то ведь сожрут всё!

И мы побежали, а вслед нам заливались лаем собаки во дворах. На бегу я думал об огромной любви и печали, которые свалились на меня.

Прибежали мы вовремя: товарищи наши решали сложный вопрос, оставлять нам только хлеб или хлеб и второе. Были и такие недоброжелатели, как Митя Чувелев, который считал, что вообще ничего не надо оставлять. Увидев нас, Чувелев был оскорблен до глубины души:

— Вы, давайте, что-нибудь одно: или по девкам бегать, или обедать! Тут для вас караульщики нет! . .

Легко было Чувелеву говорить: обед или любовь! Чувелев уже второй год страдал от фурункулов, которые в массовом количестве поселились у него на шее. Никакие мази, примочки, втирания, никакие пивные дрожжи и переливания крови не помогали ему. Фурункулы стали его единственной заботой, единственным предметом, достойным внимания. Поэтому на данном этапе своей жизни Митя Чувелев считал неверной формулу «любовь и голод правят миром». Мы с Ваней Курилло от этой формулы не отрещивались, но пытались как-то модернизировать ее. Вскоре мы снова пожертвовали обедом, чтоб увидеть Катю. Ваня шел к ней, желая окончательно убедиться, любит ли она его. Я тоже шел, чтоб убедиться, что Ваню она

не любит. И тогда, само собой разумеется, получал право на надежду я.

Катя принимала нас в своем доме, в чистенькой светелке, где была кровать с кружевным подзором, с горкой хорошо взбитых подушек, дорожки постелены на полу — пестрые, веселенькие. На стене висела гитара с голубым бантом, было много вышивок — гладью, крестиком, ришелье, на столе салфетки, отделанные мережкой. В простенке между окнами веером были прикреплены фотографии всех калибров, в том числе и фотография Коли Сенченко. По фотокарточке я смутно припомнил, что и вправду знал его: то ли мы вместе в бане мылись, то ли еще в каком общественном месте встречались.

Катя познакомила нас со своей матерью, высокой дородной женщиной, несколько уже расплывшейся в талии, но сохранившей в своем лице многое из того, что ныне так цвело на лице ее дочери. Поговорив о том о сем, мы с Ваней приступили к выяснению главного вопроса: кто из нас? . .

Катя, однако, принадлежала к тем натурам, которые, как японцы, даже говоря «нет», ухитряются произнести «да». За два часа, которые мы провели в ее обществе, в моем сердце поселилась твердая уверенность, что у меня есть еще надежда. Но, странное дело, Ваня тоже ушел от Кати с убеждением, что он ею любим.

Нас огорчало лишь то обстоятельство, что Катя в разговоре упомянула о письме Коли Сенченко. Коля писал, что находится в действующей армии (а мы были в бездействующей), ему присвоено воинское звание «старшина» (а мы были всего-навсего сержантами) и он представлен к награде (у нас же наград не предвиделось). Сообщив нам все это, Катя лукаво посмотрела на нас, будто хотела сказать: и верность такому человеку вы хотите поколебать у меня? Нет, нет и нет! . .

Конечно, нет! Мы ушли от Кати, так ничего окончательно и не выяснив. Лучше всего, говорил я себе, было бы не ходить в этот уютный домик. Только так можно победить мою любовь, вырвать с корнем из сердца поселившийся там образ Кати. Но вырывать что-либо из сердца, да еще с корнем, — занятие не из легких, и я продолжал ходить вместе с Ваней в домик на окраине.

Мои отлучки не прошли мимо внимания старшего лейтенанта Сосницкого, и он любопытствовал однажды:

— Помкомвзвод, где это ты околачиваешься? Небось нашел какую молодуху, подкатился под бочок? . .

Мне было неприятно даже мысленно поставить в один ряд Катю с какой-то безымянной молодухой. Я промолчал и считал, что эта тема исчерпала себя. Но не таков был старший лейтенант Сосницкий. Когда речь шла о женщинах, он был очень любознательный, о чем свидетельствовало штук пятнадцать женских фотокарточек с надписями «дорогому» и «любимому», которые он хранил в кармане гимнастерки. Сосницкий без труда проследил наш с Ваней маршрут и уже на следующий день объявил мне торжествующе:

— Видел, видел твою смуглянку! Одобряю! С такой не грех побаловаться!

Я был готов испепелить взглядом моего командира. Он это почувствовал и сказал примирительно:

— Ты не сердись, помкомвзвод, я шучу! Правда, хорошая девчонка. Я не отказался бы познакомиться с ней.

Я отошел от взводного, не придав должного значения этой его последней фразе, посчитал ее чем-то вроде метафоры. Меня больше всего возмущала манера Сосницкого говорить о Кате панибратски. Но такой уж это был человек, и не мне было его перевоспитывать!

Дни между тем бежали за днями. Наступил март. Снег враз растаял, пришли теплые дни. Я продолжал ходить в уютный домик на окраине, каждый раз терзаясь тем, что хочу видеть улыбку Кати, слышать ее серебряный голосок, хочу, чтоб верная Катя назвала меня, а не Колю Сенченко, своим любимым. Не терял надежды, как это ни странно, и Ваня Курилло. Сознать это было тяжело. Наверно, я победил бы свою страсть, перестал бы ходить к Кате, если бы однажды она не шепнула мне:

— Приходите к нам один, или это обязательно — ходить с Ваней?

Меня бросило в жар от этих слов: значит, я все ж могу надеяться?

Я дождался, когда Ваня Курилло был дежурным по роте, и в тот же вечер, тайно от Вани, ушел из городка.

Ах, какой чудесный вечер провели мы втроем: я, Катя и ее мать! Катина мать угощала меня румяными сдобными булочками и компотом в большой фаянсовой кружке. Катя играла на гитаре и пела мне песню, каждое слово в которой имело огромный смысл:

А руки и губы сорвали с причала
Ту песню, в которой весна и любовь!

Потом, когда Катина мать оставила нас вдвоем, Катя призналась мне, что она, конечно, верна Коле Сенченко, но верность эта стоит ей очень дорого. Потому что Коля Сенченко был, как бы это выразиться, не очень воспитанным мальчиком и ужасно ревнив. Кроме того, у Коли, до встречи с Катей, уже была одна любовь, он сам признался в этом Кате. А сейчас, судя по его последнему письму, старая любовь снова тревожит Колю. Но Катя, несмотря ни на что, намеревалась оставаться верной ему. Правда, чтобы принять окончательное решение, Кате нужна была моральная поддержка, почему она и обратилась ко мне, человеку умному и в высшей степени порядочному.

Она сказала все это мне прямо в глаза, чем поставила меня в тяжелейшее положение. Я ликовал, что я умный и порядочный. С другой стороны, теперь, будучи умным и порядочным, я просто обязан сказать ей: да, оставайся верной Коле Сенченко!

Впрочем, сделав меня своим поверенным, Катя больше не напоминала о моральной поддержке, а перешла к личности Вани Курилло. Это меня насторожило не меньше, чем разговор о Коле Сенченко. К счастью, оказалось, что Ваня мало интересуется Катю, потому что, хотя он и милый мальчик, и на гитаре играет, но ему не хватает воспитанности.

В тот вечер я ушел от Кати почти счастливый. Я не знал детально, как будут развиваться события дальше, но в одном был уверен: из всех своих знакомых Катя выделяет меня одного. «И если это не любовь, то что же это?» — цитировал я строки не то из Пушкина, не то из Петрарки.

Через два дня дежурным по роте был назначен я. Когда курсанты возвратились с занятий, я с некоторым беспокойством отметил, что Вани Курилло нет на месте. Вне всякого сомнения, Ваня отлучился к своему командиру взвода, лейтенанту Смирнову. А Смирнов жил рядом с Катей. Вполне возможно, что Ваня увидит ее сегодня, но, надеялся я, эта встреча не принесет ему радости. Я с нетерпением ждал возвращения моего друга.

Он вернулся часа через два, губы его непроизвольно растягивались в улыбке. Но Ваня избегал смотреть на меня, лишь спросил:

— Ну, как дежурство?

А какое у меня может быть дежурство, если он сидел у Кати?

Задав вопрос, Ваня поспешно отошел от меня: видно, его мучила совесть. Замечу в скобках, что меня совесть не мучила, когда в его дежурство я был у Кати.

Ваня не мог долго оставаться наедине со своими сердечными тайнами. Ему, как Кате, нужен был поверенный, и этим поверенным, как у Кати, стал я. После отбоя Ваня остался со мной и, распираемый гордостью, сообщил, что был у Кати и Катина мать угощала его вкусными булочками и компотом из чернослива и сушеных груш. Кроме того, Ваня имел большой разговор с Катей, из которого уяснил, что Коля Сенченко для нее — пройденный этап, а наиболее вероятный кандидат занять место в ее сердце — это он, Ваня Курилло.

Слушая все это, я чуть не стонал от обиды, от досады, от несбывшихся моих надежд. Значит, и с Ваней у нее был такой же доверительный разговор? И даже булочки — такие же!!!

Пережить подобное унижение было невозможно. Я тут же покаялся Ване, рассказал о своем тайном посещении Кати, о моем с ней разговоре и о вкусных булочках.

Ваня был озадачен. Ваня был обескуражен. Ваня был возмущен. Он предложил:

— Мы так это не оставим! В следующий раз пойдем к ней вместе и припрем к стене фактами! Пусть скажет, почему играет с нами в кошки-мышки!

Мы так и сделали, пошли к ней в следующий раз вдвоем.

Только мы открыли калитку во двор, как услышали звуки гитары, и эти звуки сразу насторожили нас. А когда, переступив порог дома, мы вошли в светелку, то оба застыли, онемев: в дверях кухни стояла Катина мать с подносом в руках, а сама Катя сидела у стола с гитарой, а за столом, развалившись на широкой деревянной лавке, сидел старший лейтенант Сосницкий. Китель его был расстегнут по домашнему, перед Сосницким стояла на столе тарелка с румяными булочками, рядом — большая фаянсовая кружка с компотом.

Мы остолбенели и не могли двинуться с места. Катя же отложила гитару, вскочила, радостно захлопала в ладоши и, сияя чистыми глазами, восторженно воскликнула:

— Ой, мальчики, как хорошо, что вы пришли! Вот радость!

Сосницкий из-за стола благодушно кивнул нам:

— Проходите, ребята, садитесь! Как там в роте дела?

— Всё. . . всё в порядке, — выдал я из себя.

— Всё в порядке, Бобик сдох, Дамка хромает, кипит молоко! — высказал тут же свою обычную шутку-сентенцию мой командир взвода.

— Мы на минуту забежали. . . — попытался объяснить я.

— Ничего, — покровительственно произнес Сосницкий, — можете остаться, я разрешаю. Только чтоб во взводе был порядок. Ясно?

Мне было ясно, да и Ване тоже: здесь мы не могли быть равными собеседниками. Сославшись на дела, мы очень скоро ушли, игнорируя просьбу Кати остаться. Всю дорогу в казарму мы молчали. И только возле самого городка Ваня произнес:

— А ну ее знаешь куда?!

Я молча согласился с ним.

На другой день Сосницкий отозвал меня в сторонку и повинился:

— Ты на меня, помкомвзвод, зуб не имей, я туда на разведку ходил! Знаешь, что я скажу: не для тебя эта девка! Не сердись, ей-богу, не для тебя! Она из себя ангела строит: гитара, песенки, то-се, а ей одного хочется — выйти успешно замуж. Мужчина в таких случаях должен действовать смело: раз, раз — и в дамках!

— Товарищ старший лейтенант, — произнес я надменно, — я не собираюсь обсуждать с вами вопрос о . . . о Кате!

— Брось, помкомвзвод! — рассмеялся Сосницкий. — Ты насчет девок идеалист, а ты о них не думай так высоко! В этом деле нельзя быть порядочным. . .

Но ведь быть непорядочным — тоже не каждому дано, тоже надо уметь!

История моей любви не закончилась на этом. Через несколько дней Катя прислала мне записку с просьбой обязательно прийти к ней для очень важного разговора. Я отпросился у Сосницкого, который отпустил меня, понимающе и нахально улыбаясь. Я поспешил навстречу важному разговору.

Погода в то утро, конечно же, была великолепная: апрель на Северном Кавказе — почти лето. Высокое синее небо, нежная зелень деревьев, величественные горы — все эти атрибуты высокой романтики настраивали меня на лирический лад. И хотя предыдущие события до какой-то степени смущали

меня, но я почему-то был убежден, что именно сегодня состоится очень важный разговор.

Когда я постучал в Катину дверь и услышал ее нежный голосок: «Войдите», то что же увидел мой похолодевший взор? За столом возле традиционного блюда с булочками сидел... нет, не Ваня Курилло и не Коля Сенченко, хотя его присутствие могло быть вполне оправданным. И даже не старший лейтенант Сосницкий сидел там, что, конечно же, было маловероятно, поскольку я только что разговаривал с ним у нас в военном городке.

За столом восседало новое действующее лицо — щеголеватый, уже в годах, майор с чисто выбритым холемым лицом.

Увидев меня, Катя радостно всплеснула руками, бросилась ко мне, одновременно приглашая взглядом майора разделить ее радость:

— Ой, как хорошо, что ты пришел! Так приятно, так приятно!..

Майор скучающе окинул меня взглядом от ботинок с обмотками до серой шапки искусственного меха (мы еще не перешли на летнюю форму одежды) и даже не кивнул мне.

— Я, собственно, ненадолго, — прохрипел я, смущаясь еще больше, чем в прошлый раз, когда застал здесь Сосницкого.

— А у нас теперь живет Иван Родионович, наш квартирант, — радостно сообщила мне Катя. — Вы незнакомы?

Майор Иван Родионович удивленно посмотрел на меня, словно наше с ним знакомство могло нанести ему какой-то моральный урон. Потом, однако, такое отношение показалось ему самому чересчур принципиальным, и он обратился ко мне вопросительно-утвердительно:

— Ты здесь в полку служишь?

Я понял, что Иван Родионович обосновался здесь всерьез и надолго. Я подумал и сказал:

— Я не имею права, товарищ майор, разглашать военную тайну.

— Ах, вот как! — еще больше удивился майор. — А как у тебя насчет увольнительной записки?

— С увольнительными у нас трудно, — сообщил я. — Но мы преодолеваем трудности. Катя, нельзя ли тебя на минутку?

Катя встрепенулась, улыбнулась Ивану Родионовичу, а мне ответила:

— Если это большой секрет, то я могу выйти...

Не попрощавшись с майором, я вышел в сенцы, затем во

двор. Вслед за мной вышла Катя. Во дворе, рядом с ухоженными грядками помидорной рассады, огурцов и лука, произошел наш очень важный разговор.

— Я слушаю тебя, — озабоченно произнесла Катя.

— Нет, это я тебя слушаю! — вспыхнул я, но тут же взял тоном ниже. — Ты хотела меня видеть — я пришел.

— А ты меня не хотел видеть? — кокетливо улыбнулась она.

— Очень хотел! — вырвалось у меня.

— Так вот я!

— Кто этот Иван Галактионич?

— Иван Родионович — квартирант, я ж сказала. Он не у вас служит, он — в госпитале, по снабжению. Очень воспитанный человек. Ты приходи к нам чаще — подружись с ним. Очень культурный человек.

— Чаще не могу, — сказал я, терзаемый предчувствиями, что и сегодня важный разговор не состоится. — И он мне совсем не нравится!

— Ну, приходи, когда его не будет дома.

— Я не могу ходить, когда хочу, — буркнул я сердито. — Я солдат, а не офицер.

— Приходи, когда сможешь, — приветливо пригласила Катя. — А сейчас идем в комнату: бросили Ивана Родионовича одного! Это невоспитанно.

— Нет, я не могу, — отказался я, в душе надеясь, что Катя будет уговаривать меня.

Но она сердечно улыбнулась и протянула руку:

— Тогда — до свиданья! Приходи, когда захочешь.

— Я, пожалуй, никогда больше не захочу приходить! — гордо произнес я и, не приняв протянутой мне руки, круто повернулся и вышел со двора.

Это был финал моей любви. Горько мне было сознавать, что она закончилась неудачей. Я разочаровался в жизни и знал теперь точно, что никогда больше не полюблю. Если она, такая чудная, славная, тонко чувствующая, оказалась неверной, то чего можно ждать от других, менее чудных и славных? . . .

Одно только если не утешало, то несколько облегчало мои страдания: Катя играла так не с одним моим сердцем. Ее жертвами были и Ваня Курилло, и Коля Сенченко, и даже старший лейтенант Сосницкий. Конечно, список этот был для меня слабым утешением, но все же, но все же! . . .

К тому времени мы уже провели боевые стрельбы. Предстоял новый выпуск сержантов, а там — маршевая рота и фронт! В штабе полка опять закипела усиленная писарская деятельность, формировались команды. Мы сдавали ненужное ротное имущество на склады, и вдруг — все замерло. Вся эта подготовительная деятельность прекратилась, и мы снова приступили к обычным занятиям по боевой подготовке. Но теперь занятия не могли идти с прежней интенсивностью: как будто наши командиры и сами не знали, что с нами делать. Среди нас ходили самые фантастические слухи, вроде того, что из нас хотят сформировать особую ударную бригаду и бросить на главное направление — на Берлин, где мы сможем навстречу упущенное.

Но, видимо, у Верховного Главнокомандования были на этот счет свои соображения, потому что штурм Берлина прошел без нашего участия. Потом наступил май, и однажды на рассвете нас разбудил дежурный по роте. Еще сам не веря этой новости, он сообщил:

— Война кончилась!

Тут в казарму ворвался старший лейтенант Сосницкий с ракетницей в руках. Глаза его сверкали.

— Рота, подъем! — крикнул он так, что стекла зазвенели в окнах. — Черти полосатые! Победа, а вы спите!..

Он с треском распахнул окно и, стоя в казарме, бабахнул из ракетницы в бледное рассветное небо. Красная ракета прочертила над городком огненную дугу. В казарме запахло дымом.

— Вставайте, орлы! — еще раз крикнул нам Сосницкий и выбежал из казармы.

Мы все поднялись, несмотря на ранний час, стали одеваться. Мы знали, что война вот-вот должна кончиться, и все же, когда пришла победа, это оказалось для нас неожиданностью. О ней так долго говорили в будущем времени, что, когда она наступила, мы все ожидали, нет ли какого подвоха: сдаются ли фашисты, не подведут ли союзники?.. Но радио голосом Левитана убедило: полная и безоговорочная капитуляция. Война кончилась!

После завтрака был митинг в полку, а потом лейтенант Гиря построил роту и разрешил всем нам уйти из военного городка хоть на весь день.

— Гуляйте! — приказал нам Гиря. — Веселитесь! Но честь и достоинство не ронять! Ясно? Разойдись!



И мы разошлись. По двое, по трое, группами направились мы из казармы в город, где на улицах шумел и разливался праздник. Радость у всех была так огромна, счастье так неподдельно, солнце такое яркое! Улицы запрудили смеющиеся и плачущие люди, и повсюду — музыка. Музыка из громкоговорителей на столбах; музыка военных оркестров; рыдающий аккордеон безногого инвалида; зурна и бубен в руках суровых темнолицых мужчин в бешметах и папах. Какой-то старик в синей, ничем не подпоясанной рубашке, без фуражки, выкатил на тротуар бочку и, наливая в кружки красного как кровь вина, угощал прохожих:

— Пейте, родные! Поминайте всех, кто погиб! Помяните моих сыночков, Ваню и Колю! Пейте, родные!

По морщинистому коричневому лицу старика катились слезы, он не вытирал их.

Мы с Ваней выпили по кружке терпкого вина и пошли вдоль по улице, среди поющих и плачущих людей всех возрастов. Потом Ваня заметил какую-то девчущку с задорной улыбкой и подтолкнул меня локтем:

— Сейчас пришвартуюсь!..

И исчез из моего поля зрения.

Я остановился перед эстрадой на главной площади города, где уже собралась немалая толпа. Там шел концерт. На эстраде стоял мужчина во фраке и толстым голосом пел: «Люди гибнут за металл...». Потом трио баянистов исполнило «Во поле березонька стояла». А потом... потом на сцену вышла Анна Николаевна Евсева, в длинном темно-синем платье. Мне она показалась лучше и красивее, чем я помнил ее.

Анна Николаевна стала читать стихотворение «Жди меня». Я затаив дыхание слушал ее и один во всей толпе, сгрудившей возле эстрады, понимал, что она читала стихотворение моему командиру, лейтенанту Лукашову. Это ему она говорила, что умеет ждать, как никто другой. Это ему была ее просьба, ее мольба, ее заклятие, чтоб он, Вадим Александрович Лукашов, остался жив!

Анна Николаевна закончила, поклонилась и исчезла за кулисами. Я решил, что обязательно должен увидеть ее: вдруг она получила письмо от Лукашова?..

Я обошел эстраду вокруг. Возле ступенек на расшатанном учрежденческом стуле сидела пожилая женщина в синем халате, лицо ее было равнодушно-сонным, что никак не вязалось

с сегодняшним днем, с музыкой, толпами. Остановив на мне взгляд, женщина спросила:

— Ты куда, солдатик?

— Мне нужно увидеть артистку Евсееву Анну Николаевну. Женщина подозрительно посмотрела на меня:

— Она ушла, кажись. . .

Я был в отчаянии. Но как раз в эту минуту из темного проема двери появилась Анна Николаевна, уже переодетая в светло-серый костюм. В руках у нее была сумка. Увидев меня, она радостно ахнула, торопливо сбежала по ступенькам вниз.

— Вы? — спросила она меня и, обхватив мою голову, пригнула к себе, поцеловала.

Я чувствовал, что краснею, как рак, ошпаренный кипятком: меня впервые в жизни, вот так просто, при всем народе, поцеловала взрослая чужая женщина. А она, подхватив меня под руку и не замечая моего смущения, повела вперед, на ходу торопливо забрасывая меня вопросами:

— Что ж вы не приходили? Как вам служится? А писем нет? Не пишет Вадим Александрович?

— Нет писем, — огорченно сообщил я. — Он сказал тогда, что не будет писать.

Я чувствовал себя виноватым в том, что Лукашов молчит.

— Мне тоже не пишет, — вздохнула Анна Николаевна, и на глаза ее навернулись слезы. — Может, его и в живых уже нет! Ведь должен, должен он понимать, как это жестоко — все время молчать! А может, нашел другую, ей поет свои песни! . .

— Ну, нет! — горячо разуверил я ее. — Лейтенант не такой! Просто он не любит писать. У него такая привычка, такое мнение. . .

— Это не мнение, это философия его: если разошлись, то лучше не напоминать друг о друге. Я знаю, он мне говорил это.

Мы шли с ней по грохочущей музыкой главной улице, раскрашенной флагами. С Анной Николаевной часто здоровались знакомые, обнимали ее. Вдруг навстречу нам попала группа офицеров нашего полка, и среди них — лейтенант Гиря. Офицеры окружили Анну Николаевну, тотчас оттеснив меня в сторону. Один лишь Гиря с неподдельным изумлением переводил взгляд с меня на Анну Николаевну: он окончательно убедился, что у нас с ней далеко не простые отношения.

Пока офицеры поздравляли Анну Николаевну с Днем Победы, а она поздравляла их, Гиря молчал. Потом приблизился к ней и, полупоклонившись, произнес церемонно:

— Примите, Анна Николаевна. Мои поздравления. Прошу прощения. Если давал повод. К огорчению.

— Ничего, пустое! — махнула рукой Анна Николаевна и, найдя меня взглядом, добавила: — До свиданья, нам некогда!

Она снова подхватила меня под руку, и мы оставили Гирию с его товарищами. Когда немного отошли, она спросила:

— Он ваш командир, да?

— Да.

— Он хороший?

— Не знаю, — честно признался я. — Он совсем не такой, как лейтенант Лукашов.

— Скучный он, — промолвила Анна Николаевна. — С собой видный, и даже руку умеет целовать, а — скучный! Бывают такие, — заключила она и тут же поинтересовалась: — Как ваши дела? Не влюбились ни в кого?

Она попала в самую точку, в самое больное мое место. Но так как она была старше меня лет на десять, то я чувствовал, что могу все рассказать ей о своих неудачах и переживаниях. Самое удивительное, когда я рассказывал, Анна Николаевна слушала меня очень внимательно. На губах ее блуждала легкая улыбка, но улыбка эта не ранила меня. Она словно говорила мне, что Анна Николаевна прошла через такую же боль и разочарование, через которые прошел я.

Потом она сказала мне:

— Вы — милый юноша, и я надеюсь, что в вашей жизни еще будет настоящая любовь, а не этот дым, что застилал вам глаза. Я бы очень хотела, чтоб вы познакомились с моей сестрой Женей. Она моложе вас на год. Но она живет в Ленинграде — это наш родной город. А вдруг вы попадете туда? Я дам ее адрес, а вы сохраните его. Может, когда понадобится. Хорошо?

Конечно, это было хорошо, даже замечательно!

— А как же вы? — вспомнил вдруг я. — Что будете делать вы?

Анна Николаевна грустно улыбнулась.

— Я — актриса, милый вы человек. Я буду играть, как играла. Мы скоро уезжаем на гастроли, вернемся в сентябре. Если до сентября вы будете здесь — я ведь не знаю ваших пла-

нов, — то приходите ко мне обязательно. Я буду ждать. Но если не встретимся — не забывайте ленинградский адрес. Там обо мне всегда знают, где я.

Когда мы расстались с ней, я весь остаток дня бродил по городу под впечатлением разговора с Анной Николаевной. Потом я встретил Ваню Курилло с его новой знакомой. Потом большая компания мужчин и женщин затащила нас во двор какого-то дома. Во дворе под деревьями стояли накрытые столы. Нас с Ваней усадили за стол и принялись угощать с таким радушием, будто мы были в числе тех, кто брал Берлин. Сперва я чувствовал себя самозванцем, но потом чувство неловкости прошло. Мы все подружились, пели и плясали, и я был горд, что ношу форму солдата.

Анна Николаевна словно читала книгу моей судьбы. Уже в конце мая прошел слух, что полк должен быть расформирован. Долгое время эта новость так и оставалась на уровне слухов, как вдруг приехала многочисленная по составу комиссия, которая стала отбирать кандидатов в летное училище. Летчиком? А почему бы и нет?..

Мы с Курилло, в числе сотни других наших товарищей, решили попытать счастья на летном поприще, хотя совершенно не представляли, как это можно оторваться от твердой почвы. Но это после, после, а сейчас главное — пройти суровую медицинскую комиссию из полутора десятка человек. Биографические данные у меня были подходящие, слух, зрение, голос, осязание и обоняние — на уровне. Телосложением я, правда, не вышел в геркулесы, но геркулесов у нас в полку было не так уж много.

Все шло хорошо, у медиков не было ко мне претензий. Наконец я попал в руки седоволосой женщины в белом. Она приказала мне закрыть глаза, трижды повернуться вокруг себя, присесть двенадцать раз. После этого она стала слушать мое сердце и заглядывать в мои глаза. Меня это ничуть не волновало. Женщина в белом повернулась к своему коллеге-мужчине, произнесла короткую фразу, в которой я уловил, да и то не убежден, что правильно, одно только слово «шок». После этого мне вручили медицинскую карточку и сообщили, что к летной службе я непригоден. Прощай, небо!

А Ваня Курилло оказался годен. Через три дня мы с ним простились. Ваня шутил:

— Мне бы только взлететь, а на землю я опущусь, так или иначе!

Он шутил и был уже не со мной, глядел сквозь меня, в голубую заманчивую даль воздушного океана. Для него уже не оставалось того, что было, а было только то, что будет. Он помахал мне пилоткой и ушел вместе с группой отобранных курсантов летного училища.

Потом приехала еще одна комиссия, и еще одна. Нас забирали пачками в артиллерийские и танковые училища, в химии и саперы, в пулеметчики и связисты. Но я, после провала летной карьеры, решил не идти никуда. Я стал ждать сам не знаю чего. Такого же мнения был и Митя Чувелев, но, я думаю, он кривил душой: Чувелев был назначен помощником к заведующему полковым складом продовольствия и, по всему было видно, решил связать свою жизнь с интендантской службой.

Уезжали из полка и офицеры. Исчез, не простившись со мной, беспечный мой командир взвода Сосницкий: я был в наряде, а он не удосужился найти меня. Потом уехал лейтенант Гиря. Накануне отъезда он вызвал меня в канцелярию роты.

— Как ваша жизнь? — для начала поинтересовался он.

Я не мог ответить ему ничего определенного о моей жизни. Но Гире не требовался мой ответ.

— Уезжаю я, — сказал он.

Встал, прошелся по комнате, потом уточнил:

— Демобилизуюсь.

Еще прошелся по комнате.

— До войны я работал в тресте, — пояснил он. — В крупном тресте. У меня экономическое образование.

Мне было трудно поддерживать беседу — до сих пор никогда мы не разговаривали с Гирей на подобные темы. К счастью, как я уже заметил, он не нуждался в активной поддержке разговора. Ему надо было высказать терзавшую его мысль, и он высказал ее наконец:

— Я хочу вас попросить. Вы увидите Анну Николаевну. Кланяйтесь. Передайте мое всяческое уважение.

— Анны Николаевны не будет до сентября, — сказал я.

— Все равно. После передадите. Когда увидите.

На этом мы расстались. Гиря уехал убежденный, что я неспроста попадался ему на глаза в обществе Анны Николаев-

ны. Я не стал разуберять его — хотя бы ради лейтенанта Лукашова.

Городок наш наполовину опустел. Мы, оставшиеся, тоже собирались покинуть его, как однажды приехала еще одна комиссия, из трех человек. Она отбирала кандидатов в обыкновенное пехотное училище. Но училище это находилось не где-нибудь, а в Ленинграде, там, где жила сестра Анны Николаевны. Тут было над чем задуматься.

Мне было грустно, что я так и не попал на фронт, не заслужил боевых наград, как мои одногодки. Когда-нибудь потом, через двадцать или тридцать лет, мне нечего будет рассказать мальчишкам о боевых делах, потому что я не воевал. Правда, мой отец и мой брат погибли как воины в боях за нашу землю. И, может быть, ради них, погибших, мне следует пойти в училище, чтобы стать настоящим военным. Не сама ли судьба, в лице трех приехавших из Ленинграда офицеров, указывает мне путь?

Я поразмыслил, прислушался к голосу судьбы и уехал в Ленинград.

АЛЕКСАНДР МИЛЯХ

* * *

Солдат, я стол хочу накрыть
Для нас двоих в тепле.
Я тридцать лет успел прожить,
Ты — тридцать лет в земле.

Сними походную шинель,
К ней волжский снег прилип.
Когда родился я в метель,
А ты в метель погиб.

Смотрела вечная звезда
На твой последний бой.
Мы снова мирные года
Отпразднуем с тобой.

Пой о России фронтовой
Под грустную гармонь.
Я перекур делю с тобой,
Тепло, вино, огонь.

* * *

Была веселая работа.
У дота до седьмого пота
Мы воевали для кино,
Пока не сделалось темно.
Дощечкой девушка стучала,
А нам, здоровым, горя мало,
Мы рады на экран попасть.
Мы научились жить сначала,

Под взрывы падая, вставать,
Бранить взаправду непогоду,
Идти степенно в жуткий бой,
Пить продырявленную воду,
Дышать продымленной землей.
Гремело с восхищенной силой
Остервенелое «ура!».
Нам эта нравилась игра —
На ручках медсестры красивой
На фоне неба умирать.
Но режиссер с бородкой вольной
В машине, маршала достойной,
Наметил выше высоты.
И мы другую взяли грозно,
Но оказалось, что не ту.
И мы стихали понемногу,
Опустошенные игрой.
Несли нас сгорбленные ноги
В последний бой, и слава богу.
Хотелось мира и домой.

АНАТОЛИЙ РАССКАЗОВ

* * *

Не за горами время листопада,
Холодный ветер, видно, дул не зря.
Быть может, завтра в парки Ленинграда
Придут мастеровые сентября.

За островами дождь натянет сети,
Неугомонный, ветренный, чужой.
И заблестит на северном рассвете
Серебряное солнце чешуей.

И мы помчимся за своей судьбою
Поближе к морю да подальше в лес,
Лицо рябины целовать рябое,
Пока на свете петь не надоест.

Но только ветер побежит за нами.
И, разлетевшись в разные концы,
Оцепенеют листья под ногами,
Как из гнезда упавшие птенцы.

ВАНЬКА

Когда-нибудь приснятся мне
Не сны мои, а сны России.
Иван-царевич на коне
И Ванька-дурень на осине.

С орлами ворону не жить,
Но сказки сказывались верно:

Ополоумевший мужик
Надумал свататься к царевне.

А ты решился и пошел
Не через жизнь, а через силу.
И все в ней было хорошо,
И все в ней было некрасиво.

Кричала страшно: «Отвяжись!
На что ты мне, несчастный идол?»
А ты любил ее, как жизнь,
И больше смерти ненавидел.

* * *

Надоело. Выболело. Хватит
Мне простого летнего дождя.
Надевай заношенное платье,
Уходи куда глаза глядят.

Ну а дождь спросонок еле-еле
По окошку пальчиком стучит.
Понимаешь, я ведь не Емеля,
Чтоб с тобою ездить на печи.

Я на самой первой электричке
Вдаль умчусь, где рощицы тихи...
Вот и все.
И обгоревшей спичкой
Напишу на форточке стихи.

ЕЛЕНА БАРАНОВСКАЯ

Я МЕЧТАЮ О ТРЕТЬЕМ РЕБЕНКЕ!

Рассказ

Я мечтаю о третьем ребенке! Но я боюсь высказать вслух эту мысль.

«Ольга сошла с ума!» — сказали бы хором знакомые и сослуживцы. Отчего появилось такое желание — я и сама не совсем понимаю. Может быть, повлияла дискуссия на тему «Сколько иметь детей»?.. Или нескончаемые разговоры о сокращении рождаемости... а может быть, это просто естественнейшее женское желание, заглушаемое по временам суетой, спешкой, бытовыми мелочами? Но я молчу! Я не могу сказать об этом даже тем, кто обсуждает статьи демографов, психологов, врачей и журналистов, кто признает проблему рождаемости важнейшей проблемой современности и с беспокойством думает о том, кто будет завтра создавать культурные и материальные блага. Кстати, о благах. Вполне благополучная, имеющая все материальные блага моя приятельница, узнав, что у меня второй ребенок, воскликнула:

— Не знаю, смогу ли я позволить себе такую роскошь!

— Ольга — героическая женщина, — вздохнули сослуживцы.

— Ну, надеюсь, этим мы ограничимся, — сказал с облегчением муж и поспешил выехать в командировку...

А я достала с полки книгу «Наш ребенок», которая была моим бесценным и единственным помощником, когда родился Саша.

Теперь эта книга оказалась вторым помощником, первым стал сын... Соски, пеленки, бессонные ночи — все это быстро проходит и растворяется в той необъятной радости, которую дети вносят в наш мир. И воспитатели в детском саду уже улыбаются, вспоминая, как я, распаренная, красная, ташу на

руках Машеньку и тяну за руку Сашу, как прибегаю за ними последняя в группу и терпеливо выслушиваю советы, что надо бы поискать работу поближе. . .

— Какие у вас милые, воспитанные дети, — говорят сослуживцы. — Как вы все успеваете?

А я вспоминаю слова, написанные словно про меня: «Вы умеете зажигать спички с ребенком на руках? Это делается так. . . Нет, лучше я научу вас чистить картошку, качать коляску и проверять уроки старшего одновременно. . .»

— Ира, — осторожно спрашиваю я приятельницу, которая жалуется на капризы ребенка, — ты не хотела бы иметь второго?

— Избави боже! — кричит она и машет руками. — Я и так света не вижу. В яслях болеет, бабушка не хочет идти на пенсию, нянюку не найти, хоть увольняйся! Не представляю: как ты без бабушки с двумя управляешься?

Я умолкаю. Я не могу ей признаться, что мечтаю о третьем. . .

Вечером, читая детям какую-то книжку, я увидела картинку. Молодая и милая мама, рядом с ней дочка и сын и совсем еще крохотный малыш. . . Сашка заметил, что я что-то пристально разглядываю эту картинку, и сказал:

— Мамочка! Она немножко похожа на тебя. А это — я и Маша.

Он перевел глаза на малыша и замолчал. . .

— А что, если и нам завести малышку? — шутливо спросила я.

— А где же он будет спать? — спросил практичный Саша.

— Только не отдавай ему мою кроватку, — тихо попросила Машенька.

Я засмеялась. В этой кроватке еще недавно спал Сашка. Он очень привык к ней и не хотел отдавать Машеньке. Мы долго с ним советовались и договаривались, какую купить тахту и как ее поместить. . . Теперь Саша гордится тем, что спит на тахте, как большой.

Я иду на работу и рассматриваю встречных малышей. . . Губы невольно улыбаются, сердце начинает сладко замирать. Я ловлю себя на том, что придумываю имя. . . и вдруг. . . вдруг мои голубые мечты разлетаются вмиг: шеф!

— Как? Еще одного ребенка? Третьего?! — воскликнул бы он, снимая очки и долго, старательно протирая их, как всегда в минуты сильнейшего волнения.

Я вспоминаю, как однажды, когда Саша болел, я что-то напутала в расчетах. А работа была срочная. Шеф не сказал мне тогда об этом. Он взял расчеты домой и пересчитал их сам... работая ночами... А сколько раз он отпускал меня с работы в поликлинику, в ясли... У нас «горел» отчет, а я сидела дома с малышами... Я останавливалась перед ним, не смея поднять глаз, и он уже все понимал:

— Ну что? Опять болеют? Ну, ступайте...

...Я больше не разглядываю малышей. И не придумываю имя.

Нет! Третий ребенок останется только моей мечтой!

ЯНВАРЬ, 74

Мы все ссылаемся на век,
На занятость,
На многоточие...
Подуло с запада,
И снег
Сползает в трубы водосточные.
Ах, этот климат!
Но дела
 важнее реплик про погоду.
Цыганка розы продала
Интеллигентному народу.
Все ближе сумрак.
Ровно в пять
Зажгут неоновые лампы.
И кто-то будет сочинять
Про все про это —
 дифирамбы.

ДИНА МАКАРОВА

АНКЕТА ДЛЯ НЕЗАМУЖНИХ

Рассказ

«Милая Кира, в добавление ко вчерашнему письму посылаю тебе три анкеты: может быть, они пригодятся тебе для одного из рассказов. Я обнаружила их в грудке ненужных бумаг на своем столе, когда вернулась в отдел после декретного отпуска. Составил анкету и распространил в тысячеквартирном доме дипломник-практикант, который сидел за моим столом.

Вот перечень вопросов анкеты:

1. Сколько Вам лет?
2. Ваша профессия? Довольны ли Вы своей работой?
3. Вы любили когда-нибудь?
4. Почему Вы не замужем?
5. Ваши достоинства, недостатки?
6. Как относятся к Вашему положению незамужней друзья, родственники?
7. В чем Вы видите преимущества Вашего положения (минусы)?
8. Каким Вам представляется будущее?
9. Хотели бы Вы иметь ребенка?
10. Как Вы относитесь к идее знакомства с помощью ЭВМ?

Напиши, заинтересовали тебя или нет подробные ответы трех женщин. Меня, например, просто изумила их предельная откровенность.

Пиши. Всегда с нетерпением жду твоих писем.

А ля».

Анкета первая (написанная каллиграфическим почерком).

1. Тридцать пять.
2. Я рядовой младший научный сотрудник.

Вот собралась отвечать на вопрос о работе, и сразу же у меня настроение испортилось. В самом деле, стыдно кому-нибудь рассказать, чем занимается наш институт со дня основания, вот уже десять лет. Стоит только посмотреть один из отчетов, которые мы выпускаем, так сразу станет ясно, что от этого наукообразия промышленность не получает никакой пользы. Зря государственные деньги расходуют. Чтобы не быть голословной, приведу такой пример: закончили мы недавно исследовательскую тему по изучению покупательского спроса на детские игрушки, выпустили солидный по размерам отчет. Чего там только не было — история возникновения игр и игрушек в разных странах, деление их на группы и подгруппы по назначению, возрастной принадлежности, материалам и так далее, десятки листов приложения с перечнем всего выпускаемого в стране ассортимента, расчет количества игрушек на одного ребенка и тому подобное. Не было только одного: выводов и предложений. А ведь именно эти данные надеялось получить от нас объединение, которое заказало нам эту договорную тему.

Однажды на совещании я пыталась поднять этот вопрос в присутствии директора центрального института, но мой непосредственный начальник, Борис Михайлович Ласкин, буквально не дал сказать мне слова.

А несколько дней назад, когда мы работали в воскресенье, корректируя последний том отчета по законченной теме, он так нервничал, так суетился и торопил нас, опасаясь, что мы не успеем выслать заказчику эту белиберду на три дня раньше намеченного срока и лишимся причитающейся премии, что я не выдержала и сказала:

— Борис Михайлович, возьмите себя в руки. Не мешайте работать.

Он изменился в лице и так взглянул на меня, не сказав при этом ни слова, что я сразу поняла: надо увольняться, тем более что предстоит переаттестация и он мне такого выпада не простит.

Это даже лучше, что так все случилось. Я не раз думала о том, что пора уходить, но моя вечная нерешительность мешала мне сделать этот серьезный шаг. Ведь на такой работе можно совершенно дисквалифицироваться и перестать уважать себя. Со своей специальностью экономиста я могу найти действительно интересную, а главное, нужную работу, за которую не придется краснеть.

3. Любила.

4. Я была замужем и обожала только своего мужа. А он предал меня, предал нашу любовь. Не заметила я, когда это началось. Все шесть лет я мчалась домой с работы и ждала его с таким волнением, как когда-то на свидание. Если речь заходила о мужчинах, я невольно говорила только о нем. Когда в праздничные дни мы всем отделом собирались в кафе или ресторан, я звонила ему и просила пойти со мной. Если он не соглашался, я возвращалась домой — без него мне было тоскливо. Когда к нам приходили гости, только для него одного я пела, рисовала смешные карикатуры, сочиняла к ним подписи в стихах. Его присутствие вдохновляло меня. «Посмотри, как любят меня твои друзья! — хотелось мне крикнуть ему. — Я же люблю только тебя, принадлежу тебе одному, почему ты не ценишь этого?»

Мы никогда или почти никогда не ссорились. Он был необычайно сговорчив и во всем соглашался со мной. Только однажды он упрекнул меня, что не я, а моя мать готовит завтраки для него, не я, а моя мать стирает его белье. Но это было лишь однажды.

Потом родилась дочь, и часть своей любви я перенесла на нее. Все заботы о ребенке взяли на себя моя мама и бабушка. Через три месяца после рождения дочери я вернулась к работе.

Во время обеденного перерыва все женщины бежали за продуктами, а я шла в книжный магазин, где всегда было что-нибудь новенькое. Сначала муж просматривал те, что я приносила домой, — это были книги о театре, художниках, стихи или просто красочные издания на разных языках с отличными иллюстрациями на мелованной бумаге, — потом он потерял интерес к тому, что я читаю, чем увлекаюсь. Он работал мастером на сборке цветных телевизоров, считал свою специальность самой интересной и, между прочим, не раз предлагал мне перейти к ним на завод экономистом.

Длинными весенними днями он стал вдруг задерживаться на работе. Я не спрашивала ни о чем — мало ли что бывает. Приходил домой в десять-одиннадцать, веселый, шутил и смеялся чаще, чем прежде. Однажды он не пришел ночевать, но на следующий день явился вовремя. Ничего не выпытывая, я украдкой поглядывала на него. Лицо его было спокойным — ни тени смущения. Я надеялась, что это случайность: наверное, выпил в компании друзей и заснул. Но



через день это повторилось снова, потом еще и еще.

В те ночи я не могла заснуть, да, как известно, несчастье никогда не приходит в одиночку — заболела дочь. Муж возвращался с работы грустный, сидел у кровати дочери, потом одевался и уходил из дому, не сказав ни слова. Когда щелкала двер-

ная задвижка, мне казалось, что я не выдержу, побегу за ним и если не верну его, то выброшусь с балкона. Так было всякий раз, когда он уходил. Говорить с ним было невозможно — он просто не отвечал на вопросы и уходил из комнаты. Я шла за ним в кухню — он опять возвращался в комнату, закрыв передо мною дверь. Мне хотелось высадить дверное стекло, ударить его, схватить за горло и узнать правду, — не знаю, как я сдерживалась, чтобы не потерять самообладания. Наверное, тишина в детской, где лежала в кровати, прислушиваясь, больная дочка, отрезвляла меня.

Так прошло две недели. Дочка поправилась. Я собралась наконец поехать на завод и поговорить с одной знакомой, которая хорошо знала нашу семью.

Та в недоумении широко открыла глаза:

— Нет, я не верю! Кто-кто, только не ваш муж способен

на это! На него это так непохоже... Но я постараюсь все узнать...

В следующий раз она дала мне адрес, и я поехала к НЕЙ. Все было как во сне. Я не помню, о чем мы говорили. Помню только, что он был совершенно спокоен, а у НЕЕ было очень бледное лицо, почти белое от страха или волнения, и она настойчиво предлагала выпить чаю.

Успокаивая меня, замужние женщины рассказывали мне подобные истории, случавшиеся с их знакомыми, и почти каждая говорила: «Не огорчайся, мужики все одинаковые. Рано или поздно муж должен перебеситься. Он вернется к тебе, вот увидишь, только не гони его, не подавай на развод».

Но моя мама, узнав о случившемся, настаивала на расторжении брака, и я иногда жалею, что поспешила.

Так я осталась одна. Через месяц после развода мой бывший муж стал регулярно навещать дочку, по несколько часов гулял с ней, дарил красивые игрушки. Иногда после длительной прогулки втроем мы сидели в кафе, и мне казалось, что он по-прежнему ласково смотрит на меня, но вскоре он прощался и уходил к НЕЙ. Он не забывал поздравить меня с праздником, с днем рождения, он звонил мне на работу, справляясь о здоровье дочки, если она болела; он бывал грустным, когда мы снова встречались в парке, и опять пылинка надежды оседала на мое сердце. Я никак не могла справиться с мыслью, что навсегда потеряла его. Я снова и снова перебирала нашу жизнь по годам, по дням, пытаюсь найти ошибку, и не находила ее. И только много позже я вспомнила и взвесила его слова: «Ты никогда не относилась ко мне с должным уважением».

Да, это было так. Я много читала, ходила на концерты и выставки, я восхищалась тем, что лежало на поверхности и от чего он с презрением отворачивался. Мне же казалось, что он недостаточно умен, мало начитан. Если в компании заходила речь о новинках иностранной литературы и гости горячо спорили о достоинствах и недостатках «Черного принца» или «Вечера в Византии», мне было стыдно за мужа, который с безразличием на лице усаживался с газетой в кресло в углу комнаты и не принимал участия в разговоре, хотя и прочел обе эти вещи.

А если вспомнить те вечеринки у нас дома, где я всегда была центром, вокруг которого не умолкало веселье... Нет, не его присутствие возбуждало меня, — я восхищалась собой,

своим остроумием и привлекательностью, он же был просто зрителем, и теперь я часто припоминаю его временами смущенный или тоскующий взгляд. Подсознательно чувствуя свою вину, я компенсировала ее нежностью к мужу. Мне никогда не надоедало целовать его, и, наверное, мало на свете любовниц, а тем более жен, которые были так же изобретательно ласковы со своими возлюбленными.

5. О моих достоинствах и недостатках Вы можете судить по тому, что я уже написала. Скажу только еще об одном: мама говорит, что у меня нет гордости, — наверное, это правда. Она упрекает меня за то, что до сих пор я позволяю мужу приходить в наш дом, что дружелюбно разговариваю с ним и все еще не подала на алименты.

6. На работе долго не знали, что стряслось со мной: я приходила зареванная, карандаш падал у меня из рук. С расспросами ко мне не приставали, а когда я сама рассказала обо всем, многие просто сначала не поверили.

Родственники, все как один, советовали забыть его, уверяли, что он недостойн меня — раньше они просто не решались говорить об этом, и надо сказать, что от этих слов мне становилось немного легче.

До сих пор он приходит навещать дочку, правда теперь все реже и реже, и все чаще смотрит на часы. Я не хожу гулять вместе с ними, а стараюсь уйти из дому до его прихода.

Жалея, мама освободила меня от всех забот, бабушка забирает девочку из садика, так что вечер принадлежит мне.

7. У меня появились новые знакомые — с одними мне весело, другие быстро надоедают, но я никогда не бываю одна. Жизнь одинокой женщины — не для меня.

8. Рано или поздно я снова выйду замуж — в этом я совершенно уверена.

Один старый холостяк долго ухаживал за мной, намекал на возможность союза. Но когда он стал целовать меня, я поняла, что такое физическое отвращение.

А недавно в ресторане, когда мы отмечали сорокалетие нашего сотрудника, я познакомилась с молодым мужчиной. Сначала я заметила его пристальный взгляд и уже не могла не обращать на него внимания, но, когда заиграл оркестр, я забыла о нем. Меня пригласили танцевать. На мне было новое, отлично сшитое платье, я давно не чувствовала себя такой нарядной и привлекательной, как в тот вечер. Как известно, сознание своей обаятельности сильно действует на

женщину, она ведет себя более непринужденно и предстает в глазах других в самом выгодном свете. И вот когда я совсем забыла о молодом мужчине, который так пристально смотрел на меня, он вдруг подошел ко мне и пригласил на вальс. Он оказался прекрасным танцором, что большая редкость в наши дни. И ростом, и телосложением он напоминал мне бывшего мужа. Единственное, что смутило меня, — это его возраст. Ему, как мне показалось, не было и тридцати.

Мы стали встречаться. Он был малоразговорчив и серьезен. Казалось, обрушившаяся на него нежность пугает и вместе с тем притягивает его все сильнее. Он не знал, что она предназначалась вовсе не ему, а другому, по которому так тосковала моя душа. Он шептал мне ласковые слова, говорил, что всегда мечтал встретить такую нежную женщину, а утром, собираясь уходить, почему-то хмурился и молчал, явно чувствуя, что я жду от него каких-то слов. Он не говорил: «Позвони» или: «Я позвоню». Он просто уходил, поцеловав меня на прощание.

Проходила неделя, другая. Проходил месяц, он не звонил. Я не выдерживала и набирала номер его телефона. Он сразу же узнавал мой голос, и по тону, каким он говорил со мной, я слышала, как он рад звонку. Казалось, он злился на себя за то, что все сильнее привязывается ко мне, и, мстя за это, всякий раз не оставлял надежд на новую встречу. Я запрещала себе звонить ему, упрекая себя в отсутствии гордости, но проходило время, я вспоминала его слова, оброненные им однажды: «Я так люблю тебя, что не знаю, что делать», и снова сама назначала свидание.

Мы встречаемся до сих пор.

На остальные вопросы отвечать нет смысла.

Анкета вторая.

1. В октябре мне исполнится тридцать.

2. Продавщицей в книжном магазине я оказалась случайно — не выдержала конкурса на биофак, а теперь ничуть не жалею об этом. Во-первых, каждая новая книжка — а я собираю библиотечку современной прозы — может стать моей. Во-вторых, среди постоянных покупателей есть очень интересные люди. Некоторые из них вначале пытались завести со мной выгодное знакомство с помощью шоколадок и букетиков, но поняли, что не на ту нарвались. Терпеть не могу взяточников и лицемеров, ведь все и начинается с таких вот

мелочей. Подарки теперь несут няне в детский сад, чтобы получше ухаживала за ребенком, санитарке в больницу, где лежит дорогой родственник, и даже учительнице в школу — это ли не безобразие? И очень часто работа родительского комитета заключается в сборе денег на подарки к очередному празднику. По-моему, каждый что-то делает в своей жизни для людей: я продаю книги, другие шьют одежду, пекут хлеб, подметают улицы. Работа — мой долг, моя обязанность перед обществом. А если рассуждать с точки зрения взяточника, то каждый из нас может претендовать на подношение от другого — но ведь это же глупость. Именно благодаря мелким взяткам получилось так, что продавщицы в универсамах распоряжаются дефицитным товаром, как своей личной собственностью: захочу — продам, не захочу — спрячу под прилавок.

После этих слов я и сама о себе подумала: ведь я тоже иногда придерживаю две-три книги, но это совершенно бескорыстно, можете мне верить. Началось все с того, что однажды мне стало жаль одного очкарика, который через день заходил в магазин после работы, но к тому времени все новинки были уже распроданы. Или пенсионер, интеллигентный такой старичок с ветхим портфельчиком, — он еле ноги передвигает и все подергивает головой, будто ему тесен ворот рубашки. Он так огорчается, если не успевает купить то, что ему нужно. Ну как о нем не позаботиться? Или женщина одна. Я заметила ее в тот день, когда, обращаясь ко мне с просьбой показать книгу с самой верхней полки, она так покраснела, словно собиралась украсть ее. Вот у нее я никогда бы не спросила: «Будете брать?» Она бы обязательно пошла платить в кассу даже в том случае, если книга ей ни к чему. Знаю я таких людей.

Сознаюсь, что именно для этих троих я оставляю несколько экземпляров и прячу их от глаз завсегдатаев, которые часами простаивают в магазине. Они буквально носом чувствуют, когда ожидается поступление, и никогда не ошибаются (только, может быть, им звонят наши продавщицы или товароведы со склада?).

Или бывает так: вдруг в течение нескольких минут в стороне от кассы выстраивается огромная очередь, она растет, как снежный ком, в салоне уже нечем дышать, работать совершенно невозможно, не слышно, о чем спрашивают покупатели. Тогда выходит наш директор и объявляет, что новых книг сегодня не будет, но это стоящих в очереди не убеждает.

Так они простаивают иногда до закрытия магазина, а с утра приходят снова, встают возле кассы или толкуются на лестничной площадке. Терпеть не могу этих людей, презираю их — у них слишком много свободного времени. Они из тех, что становятся в любую очередь и только потом спрашивают: «А что здесь дают?»

Очень интересно наблюдать за покупателями, когда они выбирают книги, бегая по полкам глазами, и гадать, что кому нужно, определять профессию. Очень часто я угадываю, какую книгу приобретет человек. Это стало моим тайным хобби.

Однажды мне чуть не написали жалобу. Вот как это произошло: возле прилавка остановился мужчина средних лет и долго изучал витрину. Лицо его было недовольным, почти злым. Я сразу догадалась, что это автор книги, которую не покупают. Прежде чем выйти из магазина, он не удержался и, можно сказать, выдал себя с головой.

— Вы не умеете торговать! — высокомерно заявил он. — Вы обязаны рекламировать книгу, предлагать ее покупателю, а, пока я находился здесь, вы не проронили ни слова.

Официально он прав, и директор не раз напоминал нам об этом. Но теперь совета у продавца спрашивают только случайные посетители, которым надо сделать кому-то подарок. Чаще просто читают аннотацию к книге или просматривают ее возле прилавка. Уж поверьте моему опыту: ни одна хорошая книга не залеживается на полке. Ее непременно заметят. А плохую и предлагать стыдно.

3. Ответить на третий вопрос анкеты мне трудно: не знаю, любила ли я, но увлекалась лет до двадцати пяти довольно часто и всерьез. Если считать по дневниковым записям, то взаимно и без взаимности я влюблялась девятнадцать раз.

Когда мне было двадцать три года, я собралась выйти замуж. Я привела своего жениха в наш дом и познакомила с родителями. Не знаю, чем он не понравился моей маме, наверное тем, что не пришел, как ожидала она, с цветами, большим тортом и бутылкой вина, но с того самого дня у нее усилились приступы, которые раньше были чуть заметны.

Надо сказать, что до ухода на пенсию мама была совершенно здоровым человеком. Всю жизнь она работала в Зоологическом институте, изучая беспозвоночных, издала несколько трудов, а когда ей исполнилось пятьдесят пять, она и не подумала уйти на «заслуженный отдых», потому что не представляла своей жизни без работы. Но вскоре после



поздравлений и вручения подарков ее пригласили в кабинет директора и намекнули на то, что надо уступить дорогу молодым, которые давно ждут вакантного места. С этого все и началось...

Проснувшись среди ночи, я с ужасом обнаруживала маму у своей постели. Рыдая, она обнимала меня и причитала, словно по умершей. Ей всегда казалось, что я необычайно талантлива. Между прочим, в университет я решила сдавать экзамены только уступая ее настоятельной просьбе. Мама очень расстроилась, когда узнала, что я не прошла по конкурсу, и до сих пор стесняется того, что я работаю обычным продавцом в книжном магазине.

Стыдно признаться, но я стала бояться собственной матери. Однажды ночью она вскочила и стала трясти меня, сонную, за плечи:

— Да прекрати ты наконец грызть орехи, я не могу заснуть! — кричала она.

На следующий день мы решили вызвать врача и сделали это так, чтобы мать не догадалась, в чем дело. Пришел пожи-

лой усталый мужчина. Он долго беседовал с мамой, задавая ей обычные вопросы и глядя на нее пронзительно-голубыми глазами с белыми ресницами. Уходя, он оставил несколько рецептов. Лекарства маме помогли только на некоторое время.

Мой знакомый больше не приходил к нам, мы встречались на улице. Но, увидев его однажды возле дома — он ждал меня, чтобы пойти в Филармонию, — мать запретила мне уходить и пригрозила, что, если я ослушаюсь, она повесится сразу же после моего ухода. Больше мы с ним не виделись.

После этого эпизода мать стала болезненно подозрительна и ревнива. Однажды я заметила, что она избегает входить в комнату, где сидит перед телевизором отец.

— Принеси-ка мне салфетки, они лежат в серванте, — робко попросила она.

— Я не знаю, где искать их. Возьми сама, — сказала я только для того, чтобы проверить свои предположения.

— Неудобно мешать отцу... Он там разговаривает с какой-то женщиной.

Я подошла к ней, решительно взяла за руку и ввела в комнату:

— Ты видишь, отец один, он смотрит телевизор, больше в комнате никого нет, — спокойно, как маленькому ребенку, объяснила я.

Мама огляделась, заметно смутилась и выскользнула в кухню, забыв про салфетки. Я надеялась, что это случайный эпизод, что такого больше не повторится, но потом часто замечала, как мама, готовя обед, прислушивается к чему-то, и, если я начинала громко разговаривать с ней, просила меня:

— Люда, тише, ведь там посторонние... .

Мне было непонятно, как у совершенно здоровой, на первый взгляд, женщины могут быть такие заскоки. Я хватала ее за руку, тащила в комнату и говорила:

— Ну, посмотри, кого ты здесь не знаешь? Это твой муж, это твой сын, так с кем тебя еще познакомить?

Вот так я и живу. Не знаю, что стало бы с мамой, если бы я все-таки решилась выйти за того парня.

5. О моих достоинствах мне нечего сказать. Два слова о недостатках: я слабохарактерна, у меня нет силы воли. Мое собственное мнение я могу с легкостью изменить под влиянием чьих-то убеждений. Я никогда и ни в чем не уверена до конца.

6. В нашем магазине почти все незамужние, правда девочки немного моложе меня. Да разве легко выйти замуж такой, как я, в наше время? Вокруг столько молоденьких, высоких, красивых, хорошо одетых, и рядом я — худощавая, небольшого роста, с бледным лицом. Пожалуй, виной тому тяжелое послевоенное детство. Да и каких только болезней нет у меня в мои тридцать лет! И когда я обращаюсь к врачу, он в первую очередь спрашивает: «А вы замужем?» — и сразу советует выйти замуж, словно замужество — средство от всех болезней. И только один врач отнесся к моим жалобам серьезно. Выслушав и осмотрев меня, он не то осуждающе, не то сочувственно покачал головой:

— Какая же вы худенькая!.. («Да не худенькая, а тощая, — хотелось поправить его, — что поделаешь, если нет аппетита») — и вдруг предложил путевку в санаторий. Ни с того ни с сего! Совершенно посторонний человек.

И я уехала в Крым. Много читала, бродила по берегу моря. Лечебные процедуры утомляли меня настолько, что я, вернувшись в комнату, мгновенно засыпала до утра.

Мысли о замужестве я отбросила давно. Раньше я увлекалась косметикой, следила за модой, а сейчас махнула на все рукой — кому это нужно? Правда, и теперь со мной заговаривают молодые мужчины, пытаюсь познакомиться, но это меня настораживает: не верю я в их искренность. Вернее всего, им нужны новые редкие книги, но не я.

В один из январских дней возле моего прилавка остановился да так и простоял до закрытия один молодой мужчина, листая одну за другой все книги подряд. Подождав, пока закроют магазин, он предложил пойти к нему, послушать музыку. Не знаю почему, я согласилась.

В маленькой теплой комнатке было очень уютно. Настенное бра возле дивана, застланного ковром, окрашивало все предметы в приглушенные розовые тона. Он подал мне тапочки с пушистыми помпонами и пригласил сесть на диван. Включил магнитофон. Зазвучал «Бранденбургский концерт» Баха. Я с наслаждением устроилась на мягком диване и, слушая любимую музыку, совершенно забыла о том, что рядом со мной сидит посторонний человек, с которым мы не сказали и двадцати слов. Мне было хорошо и спокойно в той комнате.

Он сел рядом и, тяжело дыша, стал гладить мои колени. Чувствуя надвигающуюся опасность, я отодвинулась в угол дивана, уже не слыша ничего, кроме его шумного дыхания. Он

снова придвинулся ко мне и с силой привлек к себе. Я вскочила и бросилась вон из комнаты, вбежала в ванную и закрылась на защелку. Он бил в дверь кулаками, дергал за ручку так, что прогибалась задвижка. Я ни жива ни мертва стояла возле умывальника и видела свое белое от испуга лицо.

Минут через десять он успокоился, просил прощения и умолял открыть. Я не открывала. Тогда он издевательским голосом стал говорить мне всякие гадости вроде тех, что я сама напросилась к нему в гости, что я дура, если не понимаю до сих пор, что имеют в виду, когда приглашают совершенно незнакомую женщину «послушать музыку».

В конце концов он гарантировал мне неприкосновенность, потому что «кому нужна такая страшила». Так, закрывшись в ванной, я провела эту страшную ночь. В квартире стояла тишина. Когда с нижнего этажа через вентиляцию до меня донесли людские голоса, я поняла, что бояться мне больше нечего, и сказала ему, что, если он посмеет тронуть меня, я закричу и меня услышат внизу.

Мои слова дошли до него: утром мы умнее, чем вечером. Когда я торопливо натягивала сапожки в темной прихожей, он даже не вышел из комнаты.

9. Детей я люблю, но иметь ребенка без мужа я бы не решилась. Сейчас многие идут на это, и я их ничуть не осуждаю. Но сама бы не смогла. Кроме того, моя мама не вынесла бы такого удара. У меня есть очаровательная племянница, я иногда забираю ее из садика. Когда она уезжает летом на дачу, я очень скучаю без нее.

10. Теперь об ЭВМ: мне кажется, не стоит серьезно подходить к этому, а ради шутки — почему бы не попробовать? Ведь во многих странах есть даже брачные бюро. Такое знакомство ничем не хуже, чем на танцах. Только на танцы я давно не хожу, неудобно, а здесь я была бы на равных правах со всеми.

Анкета третья (отпечатанная на машинке).

1. Мне тридцать семь лет, если это интересно науке.

2. Сказать, что я люблю свою работу, будет слишком банально. Теперь я просто не представляю без нее своей жизни. Эта фраза тоже не слишком оригинальна, но она в большей степени отражает мое отношение к работе.

Иногда устаешь от умственного напряжения так, что буквально усилием воли заставляешь себя отвлечься, чтобы дать

отдых голове: присаживаешься к телевизору, хватаешься за книгу, но это помогает лишь на какое-то время, а потом вдруг спохватываешься, что опять думаешь о том, например, почему не совпали результаты двух абсолютно тождественных опытов, где достать новый прибор или какую формулу применить для расчета.

К счастью, мне повезло с сотрудниками, очевидно я неплохой психолог. Нередко обстоятельства складываются таким образом, что мы только что не ночуем в лаборатории. Иногда и пообедать забываешь: поджаришь в термостате кусочек хлеба да выпьешь бутылку надоевшего до чертиков молока.

В моем подчинении семь молодых мужчин, трое из них не женаты, только что закончили институт. Скоро в нашей группе появится второй кандидат наук — он пишет диссертацию под моим руководством.

О докторской я пока не думаю, на это просто не хватает времени. О его стремительном беге я вспоминаю раз в три месяца, когда хожу в сберкассу платить за кооператив. Четыре похода в сберкассу — и года как не бывало.

В детстве я всегда жалела о том, что не родилась мальчишкой, — ведь в истории науки не так уж много женских имен на уровне Софьи Ковалевской или Марии Кюри, а значит, думала я, у меня слишком мало надежд стать знаменитой. Да, знаменитой я так и не стала, но сознание того, что без моих исследований было бы невозможно создать ни один искусственный спутник, придает мне новые силы. Конечно, эти исследования, без всякого сомнения, мог бы провести кто-то другой, но главное, что без них не обойтись.

3. Никого и никогда я не любила и, по-видимому, уже не смогу полюбить. Не замужем я потому (как считают многие), что некрасива. Но это вовсе не так. Оглянитесь вокруг: вы увидите много некрасивых женщин, некоторые из них просто уродливы, но чаще всего именно они выходят за красивых парней. Если мужчина красив, ему не нужна жена-красавица, ему требуется верная поклонница его красоты. Избалованные вниманием женщин с юных лет, красавцы стремятся к прочному браку. А прекрасная женщина, за редким исключением, не может быть верной женой. Для этого ее муж должен быть исключительной личностью.

Итак, меня считают некрасивой. Об этом же твердила мне моя мать — как я осуждаю ее за это! Матери не должны говорить такого своим детям. Быть некрасивой — полбеды. Быть



некрасивой и стесняться этого — беда. Несмотря на старания своей мамыши, я не считаю себя дурнушкой. У меня серые глаза, высокий чистый лоб, я ношу всегда одну и ту же прическу — собираю

волосы в узел на затылке. Правда, они уже не так густы, как прежде, но очень длинные. И когда перед сном я расчесываю их возле зеркала, мне жаль, что этого никто не видит.

По мнению многих, одеваюсь я элегантно, и хоть у меня совсем мало свободного времени, шью сама по выкройкам «Силузта» и «Кобеты». В целом на это уходит меньше времени, чем на примерки в ателье. Не переносю косметики — она меня старит. Единственное, что я иногда делаю, — это подкрашиваю губы.

4. Почему я не замужем? Поверите ли, я сама этому удивляюсь. Но я знаю, почему мужчины не увиваются за мной: они не любят не слишком красивых, но умных женщин. Да, да! Не удивляйтесь! Ведь и вам, как представителю сильной половины человечества, не хочется выглядеть глупее своей жены, не правда ли? Вот именно поэтому я и не замужем.

У моего отца была огромная библиотека, занимавшая три стены комнаты до самого потолка. В семье много читали. Почти все вечера проходили за этим занятием. Когда я собиралась на танцы или в кино, мой отец, всегда хмурый и неразговорчивый, останавливал меня: «Ты опять попусту теряешь время!»

К концу третьего курса института, оглядевшись внимательно вокруг себя, я не обнаружила ни одного парня, которого могла бы назвать по-настоящему талантливым. Единственный, с кем было мне интересно говорить, кого я действительно уважала, был рыжий, весь в мелких кудряшках и веснушках, Володя Филимонов. Он во всем был оригиналом, но эпизод, произошедший с ним на практике в одном из городов Прибалтики, говорит о его натуре больше, чем целая биография. У него была широкая, размашистая походка, очень быстрая и решительная. И вот однажды, не заметив стеклянной стены в современном учреждении, он прошел сквозь нее на улицу. В тот же час обливающегося кровью Володю укатила в больницу машина «скорой помощи», и местный хирург наложил множество мелких и крупных швов на веснушчатые уши, щеки и нос растущего таланта. После той истории Володя превратился в моих глазах в настоящего гения, но он не обращал на меня никакого внимания и, когда от шрамов на его лице не осталось и следа — лишь тоненькая белая полоска на переносице напоминала о случившемся, — женился на одной хохотушке с химического факультета.

6. Мама долго и настойчиво пыталась выдать меня замуж. Она приглашала в дом папиных сослуживцев — старых холостяков из Академии тыла и транспорта. Полковники и подполковники, майоры и молодые лейтенанты почему-то чувствовали себя неловко со мной, а я и не старалась подстроиться под них. Мне были смешны жалкие потуги моей мамы; кстати, папа терпел все это только ради нее.

Друзья, как водится, тоже пытались меня сватать. Девицы покрасивее не боялись знакомить меня со своими кавалерами и их друзьями, некоторые из них даже назначали мне свидание, но дальше этого дело не шло.

Один молодой человек из нашего дома долго ухаживал за мной, часто приглашал загорать к Петропавловской крепости. Это был хороший, заботливый и ласковый парень, единственный, о котором я жалела потом. Но тогда его ласки по-

чему-то раздражали меня. В трамвае, в автобусе, в метро он не мог спокойно стоять рядом со мной — ему непременно надо было держать меня за руку, поглаживать по плечу, заглядывать в глаза или украдкой чмокать в щеку, будто вокруг не было любопытных глаз. Наверное, это и была любовь, та единственная любовь, которая выпала на мою долю. Потом он ушел в армию, писал длинные скучные письма, я отвечала ему и, наконец, бросила это пустое занятие.

Приятельницы до сих пор пытаются найти мне мужа, но как они боятся за своих благоверных — это же просто смешно! С одной из них мы дружили еще в институте. Нас многое связывало: любовь к музыке, пению, литературе, живописи. Я приходила в их дом, как в свой. Мне нравился ее муж — спокойный, уравновешенный, деловой человек. Мне были симпатичны их дети — не избалованные излишним вниманием, вполне самостоятельные для своих пяти и семи лет.

И вот совсем недавно она звонит мне по телефону и, долго путаясь и извиняясь — мне кажется, она даже всплакнула с телефонной трубкой в руках, — просит меня больше не приходить в их дом.

Сначала я недоумевала: что же случилось? Потом старательно припомнила каждое свое слово, каждое движение во время последнего визита и поняла... Послушайте, дорогой социолог, в чем оказалось дело, мою догадку она сама подтвердила через некоторое время. На улице был страшный мороз, а в их доме всегда очень жарко. Я раздевалась в прихожей, муж приятельницы, как обычно, помогал мне снимать пальто, и я попросила: «Котик, выйди на минутку, я сниму рейтузы». «Котиком» называю я его давно и только потому, что зовут его Костей. Клянусь, я не питаю к нему ничего, кроме дружеского, чуть ли не родственного расположения.

Приятельница была занята в кухне, что, однако, не мешало ей услышать эту фразу. Оказывается, после моего ухода она устроила мужу сцену ревности, а немного успокоившись, позвонила мне и просила больше не приходить. Она же упрекнула меня и в том, что я звоню ее супругу на работу, но это было всего два раза, когда я не заставала их дома, а мне срочно надо было что-то передать ей.

Вообще замужние женщины часто грешат непоследовательностью. Не раз я слышала, как одна из них, да и не одна, кричала мужу: «Убирайся, ты мне не нужен!» — а потом бежала следом, умоляя вернуться.

Да и мужа не лучше. Иногда, ища сочувствия, приходят ко мне, говорят о своих неверных и безалаберных женах очень нелестные вещи, а потом, буквально через несколько дней, видишь в окно, как тот самый жалобщик, проклинавший свою судьбу, тащит своей половине букет цветов.

Я с содроганием вспоминаю, как успокаивала плачущего мужчину: жена ушла от него к другому. Он говорил, что не сможет без нее жить, что покончит с собой, а через три месяца женился на другой и, встречая меня, смущенно отворачивался в сторону, чтобы я не видела его счастливого лица, когда он вел под руку свою новую избранницу.

В тот печальный день, может быть с отчаяния, а скорее всего потому, что чувствовал ко мне искреннюю симпатию, этот мужчина — ему лет сорок восемь — сделал мне предложение. Я просила дать мне время подумать. Он огорчился и ушел ни с чем, а через три месяца, как я уже сказала, женился вторично.

7. Минусов в моем незамужнем положении не так уж много, главный из них тот, что всю мужскую работу по дому приходится делать самой, а на это уходит слишком много драгоценного времени. Иногда приходится нанимать халтурщиков и платить им втридорога. В конце концов я многому научилась сама: зашпаклевала пол и покрыла его лаком, не для красоты конечно, а для того, чтобы сэкономить время на ежедневную уборку; перекрасила двери — они были покрыты темно-серой краской; и даже приделала дверцу к антресолям, где хранятся старые, но еще нужные книги.

Преимуществ много: я сама распоряжаюсь своим временем и деньгами. Зарплаты руководителя группы мне вполне хватает и на книги, и на театры, и на наряды.

Благодаря тому, что я не замужем и у меня нет детей, я довольно-таки быстро смогла защитить диссертацию. Теперь, когда я обеспечила себя материально, я занялась тем, к чему меня тянуло всегда: иностранными языками, музыкой, историей искусства. В свободное время я хожу на лекции в Академию художеств, где архитектуру читает обаятельный М., слушать и видеть которого доставляет мне огромное удовольствие. Я свободна в выборе своих увлечений, никто не может осудить меня, никто не посмеется надо мной, не запретит, как это делали мои родители.

Не смейтесь и Вы надо мной, милый молодой социолог (знаю, что Вы молоды, потому что Ваша анкета составлена

совершенно непрофессионально: вероятно, Вы еще студент). Так вот, не смейтесь надо мной — я могу откровенничать с Вами, как ни с кем, потому что Вы никогда не узнаете меня, даже если нам придется подниматься в одной кабине лифта. Я открою Вам, единственному, свою тайну, свое, может быть, и последнее, но очень сильное увлечение: в тридцать шесть лет я впервые встала на коньки и занялась фигурным катанием. Подождите же, не улыбайтесь! Не фыркайте презрительно, ведь Вы — социолог и во всем должны искать закономерность. И потом, тридцать шесть — это не так уж и много, когда Вам будет столько же, Вы мне поверите.

Когда я смотрела выступления фигуристов, я наслаждалась гармонией музыки и движения, и, как всегда, мое восхищение чем-нибудь требовало действия. Я мечтала так же легко и свободно скользить под музыку со своим партнером. Но для этого прежде всего надо было научиться как следует стоять на коньках.

Сначала я занималась в зале, где под руководством старой и требовательной балерины мы разучивали основы хореографии. Женщины помоложе относились к этим занятиям несерьезно, они лениво отступали к шведской стенке и отказывались повторять сложные прыжки. Но я старалась изо всех сил и, несмотря на то, что была старше всех в группе, очень быстро освоила новые элементы. Меня заметили, оценили мое старание — это меня подбодрило.

С наступлением морозов мы вышли на лед, кроме того, я купила абонемент на закрытый каток и теперь четыре раза в неделю надеваю фигурные коньки. Несколько раз я сильно ушибалась, падая, подворачивала ногу так, что было больно ходить, но остановить тренировки — нет, ни за что!

Да, я забыла сказать Вам, милый социолог, что фигура моя позволяет мне заниматься этим видом спорта. Вы, может быть, представляли меня этаким тридцатисемилетней колодой с короткими толстыми ногами. Нет, вовсе нет. Хорошо это или плохо, не пойму, но меня все еще называют «девушкой» незнакомые люди.

Моя мама, навестив меня недавно и заметив коньки, которые я предусмотрительно пихнула под ванну, ничего у меня не спросила, только проворчала:

— Я бы не советовала тебе этим заниматься.

Да разве она может понять меня? Что она видела в жизни

кроме меня и своего мужа, рабское служение которому отняло у нее свободу и сузило интересы до минимума?

8. Будущее? Да оно прекрасно! Уж если случится так, что мне придется остаться одинокой, я не сойду с ума от бесплодной тоски: планов у меня столько, что для их выполнения мало одной жизни. Во-первых, работа — это самое главное. Недавно я представила на рассмотрение шефу перспективный план на десятилетие вперед. Вероятно, речь пойдет об организации новой лаборатории со своими исследовательскими темами. Во-вторых, парное катание — оно впереди, и, думая о нем, я волнуясь, как перед экзаменом. Потом архитектура. Последняя лекция М., пожалуй самая интересная, была о мостах. Надо выбрать время и покопаться в Публичке, почитать то, что он рекомендовал.

Еще я мечтаю побывать во Франции и потому занялась французским, пока самостоятельно, а если понадобится, то пригласу репетитора на дом или поступлю на курсы.

9. О ребенке я мечтала лет десять назад, теперь думать об этом уже поздно.

10. Смешно рассчитывать на помощь ЭВМ, но, если бы такая возможность представилась, я бы не отказалась, честное слово. Интересно познакомиться с человеком, которого выбрала по твоей заявке машина. Просто любопытно поговорить с индивидуумом противоположного пола, имеющим заданный характер. Впрочем, может ли быть такое? И поможет ли это найти нужного человека? Не уверена. Знаю только, что при этом могла бы отыскаться какая-то мелочь, которая оттолкнула бы от него, несмотря на теоретическое и эмпирическое сходство: быть может, он храпит во сне, или подергивает головой, или противно шмыгает носом, или говорит сам с собой, — да мало ли что неприятное и странное может обнаружиться в человеке, и вы не в силах будете перебороть себя, чтобы не замечать и не раздражаться.

Вот и все, уважаемый социолог, я излила перед Вами душу — такое было лирическое настроение. Теперь Вы стали для меня почти близким. Кстати, я подозреваю, что Вы живете в первом подъезде и я видела Вас не однажды на автобусной остановке. Чтобы окончательно сразить Вас своей пронизательностью, скажу, что Вы почти всегда ходите без шапки, волосы у Вас каштановые, рост средний, в руках чешский коричневый портфель. Если Вы так же прозорливы, как я, и

догадываетесь, где я обитаю, — заходите, попьем чайку и продолжим интересующий Вас разговор о психологии незамужних женщин.

Прощайте, желаю успеха!

ССОРА

Рассказ

Зачем она здесь, в самолете? Зачем сидит, отстегнув ремень, и сосет взлетную конфету, изо всех сил стараясь успокоиться? Еще полчаса назад, в аэровокзале, можно было, вовремя одумавшись, сдать билет обратно и получить деньги. А час назад, если бы не дождь вперемешку со снегом, она вообще не зашла бы в тот просторный двухэтажный зал и ничего бы с ней такого не случилось. Побродила по Невскому, посидела в кино или мороженице, а потом поехала бы к сестре или маме и осталась там ночевать — пусть бы Алешка помучился. Конечно, она и сама во многом виновата — наговорила горяча бог знает чего, но, как бы там ни было, поднимать руку на жену он не имел никакого права...

А все из-за свекрови вышло. Боже, как не повезло ей со свекровью! Хоть и старалась она приноровиться к деспотичному характеру этой, в общем-то, совсем неплохой женщины, уверенной в том, что она всегда права и делает только добро людям, — но не смогла. И зачем она послушалась своих родителей и стала называть ее «мамой»? Ну какая она ей мама? Теперь язык не поворачивается обращаться к ней по-прежнему, приходится каждый раз говорить «вы», чтобы не так заметно было. Действительно, какая она ей мама? Приедет в гости и совершенно бесцеремонно начинает рыться в шкафах, выискивая неглаженое белье, дырявые носки, не сданные в ремонт ботинки, — и все это с брюзжанием, с аханьем и оханьем, с бесконечными наставлениями и советами.

Да некогда ей заниматься штопкой. Лучше она купит мужу еще пар десять эластичных носков. И с ремонтом не горит: пока есть в чем ходить — и ладно. Откровенно говоря, она и сама изо дня в день собиралась сдать обувь в починку, но когда в это дело вмешалась свекровь, у Тани всякое желание пропало.

Помнится, однажды свекровь удивилась, что она не чистит мужу ботинки. Хорошо, что Алеша сам возмущился: еще чего не хватает!

А эта ее забота о здоровье: мало того, что все шкафы у нее в доме пропахли лекарствами, даже чай имеет привкус валерьянки. Приезжая к ним, свекровь непременно привозит какие-то никому не нужные мази, растирания, гомеопатические порошки и микстуры. . . Господи, почему она не стала врачом, а работает в торговой базе? Или вот еще: настаивала каждый день по телефону, чтобы Таня выписала журнал «Здоровье», потому что там в каждом номере дается множество полезных советов по поводу правильного питания и сохранения в пище витаминов. Таня отказалась. Зачем им этот журнал? Ни ей, ни Алеше читать его некогда, да и нет надобности: оба они молодые, чувствуют себя прекрасно. К чему выискивать у себя несуществующие болезни, как делает это свекровь? Но та поняла иначе: «денег жалко», и все-таки выписала журнал на их адрес. И вот так во всем: уж если что придет ей в голову — обязательно настоит на своем. . .

Странно, сегодня Таня пропустила взлет, которого обычно так боялась, и теперь каждой клеточкой тела чувствует связь с землей, с заснеженными перелесками, будто кто-то там, внизу, запустил в небо огромного змея, на котором она сидит, и ежели что — смотает нервующуюся веревочку, подтянет к себе и осторожно посадит его на ровной поляне.

Вот и Балтийское море. Под крылом самолета оно кажется ненастоящим — слишком ровно и часто расчерчена неподвижными волнистыми линиями его необъятная поверхность. Белые, словно бумажные, кораблики застыли в густой синеве. Вдоль песчаного берега тянутся черные ветвистые деревья. Их вершины, приученные ветром, обращены к суше.

— Скажите, пожалуйста, когда ваш самолет полетит обратно? — тихо, чтобы никто не слышал, спрашивает Таня у раздающей лимонад стюардессы.

— Через час после посадки, — ответила девушка.

На рыжем от прошлогодней травы аэродроме стоит несколько самолетов, покрытых чехлами. Стюардесса в сопровождении двух молоденьких штурманов неторопливо идет в сторону деревянного домика.

Пассажиры с чемоданами и портфелями в руках, забыв самолетные знакомства, обгоняя друг друга, бегут к автобусной остановке. «Я должна лететь обратно», — говорит себе

Таня и вдруг тоже бежит к автобусу, у дверей которого еще толпятся люди.

Глупо было прилетать сюда, где ее никто не ждал и где ей абсолютно нечего делать. Но еще более глупо, даже не взглянув на незнакомый город, в котором вряд ли еще когда-нибудь удастся побывать, лететь обратно. Это Сашин город. Наверное, он женат и у него есть дети. Наверное, любит жену — иначе бы не женился. Ну и что? Очень хорошо, что женат. Что есть дети. Ему ведь не двадцать.

— Вам куда? До рынка? До универмага или до кинотеатра «Салют»? Девушка, я ведь, кажется, вас спрашиваю.

— До центра.

— До вокзала, значит?

— До вокзала.

— Тридцать копеек. Получите сдачу.

«До какого вокзала? Ах, да. До обыкновенного железнодорожного вокзала. Возьму билет, посмотрю город, зайду к Саше, а вечером уеду», — решила Таня.

Город как город. И все-таки чужой город. Маленькие трамвайчики, двухэтажные кирпичные дома с готическими розетками окон, узкие чистенькие улочки с пешеходными дорожками из разноцветных узорчатых плит.

— Поезд ушел два часа назад, — бесстрастным голосом сказала кассирша.

— А завтра? Завтра будет?

— Только по четным числам.

Теперь Таня жалеет, что не улетела обратно на том же самолете. А вдруг завтра нелетная погода? Господи, что же она натворила! Таня сразу же представила себе, как перед закрытыми дверями химчистки, где она работает приемщицей, соберутся люди с огромными сумками, свертками, а может, и с коврами, как, не дождавись ее, будут звонить в управление, а позже на двери появится бумажка: «Химчистка закрыта. Заболела приемщица». А что будет с той женщиной, которая умоляла привезти ее джерсовый костюм именно в первой половине дня — вечером она улетает на какую-то конференцию... Только бы не зареветь у всех на виду: нет даже сумочки, в которой лежат самые необходимые вещи — носовой платок, пудреница, губная помада. Как все глупо! Как глупо!

Парни с рюкзаками, собравшиеся в кружок вокруг гитариста, видят, как Таня плачет, стоя у билетной кассы. Сейчас

кто-нибудь из них непременно подойдет к ней. Надо уходить.

Шоферы такси в ожидании пассажиров неторопливо курят и обсуждают хоккейные новости.

— На Пионерскую? Садитесь, — водитель бросает окурок в большую черную лужу и с силой захлопывает дверцу.

— Приезжая? — спрашивает он, когда машина останавливается перед автоматическим светофором на совершенно пустом перекрестке.

— Да.

— Стучилось несчастье? Умер кто?

— Нет.

— А в чем дело? Почему плачешь?

— Мне домой нужно...

— Ну и возвращайся.

— Теперь уже поздно. Самолет улетел, а поезд будет только послезавтра. Глупо все так! — говорит она с отчаянием и закусывает губу, чтобы хоть как-то удержать снова набежавшие слезы.

— У тебя здесь знакомые?

— Парень один... Только женат он, наверное, — задумчиво произносит Таня, представляя себе, как будет удивлен Саша, когда увидит ее здесь.

— Небось и ночевать негде? Хотя в гостинице можешь устроиться.

— У меня же нет ничего с собой: ни сумки, ни паспорта.

— Да-а, — осуждающе протянул шофер. — Был бы я твоим отцом — выпорол бы как следует.

Нет, ее не обидели слова этого пожилого человека с добрым лицом. Напротив, ей даже захотелось рассказать ему все, чтобы отругал он ее, — может, и легче станет, как в детстве, после наказания за проступок, в котором раскаиваешься сама.

— Ну и наделала ты делов, девонька, — покачал головой шофер. — А с чего это вдруг тебе в голову пришло из дому бежать?

— Поссорились мы... Муж меня по щеке ударил и душой назвал...

— А ты и есть дура — извини уж меня, я тебе в отцы го-жусь. Разве можно из-за таких-то пустяков из дому бегать? Да куда — за тридевять земель! В жизни еще и не то будет. А если из-за каждой ссоры на самолете улетать, так никаких денег не хватит... Вот и Пионерская... Какой номер?



Таня вышла из такси перед небольшим домом, облицованным глазурованной плиткой, и остановилась в нерешительности.

— Слушай, девушка, если ночевать будет негде — приходи на стоянку. Я там всю ночь дежурить буду. Отвезу к жене — она уж как-нибудь тебя устроит. Слышишь? Обязательно приходи.

Дверь открыла седая женщина со строгим, неулыбчивым лицом.

— Саша в командировке. А жена его дома. Пройдите, пожалуйста, — сказала она холодно, и Таня сразу же почувствовала неловкость за свои поношенные туфли и дешевое клетчатое пальто, потерявшее приличный вид после первого же дождя.

Да, это она, Сашина мать... «Только не делай глупости...» Вспомнилась душная кабина переговорного пункта, где они

стояли вдвоем, взявшись за руки, и властный голос Сашиной матери. Отчетливо слышалось каждое слово, произнесенное на другом конце провода за несколько сотен километров: «Только не делай глупости: жениться тебе еще рано. Помни, о чем мы с тобой говорили».

— Вы остановились в гостинице? — спросила Нина, Сашина жена. — Хотя сейчас все занято спортсменами — какие-то международные соревнования проходят.

«Вот именно такая жена нужна Саше», — подумала Таня, взглянув на высокую, приветливо улыбающуюся, стройную женщину.

— Нет, в гостиницу я еще не заходила.

— И не ходите зря. Вы можете остаться у нас. Будете спать вот здесь, на диване. Сынишка у нас спокойный, ночью не просыпается. А вы с Сашей вместе учились?

— Да, — заметно краснея, солгала Таня.

Защитив диплом техника, Саша внезапно уехал домой, даже не попрощавшись с ней, а она, возвращаясь с работы, каждый день тоскующим взглядом провожала из трамвая темные окна комнаты, где он жил у тети, не решаясь зайти и теряясь в догадках. . .

— Саша в командировке, он будет там, у вас, недели две, так что вы еще сможете застать его, если к нам ненадолго. Институт Постоянного тока знаете? Так вот, Саша туда поехал. Я вам адрес Михайловых дам, он всегда у них останавливается.

Потом Таня бродила по городу. Зашла в картинную галерею, где среди множества посредственных картин попадались полотна Коровина, Ге и Саврасова. От знакомства с новым городом она не испытывала никакого удовольствия: ни памятники готической архитектуры, ни выставки современных художников, ни магазины, в которых было немало оригинальных и добротных вещей, не могли отвлечь ее от тяжких мыслей. Но выхода не было. Она купит билет на самолет, а в случае нелетней погоды ей придется ехать поездом, а это значит, что только через два дня она будет дома.

Стараясь не обременять незнакомых людей своим присутствием, Таня целый день болталась по грязным от моросившего дождя улицам, посмотрела какой-то скучный фильм и только поздним вечером, усталая, голодная, в промокших насквозь туфлях, подошла к знакомому дому.

Словно поджидая ее возвращения, Нина стояла в прихожей одетая.

— Знаете что, Таня, я решила, что у моей мамы вам будет лучше. Это совсем рядом, идемте. Там у вас будет отдельная комната.

Чудная женщина! Как будто сама догадалась, что Таню смущает неприветливость ее свекрови, Сашиной матери. И как хорошо, что Нина оказалась дома и сама открыла ей дверь. А может, Сашина мама возражала против того, чтобы Таню оставили ночевать в их доме?

Тане вдруг захотелось рассказать всю правду этой молодой женщине.

На город уже спустились сумерки. Холодный свет неоновых ламп вспыхивал в темнеющем небе и отражался в мокром асфальте беспомощными голубыми пятнами, ничего не освещающая.

— Я сказала вам неправду, — стараясь идти в ногу с Ниной, несмело начала Таня. Взять молодую женщину под руку она не решалась, и встречные прохожие часто разъединяли их. — Вы сами, наверно, догадались, что я здесь не в командировке: у меня с собой нет ни сумки, ни портфеля — так в командировку не ездят. Вы мне можете не верить, но я совершенно случайно попала в ваш город. Мы впервые сильно поссорились с мужем, я села в автобус и уехала из дому, чтобы успокоиться. Вышла в центре. Шел сильный дождь. . . Я забежала в Аэрофлот — там тепло, уютно. . . Вдруг объявляют посадку в автобус-экспресс к самолету, который через полчаса улетает в ваш город. Подскочила к кассе, купила билет — зарплата была в кармане. . . Со злости купила. . . Улечу, думаю, пусть помучается. Вот так все и получилось. Мне было неважно, куда ехать, честное слово, лишь бы куда-нибудь подальше, чтобы не возвращаться домой. . . Вы мне не верите?

— Почему же? Верю.

— Саша мне нравился, это правда, но, когда он уехал после распределения, я встретила Алешу и влюбилась по-настоящему. . .

— Да. . . — то ли удивляясь, то ли думая о своем, протянула Нина. Она приостановилась, подхватила Таню под руку. — А мы с Сашей часто ссоримся. У него очень тяжелый характер, вы, наверно, знаете. Самолюбивый он до крайности. А в выходные я его дома почти не вижу: то лыжи, то

грибы, то рыбалка — все время за город старается улизнуть. У каждого свое...

Нет, Таня знала Сашу другим. Он казался ей человеком добрым, открытым. Был всегда ласков и предупредителен с ней. Как только она вспоминала о нем, услужливая память рисовала ей тот зимний вечер, когда они возвращались из театра и Саша впервые поцеловал ее; туфли ее, которые он держал в руке, незаметно выскользнули в снег, и когда они пришли в себя, то вдруг разом почувствовали неловкость, поднимая бумажный пакет.

Квартира, в которой жила Нинина мать, была просторной и уютной. Все стены комнаты и даже прихожая были заставлены книжными полками и старинными шкапами, украшенными резным орнаментом, — там тоже стояли книги. Высокая, чуть повыше Нины, женщина с полосатым вязаньем в руках пригласила Таню к столу попить чаю, но она, сославшись на головную боль и попросив извинить ее, вошла в отведенную для нее комнату и сразу же расстелила постель. Таня понимала, что поступает не очень красиво, но пересилить усталость не могла. Она прошла в ванную, где на полке возле зеркала стояло множество разноцветных бутылочек и баночек из пластмассы и пахло хорошим мылом. На нее смотрело грустное, усталое лицо с блестящим, чуть вздернутым носом и бледными, привыкшими к помаде губами.

Тяжело вздыхая, она долго ворочалась на просторной постели, заставляя себя заснуть, чтобы поскорее наступило это долгожданное завтра.

Ей снился тяжелый сон, в котором с мельчайшими подробностями повторялась ее ссора с мужем, как будто кто-то заснял этот эпизод на пленку и прокручивал ее на мучительно малой скорости, подчеркивая каждый недобрый взгляд, каждый резкий жест, каждое злое слово. Будто в кадре телефильма, лица крупным планом подолгу торчали на этом экране, пугая своим враждебным, отчужденным выражением.

«И все-таки мы поедem в Сосново. Если ты не хочешь, я поеду один, — звучал упрямый голос Алеши. — Матери одной там скучно».

«Скучно — пусть приезжает сама. Я не намерена каждый выходной таскаться в такую даль. Мне надоело».

«И тебе не стыдно? Во-первых, мы там давно не были, а во-вторых, не надо заставлять пожилого человека ехать в город — ей это тяжело».

«Ты беспокоишься только о своей матери, а когда дело касается моих родственников, так ты и через дорогу перейти не хочешь, чтобы навестить их».

«Это неправда, ты лжешь! Не далее как позавчера мы были у них и, хотя мне было совершенно некогда, сидели там битый час, и тебе все было не наговориться».

«Вот что: можешь ехать один, если так соскучился по своей мамочке и привык держаться за ее подол, — голос звучал язвительно и зло, — а мне там нечего делать. Неужели ты все еще не понял, как я не люблю ее, эту бесцеремонную бабу, которая лезет везде, где ее не просят. Кстати, ты — весь в нее».

«Дура! Дура! Набитая дура!»

...Самолет был заполнен молодыми спортсменами, возвращавшимися с каких-то соревнований. Они громко смеялись и весело разговаривали, перекликались, менялись местами, пили много минеральной воды и лимонада. Сидевший рядом с Таней молодой парень с энергичным загорелым лицом, разговаривая с соседом, полулежавшим на переднем сиденье, все время поглядывал на нее, стараясь вовлечь в общий разговор, но она, погруженная в свои мысли, не слышала, о чем они говорят, и только однажды снисходительно усмехнулась про себя над их ребячливой веселостью.

Прежде чем позвонить у дверей своей квартиры, она обошла дом вокруг и, увидев черные, мрачные окна, почувствовала, как слабеют у нее ноги. Десятки мыслей мгновенно пронеслись в ее голове: вдруг Алеша заболел и его увезли в больницу? А может, он ушел из дома навсегда или уехал к свекрови и не думает возвращаться?

Не заходя в квартиру, Таня решила идти к своей маме: уж ей-то, конечно, все известно. Ее мама почему-то всегда вставала на сторону Алеши и обвиняла ее, свою дочь. Иногда это было не совсем справедливо — ведь в ссорах всегда виноваты двое, только один больше, другой меньше.

Трехэтажный домик стоял почти на самом берегу реки. Он доживал последние месяцы своей долгой жизни: на плане нового квартала, красовавшегося на перекрестке двух дорог, его уже не было — то место, где дом стоял сейчас, пересекала широкая автострада, проходившая через новый мост. В окружении просыпающихся от зимней спячки деревьев этот дом воскрешал в памяти Тани ее детство. Так же, как и прежде, на веревке, натянутой между двумя толстоствольными липами, качалось забытое кем-то белье; поодаль, в низких почернев-

ших сарайчиках, сгрудившихся за дощатым забором, лаяли обыкновенные дворняги, нашедшие там приют и забравшиеся на ночлег через специально выпиленные в дверях отверстия. Здесь же, под липами, стоял обитый жестью стол на одной ноге, врытой в землю. Каждый вечер он содрогался под ударами мужских ладоней с зажатыми в них костяшками домино.

Нет, она не могла предугадать, как встретит ее муж, и страшилась этой минуты. Будет ли упрекать? Поверит или не поверит, что не к Саше улетала она, а просто от отчаяния (Алеша знал о ее былом увлечении, но никогда не вспоминал об этом).

Подходя к родительскому дому, Таня замедлила шаг: из парадной навстречу ей вышел человек. В сгустившихся сумерках лица его не было видно, но очертания фигуры, наклон головы, знакомая легкая походка заставили ее остановиться. Как всегда занятый своими мыслями, Алеша приближался к ней, глядя в землю и не видя ее. Не дойдя двух шагов, он остановился, поднял голову. В лице его что-то дрогнуло, он шагнул к жене, с силой прижал к себе, задыхаясь и не находя слов.

— Таня, Танюшка, хорошая моя... я чуть с ума не сошел.

От его пальто, в которое она уткнулась виноватым лицом, шел знакомый запах мокрой шерсти и сигарет. Он оторвал ее голову от своего плеча, крепко сжал теплыми ладонями лицо и заглянул в глаза:

— Прости меня, Татка.

— И ты прости... Я тоже виновата, — прошептала она.

Они всматривались друг в друга, словно пытались отыскать в лице каждого то новое, что появилось за время разлуки. Он гладил ее по щекам, проводя по ним шершавыми пальцами, от которых чуть-чуть пахло машинным маслом и бензином, прижимал к себе, потом снова отстранял, заглядывая в глаза.

— Твоя сестра уверяла меня, что ты в Москву полетела, — он откинул с ее лба темные пряди волос, чмокнул в переносицу, а потом закрыл губами ее что-то тихо шептавшие губы.

— Это я так, на всякий случай ей позвонила, чтобы ты не искал меня в городе, — смущенно проговорила она, высвобождаясь и отводя взгляд.

— Я деньги послал в Москву... На Главпочтамт, до востребования.

— Деньги? Зачем? — удивилась она.

— На обратную дорогу.

— Ну а если бы я и в самом деле была в Москве — думаешь, я бы догадалась, что меня ждет перевод на Главпочтамте?

Он пожал плечами и улыбнулся.

— Да, я как-то не подумал. Ты знаешь, я совершенно растерялся. Не знал, куда броситься, что делать, где тебя искать... Только вечером догадался позвонить сестре, — говорил он, покрывая поцелуями ее лицо.

Они долго стояли обнявшись и молчали. Стукнула дверь парадной. Свет единственной лампочки выхватил из темноты фигуру выходящего. Таня мягко отстранилась от мужа, крепко сжала его руку горячими пальцами, и они медленно пошли к дому.

ГАЛИНА БУКАЛОВА

* * *

В Москве есть тоже острова,
Где незаметен век —
Заметны летняя трава
Да новогодний снег.

Там кружевные огоньки
Бревенчатых домов
И чуть плаксивые гудки
Товарных поездов.

Я позабыть тебя смогла,
Одно не перенести:
Что там, где я с тобою шла,
Как было, так и есть.

Хочу в Москву, хочу в Москву,
По тем местам бродить,
Не разгонять свою тоску —
Скорей, разбередить.

И знать, что стало лишь моим,
Что нашим звали мы:
И паровозный горький дым,
И новый снег зимы.

* * *

Не за то на меня беды сыплются,
Что жила я жизнью несправедной,
А за то, что мне не насытиться
Скорбью каменной, мукой пламенной.

Кем скороблено, кем подставлено
Мое сердце для скорби — коробом?
Мука новая, мука давняя
Закатались в нем черствым колобом.

Я сама жую этот жесткий кус,
А других угощать не пробую!
Я сама люблю этот горький вкус
И оскоминку ту особую!

Никому мой хлеб не понравится,
Кто ни пробует — только давится,
Да и жалко мне своего куска:
Ведь моя беда, ведь моя тоска!

* * *

А когда все было чистым
И промытым добела,
Звал меня синичьим свистом, —
Я летела, а не шла.

Загрязнилось, замутилось,
Затуманилось, прошло.
Не расскажешь, что случилось, —
Просто было тяжело!

После странствий, после долгих,
Я живу в другой судьбе.
Я забыла весь твой облик,
Все забыла о тебе.

Мне прошедшее не снится,
Но весной, что ни год,
За окном свистит синица,
Мне покою не дает.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВ

КУСОК ПОЛЯ

Рассказ

В доме Анфисы Петровны пошли недомолвки. Десятый год приезжает к ней зять. Привозит шляпу, самодельные удочки, гамак и живет у Анфисы дачником. И позавчера прибыл. Поспел он к поре, когда надо было окучивать картошку.

Анфиса, когда получила телеграмму, в которой зять приказывал, чтоб она его встречала, просияла. Самая большая радость была — внучку увидит. И зятя она всегда привечала и любила с ним поговорить. Зять Степан про все знал, про все мог рассуждать. Особенно — как сохранить здоровье.

Угощать Степана было для Анфисы тоже удовольствием. Все, что запасалось впрок осенью и зимой и что до времени висело, стояло, лежало в чулане и погребе, с прибытием зятя оказывалось кстати. Степан смаковал соленые грузди, хрустел огурцами. А как чинно делил он вилкой рассыпчатую картошку на бархатные дольки! Как ровненько резал инистое сало!..

По части выпить Степан был что колхозный вездеход: и настоечку принимал (конечно, умеренно), и чай не обходил. Раскраснеется Степан за столом, и любо-дорого на него смотреть и речи слушать...

По Степановым словам выходило, что прожила она свою жизнь неправильно: себя не берегла. Анфиса Петровна не обижалась, — как прожила, так и ладно. И на колхозном поле, и на своем дворе была хозяйкой. Насчет чтобы жалеть — такого понятия не было, это верно.

Теперь Анфиса Петровна надеялась на зятя как на помощника. Он сильный, хорошо кормленный мужик, вырос в деревне. И Анфиса думала, что для Степана окучить полтора десятка гряд — шуточное дело. У нее самой с прошлых Ноябрьских разболелась поясница. Фельдшерица сказала, что это радикулит, и велела беречь спину. Берегла. Но весной Анфиса

Петровна все же посадила в своем огороде картошку. Было не утерпеть. Комсомолец Клим получил распоряжение — вспахать поле под картошку, особенно пенсионерам. Клим завернул в деревню на тракторе и за короткое время вспушил землю.

Теперь настала пора картошку окучивать. Нужный плуг сохранился один на две деревни. Вчера привезли его из Куприянова и наказали всем, чтоб готовились.

Анфиса Петровна и сказала Степану, что утром надо встать до света и кому-нибудь пособить. Потом и ему тоже помогут. У нее же, Анфисы, спину после нагиба ломит. С этого и пошел разлад.

— Беречь себя надо, маманя! — наставлял Степан. — А вы с картошкой связываетесь! Зачем? Ну, я понимаю, а то цена-то ей — грош! Потом же, сами говорили, навоз туда бросали. Лучше купить, где на суперфосфате.

Говорил зять и всякое другое. Выходило, что жалел. И чтобы не показаться неблагодарной за такую заботу, Анфиса Петровна кивала: дескать, конечно, чего уж там. Кивала, а сама думала: «Как же это — зачем? Всю жизнь было зачем, и вот в хозяйстве — без картошины? Навоз...»

Анфиса Петровна вспомнила, как по синему насту через сугробы возили на огорода навоз. Скрип саней, крик сорок, смех детей...

Для овец, поросенка и козы Анфиса Петровна каждый вечер стелила солому. И скотине было тепло, и было много навозу. Весной навоз лежал на огородах и полях веснушками. А когда в земле перестали вязнуть сапоги, Анфиса Петровна разбила, раскинула вилами навоз по всему огороду, чтобы он дал тепло и силу молодому растению.

И другой, неведомый зятю смысл был в картошке. Вот летом увидит пастух Митрич или кто еще, как дергает с гряд Анфиса траву, и скажет: что, мол, тебе, Анфиса, — к тебе осенью зять либо дочка Нюрка приедет. Они-то быстрехонько картошку в подполье упрячут. То ли приедут, то ли нет, а такие слова, вроде бы в шутку сказанные, радуют. Тот же пастух Митрич иной раз хорохорится:

— Я — что! Я сынами проживу!

В деревне верят — проживет Митрич сынами. Пять их у старика. Для внуков-правнуков десять трехколесных велосипедов держит. Богач. Сыновей то встречает, то провожает... Ненароком и явно каждый в деревне намекает, что не бобыль.

Зятево «зачем» не выходило из головы. Конечно, всего несколько мешков картошки нужно было с осени до новин. Степан вот и деньги обещал. Но покупать картошку после копанья в деревне считалось зазорным.

Ночь Анфиса Петровна спала плохо. Не приехал бы зять... При Степане как же просить, чтобы помогли...

Утром Анфиса Петровна встала первая в деревне. За окнами было еще серо, когда она застучала ухватами у печи. Все спорилось: и дрова вмиг разгорелись, и чугунок с едой для поросенка быстро закипел, и яичница в меру подрумянилась, не подгорела, молоко не убежало...

Зять спал в снях. Будить его Анфиса Петровна стеснялась после вчерашнего. Вот если бы он проснулся да заговорил про картошку... В такую пору, когда солнце только-только над лесом розовеет, легко ходить за плугом. И лицо, и руки, и спину обдает росой, которая не только на листьях травы, но и кругом... А ноги чувствуют тепло земли...

В хлеву заблеяла коза. Анфиса Петровна пошла открывать ворота. Потом глядела, как в низком облаке прозрачной пыли мимо двора протрусило стадо овец и коз. Ягнята смешно подпрыгивали, учились бодаться. Потерявшись в стаде, они вдруг начинали звать своих маток.

И хотя Анфиса Петровна видела все это много раз в своей жизни, а все равно радовалась, когда перед ней проходили тучные овцы, лобастые бараны, легкие ярки...

Проснулся зять. Не по-здешнему появился он в полосатых трусах. Когда доставал вчера из чемодана ситчик, в подарок привезенный, хвастался — мол, трусы японские, не наши.

Степан взошел на серый лужок и начал ходить по траве, как на лыжах.

— Маманя, — объяснял Степан, — это весьма очень полезно ТАК ходить. И вы ТАК ходите.

Степан махал руками, шевелил мускулами на спине, жмурился от удовольствия. После зятевых ног на лугу оставались зеленые полосы.

...Запрягли в плуг коня Зайчика. И уже старик Глебов тряхнул окучником и срезал лемехом, как ломоть хлеба, кусок дерна у придорожной канавы.

Анфиса Петровна пошла в дом, чтобы не терзаться. «Покупать — это конечно, — думала она, — да разве купишь». Когда полола, бывало, гряды, каждый комок земли, кусок луговинки тормошила пальцами, как внучкины волосы...

Если бы можно было нанять мужиков окучить картошку. Но мужчин на такое мелкое дело не заманишь. Все они то шоферы, то плотники. Цену себе знают. Они к своей картошке не хотят притрагиваться, на баб надеются.

Внучка тоже проснулась. Начала Анфиса Петровна ее кормить. Внучка ела и все спрашивала:

— Бабушка, а это правда — окучивать будут?

Анфиса Петровна радовалась непоседливости внучки, повторяла:

— Правда, кровинушка, правда. Не торопись только, успеешь.

— А я буду окучивать, бабушка?

— Будешь, солнышко, будешь. Не торопись.

— А я в школе всем расскажу, как я окучивала, вот!

«Ну как же — зачем? — говорила себе Анфиса Петровна. — Всю войну пятнадцать соток да при дворе... Сколько раз лопатой от весны до морозов... Зато четверых выходила... И после... Вот младшей, Нюрке, на квартиру две тысячи... Нашелся человек... и девочка вот».

Анфиса Петровна прижала к себе внучку.

— Кровинушка, зарубочка моя!

Из подполья показалась зятева голова. Осторожно, словно это был полный стакан, он поставил на половицу фотоаппарат. Потом легко подтянулся на руках несколько раз и ловко прыгнул из ямы.

— Ну вот, — объяснил Степан весело, — и запечатлю, так сказать, во всей этой полноте вашу экзотику. Солнце низко, а известно науке и массам: боковое освещение — самое что надо.

— Так поел бы! — забеспокоилась Анфиса Петровна.

— Поел! Поел! Вы про меня — не очень! Горланчик молока, ну и яйца там... ну и вчерашнего петушка.

Услыхав про горланчик и петушка, старуха повернулась к внучке.

...Изда опустела. Анфиса Петровна убрала со стола и тоже вышла из дому, не утерпела. «Ну хоть погляжу», — утешала она себя.

И хотя не собиралась Анфиса Петровна подходить к огороду, все же приблизилась.

Возле картофельного поля шел оживленный разговор пенсионеров. Тут же толпились ребяташки. Особенно много было

городских, которые приехали в деревню на лето. Некоторые никогда не видели коня так близко и теперь пугались и радовались при его приближении.

Зять Степан подсказывал старику Глебову, как надо держать плуг, чтобы видно было напряжение и рук, и шеи, и конских ног. Старик Глебов отмахивался от Степана, как от мухи, смеялся в бороду и говорил; а ну, мол, тебя, отвяжись, не годимся, дескать, в артисты. Анфисе Петровне было неловко за родственника, неловко, что зять крутится, как балаболка. Да еще перед Глебовым, которого все знали. Старик больше десяти лет на пенсии, отпустил бородищу. Сложая руки не сидел. В сарае собирал он сани-розвальни. Полозья делал по старинке. Сани отличались от артельных необыкновенной прочностью, особенно полозья из берез с кривым комлем. Председатели соседних колхозов присылали заказы на такие сани, старику Глебову была через эти сани слава.

...Глебов прошел окучником свои гряды, потом соседские. Комья распаханной земли, борозда, в которой вдруг искрились рубиновые черви, черепки горланов, блюдец... — все это было от прадедов, было памятью, и все это было знакомо старику с юности, и потому он чувствовал себя уверенно и держал плуг твердо. Анфиса Петровна была вся в напряжении, измучилась от этого: ей все представлялось — это сама она так идет за плугом...

Внук старика, Павлушка, водил Зайчика под уздцы и страшно гордился таким доверием. Он смотрел, чтобы гнедой шел ровно между гряд, не наступал на молодую ботву.

Девчонки и мальчишки завидовали Павлушке, словно он был космонавтом, угощали коня то корочкой булки, то кусочком сахара, то печеньем. Павлушка и здесь чувствовал себя хозяином.

— Да не суйте вы, пожалуйста! — приказывал он. — Пусть прожует!

Конь Зайчик не ждал, когда прожует. Брал и брал гостинцы из ребячьих ладоней. Для гнедого был праздник.

Анфиса Петровна жалела в душе, что ее гряды были не рядом с глебовскими. Дед вон принялся было и за третью делянку... Герасимовна, бывшая всю войну бригадиркой, остановила Глебова. Теперь были ее гряды. Герасимовна сказала Глебову, что сама в силах.

И Глебовы, особенно Павлушка, с неохотой отошли от плуга и коня.

— Поводи, Павлуша, поводи, — попросила Герасимовна. Павлушка подбежал к Зайчику и в один миг успел погладить горячий хребет. И вот плуг, конь, Павлушка с его земляными ногами ушли от Глебова. Старик остался на меже с еле заметной улыбкой на губах... И Анфисе Петровне вдруг вспомнилось, как Глебов, в начале сорок шестого вдовый сержант, сватался к ней. А потом, как считали в деревне, остался холостым из гордости.

Степан заметил Анфису Петровну, подошел.

— Ну и потеха! — смеялся он. — При такой демократии на ботву наступить бояться! Вот у нас придет на базу та же картошка, или капуста, или все равно что другое, а людишек — ту-ту! Я да Роберт из бюро, что в конце нашего коридора, еще там кто, вечером как придем, как шуганем все это из вагонов! Выработочка — двести пятьдесят — триста! Эх, мать, на «Жигули» стою, да разве три-четыре десятки не пришлю? — Зять показал на поле. — Себя пожалеть надо.

Анфиса Петровна согласилась, но сказала, что еще постоит. Всех этих Степановых слов для нее как бы не было. Она смотрела на свою бывшую бригадирку, на гнедого, который шумно дышал, тянул плуг и жевал на ходу... И конь, и плуг, и Герасимовна, румяная, помолодевшая, надвигались на Анфису и напомнили далекий день. В те поры она так же вот все на ходу и на ходу. Никанор, муж, из госпиталя заехал почти на целую неделю. Она вышла на крыльцо с горсткой лука и ломтем хлеба, — надо было успеть коров напоить, — и увидела Никанора, и повисла у него на шее. А он и в дом не зашел сразу. Дай, сказал, в себя приду. Шинель скинул и все четыре воза осиннику, что из лесу понавезла на двор, переколот. Потом сел покурить среди сахарных поленьев. Приморило. Уснул в белой рубашке исподней, и солнце вокруг него струилось...

А бабы — Дунька Климова и Мотька Жунина, уже вдовы — остановились у двора и хохотать, озорницы. Ну, мол, и пригрела ты, Анфиска, мужика со встречи...

... Два раза еще приходили от Никанора треугольнички. И в каждом: «Анфиса, Анфиса!..» И по этим словам она чувствовала, как тоскует его сердце... Потом как топить, так и навзрыд. Последняя поленица так и стоит... Родилась Нюрка. Анфиса обрадовалась девочке, словно первенцу, и все ждала: вот зайдет Никанор посмотреть свою дочурку...

— Соседка, подвинься! — услышала Анфиса Петровна голос бывшей бригадирки. И тут же возле Анфисы Петровны,

чуть ли не задевая потным боком, глубоко продышал гнедой. . .

Со двора Звягиных, что стоял на другом конце деревни, ошалело закричал магнитофон. Это великовозрастные парни Звягины включили свою музыку.

На меже ребяташки спорили, кому водить Зайчика. Анфиса не знала, как и быть. Если братья за плуг — спина разболится, и так, что козы не подоить. А если не окучивать — душа измучается. . . Старуха стояла в раздумье и глядела, как Степан уходил слушать музыку: он перепрыгивал через две-три гряды и фотоаппарат на ремне качался, как торба.

АНАТОЛИЙ ЖУЛЬКОВ

* * *

Вскрикнет птица запоздалая,
Пролетая над селом.
И заря, как лента алая,
Разметнется за холмом.

Звезды ранние засветятся,
Зацветут — одна в одну.
Из ковша Большой Медведицы
Вечер выплеснет луну.

КУЗНЕЦЫ

Я видел сельских мастеров-волшебников,
Поклонников металла и огня.
Они без чертежей и без учебников
Могли сковать подкову для коня.

С размаху били в наковальню молотом,
Казалось, та развалится вот-вот.
И звуки колокольчиком надколотым,
Как позывные, мчались в небосвод.

А искры пламенеющими звездами
По кузнице неслись во все концы. . .
Мне помнятся могучие, серьезные,
Чумазы от гари кузнецы.

БОРИС БЕЛОГОЛОВЫЙ

КУТЬКА

Рассказ

Улеглись последние весенние пурги, ушли тучи. Солнце, огромное, алое, заколыхалось на краю неба. С каждым новым восходом оно поднималась выше, горело ярче и спокойнее, теплело. Вдоль всего зимника навстречу ему потянулись из-под снега верхушки вешек — снег оседал; запахло водой. Конец приходил собачьей упряжной каторге: полуголодному существованию на морозе, непроходящей боли в ногах, непроходящей усталости.

Свою третью весну Кутька встречал совсем взрослым. Головой он доставал до рукавиц каюра, породистое кольцо пушистого хвоста, густая серая шерсть, крепкие ноги... Он смутно сознавал свою ладность и силу, и от этого весна еще больше туманила его добрые карие глаза.

Веснами, если случалось дневать в стойбищах, каюр не держал упряжку на привязи. Снимал со всех собак замшевые крошечные торбаса и давал волю. Разутой лапе наст колюч, собака никуда не уйдет, не избежится. Этой весной надолго задневали в кочующем оленьем табуне у Облачных Сопок. У пастухов этого табуна вольняшкой жила белая веселая лайка Красавица. Ее удивительный запах вскружил Кутькину голову.

Но на пути любых Кутькиных желаний неизменно вставал Знающий Всё — Верный, вожак упряжки.

Кутька был крупнее и сильнее Верного, однако плохо знал трудное искусство драки, был неловок и доверчив. Верный не раз больно трепал Кутьку. А в начале зимы на его глазах жестоко разделался с другим Кутькой, тоже забывшим свое место. Кутьке представилось, как будут рвать его шкуру клыки Верного, и на миг прояснилась его голова. И опять закружи-

лась, опять закружилась... запершило ему горло, он оскалил горячую пасть и подобрался к прыжку.

А Верный переживал тринадцатую весну. Не тревожным томлением — пресной истомой растекалась эта весна в его крови. Он был еще грозен. Достаточно грозен и крепок, чтобы осадить на место хотя бы целую упряжку самых рослых щенков. Но эта теплая рыхлая весна... «Пусть будет Получившим Поблажку», — решил он и убийственно спокойно, медленно-медленно пошел мимо взъерошенного Кутькиного бока, зная: щенок не выдержит, огрызнется, отскочит — будет осмеян.

Кутька выдержал.

И стал Кутькой, Который Свое Возьмет, а Верный пошел не оглядываясь.

Сладкая снеговая вода сошла быстро. Каюр сложил нарты и бстол в сарай, а собак посадили на привязь у реки. До зимы. Цепочки были короткие. Их едва хватало, чтоб сделать несколько шагов к воде. Напиться. Бывалые псы сразу приспособились: вырыли у кольев ямки и пролеживали в них целые дни. Оживлялись только при появлении старика, который кормил упряжку. Старик приходил раз в день. Неторопливо раскрывал яму с кислой рыбой и разносил на вилах по рыбине каждому. Если ветер задувал от ямы, старика встречали хриплым лаем. Лето слилось в сплошную томительную нескончаемую муку: восходы, закаты, дожди, комары, кислая рыба, зной. Иногда во сне Кутьке чудился прекрасный запах снега. Тогда он взвивался на цепи и лаял громко, зло и жалобно.

Было и страшное. У Кутькиного соседа по упряжке, тоже Кутьки, как-то перетерся ошейник, и он забегал вокруг, будоража собак своей свободой. Деду он не дался, завизжал, кинулся в воду и поплыл за реку, где была привязана добрая сотня других собак, поднявших неистовый гвалт. Дед метнул вилы — точно ему в затылок, зашел в реку, выдернул их, и остались только круги на воде.

Снова все пошло по-прежнему. Тихими вечерами, когда слышался стук движка в поселке и сонно журчала река, тихими вечерами, когда разгорались голубые звезды, собаки затягивали унылую, отчаянно тоскливую песню. Они выли звездам, далеким и холодным, как зимой.

Потом заречные березники подернулись желтизной, острее стал пахнуть воздух, и небо опустилось к острым вершинам

сопок. Ночами подмораживало. По реке плыла дохлая отнерестовавшая рыба, река прибыла, и этих дохлецов удавалось таскать прямо из воды. Но чаще они проплывали у самого носа, мимо. Старик не приходил второй день. Кутька съел последние облепленные линялой шерстью объедки и лютовал на уплывавших от него огромных белесых размякших рыбин и на своих соседей, которым эти рыбины почему-то ловились. Его лай делался все визгливей и бессмысленней.

На третий день, когда Кутька ослабел и уже не лаял, на берегу показался человек. На нем были куртка и штаны цвета неба в самую жаркую пору лета. Не обращая внимания на жалобный Кутькин фальцет, он сложил горкой несколько камней и принялся бахать по ним из малопульки. Протяжно вжикали рикошеты. Камни оставались на месте. Теперь неистовствовала вся упряжка...

Наконец он подошел к ним.

— Ну, чего смеетесь? Просто пушка плохая. Старье!

Собаки примолкли. А он вдруг сморщился, зажал нос, пятился, повернулся спиной и — пошел обратно. Кутька заметался, бросился вдогонку и заскулил отчаянно, притянутый к самому колу обмотавшейся цепью.

Человек остановился, недоумевая, и увидел проступивший даже сквозь густую шерсть весь Кутькин костяк.

— Э-э... — протянул он. — Да ты, приятель, голодный! Как это я сразу... Ну, погоди, поправим.

Он отыскал яму. Приподнял край заваленной землей шкуры и тут же отскочил и опять зажал нос:

— ...Вот это во-о-онь! Хуже гальюна! Погибнуть запросто! — он растерянно оглядел собак. И присвистнул: одна (это был Верный), давясь, рвала и заглатывала кижучиную голову, а у другой (это был Кутька Вечное Невезение) под передними лапами лежал целехонький крупный горбыль. Человек улыбнулся.

— Ты, братец, умница! — похвалил он Верного. — Ей-богу, умница! Чуешь... — Взял вилы и отобрал у задохнувшегося от злобы Вечного Невезения его рыбину, бросил ее Кутьке, а сам убежал: начался сильный дождь.

На другой день человек этот спустился на лодке вместе с дедом. Всей упряжке роздали по две рыбины, и все повесели. Только Вечное Невезение не простил человеку обиды. Человек дружелюбно отмахивался:

— Ну чего ты, дурак, лаешься? Был бы голодный, давно бы сам съел. А то ведь...

Вечное Невезение не слушал. Насколько позволила сворка, залез в воду, присел там и бранился. Одно ухо у него было зло поджато, другое трусливо болталось, по воде от дрожащего зада расходилась рябь. Человек досадливо сплюнул:

— Вот и у людей так бывает...

Дед поглядывал на них насмешливо.

— Чудной вы, приятель, народ — материковские. Собаку уговаривать!.. Ведь она эдак, знаешь, не понимает...

— Ну да, не понимает! Должна понимать. Как его зовут?

Дед улыбнулся:

— Кутькой зовут.

— А того?

Кутька с трудом удержался, чтоб не завертеть хвостом: показывали на него.

— Того? Тоже Кутькой. И этих обоих — Кутьками, однако к разговорам собак не приучить...

— Приучим, правда? — человек неуверенно положил руку на голову тому Кутьке, которого избавил от голода. — А зовут тебя Рексом. Понял, Рекс?

Такие отрывистые слова Кутька слышал только стоя у средника, широкого ремня, к которому пристегивали собак, впрягая в нарты. Он повел ушами и гавкнул радостно — долгое сидение на цепи опротивело.

— Рекс!

— Гав!!

— Рекс!!

— Гав!!!

Человек обрадовался не меньше Кутьки:

— Видите? Отзывается! Понимает!..

И началась для Кутьки непонятная жизнь.

Вечером пришел каюр, отвязал его и увел в поселок. Ночевал Кутька в сарае, непривязанный, один. Лил дождь. А в сарай попадали только редкие капли, было много сухих углов. Утром его накормили чем-то вкусным и привязали во дворе. Днем снова накормили. Вечером — опять... Так продолжалось четыре дня. Кутька начал свыкаться с новой судьбой, но его отвязали и повели на аэродром.

Самолет внушал Кутьке неистребимый страх. Даже люди не могли привыкнуть к самолету. Когда он, чудовищно

громогласный, откуда-то из-за сопok сваливался на поселок, люди бросали все дела...

Вблизи это оказался тесный зеленый сарай с резкими запахами, и Кутька не без сомнений, но внешне спокойно влез в него. Дверь закрыли. И вдруг весь мир, привычно волнистый, мир протяжных движений и отзывчивых звуков изломался болезненными углами, задергался и — рухнул. Кутька вздрогнул, а испугаться по-настоящему не смог, только успел почувствовать, как много ел в последние дни непривычного... Тело его напряглось и — как на долгом тяжком гоне упряжки — пропало куда-то, лишь привычно бежали лапы, но самозабвение не пришло — бессмысленные запахи оглушали, слепили, чьи-то мелькающие ноги множились, множились, множились, молниеносные огни слипались целыми реками, роились целыми тучами — наверху, под низом, со всех сторон — кругом... Пахло водой и пищей, и он привычно лакал, но пропавшее тело не возвращалось и к еде, лишь привычно перебирали лапы...

Опомнился Кутька — среди деревьев. Остановился. Оглянулся назад. Пушистая девушка держала привязь и ласково улыбалась:

— Ну, иди. Иди...

Пахло палым листом. Кутька постоял, соображая, и вдруг рванулся вперед; неудобная упряжь душила, он не замечал, — чудилось, в беге, в беге разгадка всех несуразностей, можно добежать до чего-то чрезвычайно важного, прежнего, привычного, только надо бежать сильно-сильно, не сворачивать, не останавливаться, не смотреть на дорогу!

Поводок затянулся на руке у девушки, и она, громко крича, бежала следом, не в силах ни отпустить, ни остановить понесшую собаку. Наконец ей удалось обхватить дерево. Чулки были порваны, и на ногах не было туфель. Она заплакала, привязала Кутьку к дереву и ушла.

Пришел за Кутькой человек в небесной куртке и повел по черному, очень твердому и совсем не холодному насту, между двух высоких обрывов, в которых Кутька ни за что не признал бы жилье человека; мимо, поблескивая окнами, бежали в разные стороны дома людей, которые, Кутька твердо знал, всегда стоят на месте, — нелепа, ни с чем не сравнима была эта бе-

готня, тяжелый колючий комок заворочался снова в Кутькиной голове.

— А что же она будет у нас делать? Что мы будем с ней делать? — испуганно и сердито спрашивала Кутькиного человека старая седая женщина.

— Ну-у... Гулять будешь с ней... Да ты пойми-и, — он говорил горячо, но тихим голосом, — это ж полярная лайка! Настоящая ездовая собака, второй такой во всем городе нет! Лайки — вернейшие, умнейшие, послушнейшие собаки! Силой превосходят овчарку, не говоря о выносливости!.. Не агрессивны, понимают и ценят ласку!.. Она ж вас не разорит!

— Ты-ы... это серьезно? — женщина смотрела недоверчиво. — Действительно второй такой собаки в городе нет?

— Господи, ма-ма! — навзрыд взмолился человек, и его мама вздрогнула...

Кутька сидел смиренно. И она успокоилась.

— Ну, хорошо, хорошо, — неуверенно, совсем как сын, положила руку на голову Кутьке. — Не горячи-ись, не горячи-ись...

Кутька только ухом повел.

— Я тебе благодарна, — она поцеловала сына. — Привыкнем... Правда, Рекс? — она обняла Кутьку, рука у нее пахла сильно и, однако, была потверже сыновней...

Кутька стал третьим жильцом тесной от шкафов квартирки. Его новый хозяин большую часть дня пропадал где-то, и хозяйка отдавала Кутьке все свое время. Кутьке было тепло, сытно, его не кусали комары. Несколько дней с ним гуляли в глубоком колодце двора, после этого вывели вечером на тихую улицу.

Было просторно. Кутька растерянно завертелся на месте и увидел Нечто. Неправдоподобной масти, вертлявое и уродливое, Оно напоминало — собаку... Женщина, впереди которой семенило Оно, удивленно воскликнула, за Кутькиной спиной отозвались ей. Подойдя ближе, Кутька понюхал зверька и фыркнул. Помявшись немного, Кутька куснул зверька за ухо, но тотчас поспешно лизнул, чтобы прекратить поднявшийся визг, тоже как будто собачий.

И началось его быстрое превращение в Рекса. Он научился подавать лапу, и не только стоя, но и лежа, и этим привел в восторг даже своего хозяина, вечно занятого и к нему рав-

нодушного. Потом он перестал теряться в уличной суете и, стремглав пролетев восемь маршей лестницы, замирал у дверей квартиры; в лифт его не сажали: раз он застрял в нем с хозяйкой и лаем всполошил полдома.

В довершение у него появились знакомые собаки самой невероятной наружности.

И быть бы ему нормальным комнатным псом.

Если бы не мышь.

Он поймал ее на кухне, где была устроена его постель, и едва ощутил в пасти знакомый вкус теплой крови и шерсти... вспомнил себя маленьким Кутькой: до Кутьки никому нет дела, и он, вместе с другими Кутьками, бегают в тундру ловить мышей, которых там великое изобилие. Тундра просторная и мягкая, воздух над ней чистый-чистый, от запаха веточек с узкими листиками кружится голова...

Тут он почувствовал в себе что-то мешающее ему. Будто звуки, формы и запахи его теперешней жизни образовали твердый тяжелый шарик, и шарик этот лежит в нем, придавив что-то нужное... Когда ему в тарелку положили любимую овсянку, его стошнило. До вечера он ничего не ел, а вечером произошло событие, dokonавшее Рекса.

Он не любил телевизор. Его пугал громкий звук, пугало изображение, совсем не то, не такое, каким видит его глаз человека, но в этот раз хозяйка удержала его за ошейник, не дала уйти. Он пытался высвободиться мягко, но настойчиво, отворачивался от мерцающей выпуклости, хозяйка обеими руками, ласково, но и капризно и чуть обиженно, дергала ошейник, потом обхватила за шею, за голову — все же заставила смотреть: собачья упряжка мельтешила на экране, рядом с нартами бежал каюр, вот он упал на нарты и стал тормозить остолом, а собаки неслись вниз по склону, только вилась следом легкая белая метель. Упряжка скрылась. И в ответ на бухающий голос диктора комната наполнилась отчаянным, тоскливым ночным воем, шевельнувшим волосы у людей.

Утром Кутька лежал с открытыми глазами на своем месте на кухне и не двигался. Хозяйка решила, что он не спал всю ночь, расстроилась, стала его тормошить, ласкать — и тут ей послышался запах газа! Она очень боялась этого запаха, и Кутька был устроен на кухне, когда показал, что не выносит этого запаха, беспокоится шумно...

— Господи! Бедный мой! Лучше бы я сама, я сама! —

Она торопливо распахнула окно и, ежась от холода, с умилением увидела: Кутька встрепенулся.

Кутька встрепенулся. Тревожно шевельнул ушами и повел носом: пахло — снегом. За окном падал снег! Кутька жадно втянул морозный аромат и почувствовал, как просят бега его застоявшиеся за лето ноги, как хочется ему услышать знакомое «тох! тох!». Почему нет каюра? Ведь снег есть. А раз снег, значит, и каюр где-то близко, надо найти его, найти и снова побежать под высоким небом, по бескрайним волнистым тундрам, через сопки, где молодую травую щетинятся в снегу иголки засыпанных кустов кедрача!

Присев, Кутька одним прыжком перемахнул подоконник...

Горе Елизаветы Семеновны было столь глубоко, что за нее опасались. Она слегла, и у ее постели неотлучно дежурил кто-нибудь из семьи. Доктора прилагали все усилия.

Наконец кризис разрешился благополучно. Елизавета Семеновна трогательно благодарила родню за участие и уговаривала не отрывать ради нее драгоценного времени. На осторожный намек относительно маленькой спокойной собачки она с шутливым испугом слабо замахала руками. Перестали ездить невестка, старший сын, брат, перестал пропускать службу муж, отпустили сиделок. Елизавета Семеновна не стала выходить на скамеечку, а сразу в магазины, стала сама готовить; перестали ездить младший сын и племянница; что инцидент исчерпан, согласились с Елизаветой Семеновной и доктора и занялись другими больными.

Но как-то вечером Елизавета Семеновна вышла на улицу, куда водила своего взбалмошного Рекса, начала вспоминать с хозяйкой маленькой собачонки его многочисленные проказы и кончила слезами.

— Полно вам, Елизавета Семеновна! Не переживайте так. Так переживать вредно. Забудьте вы поскорей этого Рекса...

— Ах нет! Я так привыкла, так привыкла... И потом... так тягостно жить исключительно для себя!..

ВАЛЕНТИН БОБРЕЦОВ

ВОССТАНАВЛИВАЮ СЕБЯ

Как реставратор вазу античную,
педантично, по мелким осколкам
фраз, улыбок, считая — сколько
мне их оставлено,
восстанавливаю
по тишине и по крику птичьему,
в небе повисшему,
по названиям
улиц, книг, по скамейкам в скверах,
по мелодии,
что трамвай вызванивает
на повороте,
по весу ветра,
на плечи взваленному,
восстанавливаю
по желтизне фотографий детских,
по витринам, по вывескам Невского,
и, под откос с подножки прыгая,
по канавам и свалкам пригорода,
зная — не с чего, зная — не с кого
восстанавливать, —
восстанавливаю.

РОМАНС О ВОКЗАЛАХ

Они неуместны, как стансы
в комплекте меж формул и схем.
Вокзалы на крохотных станциях
ветшают — увижусь ли с кем?

Моих полудетских иллюзий
музеи, — я не навещал
давно этих зданий, где люди,
совея, сидят на вещах,

где время — подобье трамплина,
а в воздухе дрема и дрейф,
и нервна, но нетороплива
кассирша с лицом дамы трэф. . .

Но время не медлит, и ныне
они уже — анахронизм.
И истины ныне иные,
но в памяти хоть сохранись —

хоть в памяти! — крохотный символ
спасенья от фраз и позерств.
Вокзал где-то в центре России.
Поймет. Успокоит. Спасет.

* * *

Твои глаза с его глазами встретились.
Отводишь взгляд — в спасительном окне
отыскивать кого угодно третьего,
чтоб только с ним не быть наедине.

Кого угодно, что угодно — голубя
на крыше меж антенных крестовин,
кусок ли неба, четырехугольного
через окно, и вот уже твои

зрачки светлеют, встретившись с привычными
предметами, и ты произнесешь,
в молчанье равнодушно фразы ввинчивая:
«Погода портится. . . наверно, будет дождь».

НИНА ДИНКО

ВСЕ ЧУЖОЕ

Рассказ

Ту вся благая сходятся: от Грек золото, наволоки, вина и овощи различныя, из Чех и Угор серебро... из Руси же скоро и воск, мед и челядь.

969 год, летописец о торговле на Волхове

Форсети был сегодня в хорошем настроении. Его колесница пролетела над водой неслышно, оставив нежный розовый отблеск на воде и на вершинах елей. Но не бог зари разбудил Торгрима. Запах незнакомого варева разметал сны. Живот настойчиво заурчал. Правда, это еще не было достаточной причиной, чтобы проснуться. Чувство голода давно стало привычным. Лишь по рассказам своего брата Олафа он знал, что есть такие земли, где каждый день можно наесться до отвала. Вернувшись из походов, брат много рассказывал о неизвестных странах. И как-то с усмешкой бросил, что викингов называют там обжорами. Хотел бы Торгрим заслужить такое прозвище. Нет, запахи заставили бы его только перевернуться на другой бок, но в доме шел резкий громкий разговор, все перебивал высокий надменный голос Олафа. Торгрим разобрал лишь отдельные слова, но и по ним понял: речь шла о сегодняшней переправе. Бог мой, он же в Гардариках!

Как был, в рубашке, Торгрим выскочил из дома. Раньше по причине малолетства ни старший брат, ни отец не брали его в далекие поездки. И вот теперь он впервые своими глазами мог увидеть то, о чем пели скальды, о чем так много рассказывали мужчины в долгие зимние вечера у очага. Второй день, как они прибыли в Гардарики. Страна укреплений — называют ее они, норманны; странным кратким словом — Русь — именовали ее местные жители.

Вчера он издали, с корабля, видел первый чужой город. Но брат, ставший после смерти отца бондом — главой семьи, не разрешил приставать к берегу, и лишь сам съездил туда на лодке, чтобы переговорить с местным князем. Их пропустили без препятствий, поскольку шли они торговать в Хольмград — Новгород по-здешнему. Три корабля поднимались из озера Нево вверх по широкой реке и вечером остановились у поселения. Было уже темно, Торгрим смертельно хотел спать, и только сегодня он смог хорошенько разглядеть деревушку.

Поселение удивило: Торгрим не ожидал увидеть сразу столько домов. В Одали — на родине — нужно скакать несколько дней, чтобы добраться до соседей, и хотя дом их — Двор Радости — был один на большом пространстве, далекие прадеды, построившие его, позаботились об укреплении. Каменные стены двора прятали длинное строение — на всю большую семью, загоны для скота, сараи для всякой хозяйственной утвари. В детстве Торгрим был всерьез уверен, что их Двор Радости и есть Мидгард — мир людей, а за стенами его начинается страшный мир исполинов и чудовищ, о котором рассказывала мать. Теперь он увидел, как велик Мидгард, и почувствовал, как далека Одадь.

Не предполагал Торгрим, что понравится ему в Гардариках, хотя Олаф не раз за поездку предупреждал о варварстве, грубости жителей Гардариков, как он слышал от участников набегов на эти земли. Но дома выбежали из леса, столпились у воды, не прячась за тяжелыми стенами укреплений. Тут, на верное, легко живется: ни серых скал, рвущих утреннюю зарю, ни мрачных сосен, высасывающих жизнь из камня, — солнце плясало на реке, спокойная равнина лежала на другой ее стороне. . .

И сколько людей вокруг! Мимо Торгрима бежали к берегу босоногие ребятишки, восторженно голося на всю округу:

— Варяги! Варяги пришли!

Румяные, крепкие, с непривычным цветом волос, отливающим на свету краснотой, они оглядывались на него и мчались дальше. Не разобрав, где среди них мальчишки, где девчонки. Все в длинных белых рубахах, волосы впереди подстрижены, а сзади локонами спадали на плечи. Один из малышей споткнулся около Торгрима, выпустил из рук подол рубахи, и по траве раскатились красные ягоды. Парнишке было года четыре, он на четвереньках, давя коленями малину, отполз в сторону и замелькал черными пятками дальше. Торгрим бросил-

ся было за ватагой, подчиняясь зову возраста и восторгу толпы, да вспомнил, что он-то ничего нового на берегу не увидит. Русы мчались смотреть его корабли-драгары.

Драгары солидно покачивались, небрежно отбрасывая в стороны лодчонки, будто мошкару, облепившую их. Торгрим пожалел, что не распущены паруса, но ничего, у поселян еще будет возможность вскрикнуть от испуга и восторга, когда ярко-красные и полосатые паруса поймают ветер, понесут корабли дальше. Однако и сейчас было на что посмотреть: синие, желтые щиты развешены по бортам, они напоминали, что приплыли сюда не только купцы, но воины. Высокие — в рост больших сосен — форштевни отбрасывали гордые тени на зелень чужой земли, и кольчуги дружинников, оставшихся на кораблях, сияли угрожающе ясно. Но поселяне знали, что нападения не будет — идут купцы, поэтому так свободно разглядывали гостей.

Торгрим вдруг ахнул: Олаф оставил головы драконов на носсах, не снял их вечером. Забыть он не мог, потому что сам не раз говорил, что это необходимо делать, чтобы не прогневить чужих богов. И вот — не снял.

Он бросился к дому, где ночевали они с братом, но Олаф уже выходил оттуда.

— Эй, Олаф, а драконы... — начал было Торгрим и замолчал.

Брат был взбешен. Он сейчас походил на неистового берсерка — воина, умеющего приходить в безумную ярость при виде неприятеля, и хотя не кольчуга, а закрепленный серебряной фибулой плащ был на нем, казалось, что Олаф сейчас сорвет его, разорвет рубашку и бросится на эту толпу, веселящуюся у кораблей.

— Свейны, рабы, — процедил он. — Жаль, что мы не в викинге, а то бы они узнали...

Олаф, как за меч, держался за ножны, висящие у пояса.

— Ох, Олаф... Что случилось?

— Отказываются бесплатно переправлять корабли. Канат требуют в обмен и серебра: знают, что без их помощи не обойтись. Данью они не обложены, потому что укрепленный город рядом — набегов наших не знают.

Олаф еще раз сжал ножны, и, как военные доспехи, звякнули браслеты на его запястьях. Но у дома уже стояли, тихо переговариваясь, мужчины. Олаф повернулся и двинулся к ним, бросив на ходу:

— Пошли есть! Еды у них много. . .

Еда — это прекрасно. Он сейчас, вот только. . . Торгрим дождался, пока брат скроется за дверью, и присел на корточках, стараясь получше рассмотреть растение, давно привлечшее его внимание. На конце гладкого стебля держался круглый пушистый шар, мягкий, словно из птичьего пуха, привезенного однажды братом с севера. Вдруг шар качнулся и разлетелся. Пушинки защекотали лицо, одна повисла на реснице.

— О-о? — удивился мальчик. — Улетела от дыхания.

Перед ним стоял и хохотал парнишка одного с ним роста. Коричневые крапины на носу рябили, будто вода в ясный день. Босые ноги притапывали от удовольствия — это он пустил в полет одуванчик.

Торгрим сорвал пучок этих смешных растений и дунул: теперь он смеялся сам, видя, как мальчишка отмахивался от назойливых белых мушек.

— Варяг? — спросил парень.

— Викинг, — гордо ответил Торгрим, хотя это было неправдой. Конечно, были у него и кольчуга, и меч, и лук со стрелами, которые должен иметь каждый свободный человек. Лежали они на корабле, который после штормов в море стал для него настоящим домом. И на шее в вырезе рубашки был виден амулет — изображение боевого молота Тора. (В честь этого бога, могучего, сильного, развезжающего на колеснице, запряженной козлами, и сражающегося с исполинами Страны мрака, называли Торгрима.) Но сейчас корабли шли не в викинг, а лишь в торговую поездку, и поэтому он не мог называть себя воином. Правда, Олаф предупредил, что может произойти всякое и они захватят добычу у какого-нибудь племени. Олафу, воспитанному в сражениях, это было больше по душе, чем купеческие обязанности, но после смерти отца брат вынужден был сесть на священное место в доме — кресло бонда и теперь должен был заботиться о благополучии семьи: торговля надежнее, чем война.

— Идем! — дернул его за рукав паренек. — Идем к нам в гости.

Оказалось, что молодой рус — сын старосты, в деревне которого ночевали гости. Торгрим прислушался к мягкому говору нового знакомого. Поначалу ему казалось, что он немой в этой стране, и со стеснением разлеплял губы, чтобы ответить. Но некоторые слова были знакомы.

— Ждан, — ткнул себя в грудь паренек.

— Торгрим, — представился гость.

— Пойдем, а то окажемся у пустого застолья, — распахнул дверь дома Ждан.

Мужчины сидели за столом. Большие деревянные миски стояли в центре. От одной поднимался пар, от другой шел резкий, вызывающий слюну запах. Рядом высился деревянный жбан.

Торгрим рванулся к столу: год у норманнов выдался неурожайным, и ячменя не хватало даже на пиво. Теперь он может не стесняться... Однако в жбане оказалось не пиво. Сладкий крепкий напиток обжег рот, растекаясь весело по телу. Мед?

Ждан толкнул в бок:

— Пей, такое на стол князьям подают.

Но Торгриму некогда было смаковать напиток. Он черпал из миски похлебку. Шмат капусты ляпнулся на струганый стол, и гость рукой подхватил его, отправил в рот. На дне глубокой ложки оставались крупинки ячменя. Торгрим раздраженно вылизывал их языком, торопясь поскорей зачерпнуть еще. Отвалился он от стола только тогда, когда пот едко зашекотал кожу у бровей. Он отер лоб, взял еще кусок хлеба и теперь уже спокойно огляделся.

Олаф со старостой, ударяя кружками о стол, оживленно вели переговоры. Торгрим озабоченно смотрел на брата, боясь вспышки его гнева: когда отец ушел в Валхаллу, Олаф даже дома не сдерживался, а тут и подавно, для него кругом тут были рабы.

Торгрим с гордостью вспомнил лицо отца. Он был настоящим воином. Почувствовав приближение старости, ушел в далекий поход, чтобы умереть в бою. Только так принимал к себе Один, могучий ас, покровитель воинов. Торгрим знал по рассказам, как упал в бою отец, и меч торчал у него в животе, и кровь пропитывала рубашку и медленно проступала из-под кольчуги. Так уходят из людского мира викинги. Юноша порадовался за отца, который сейчас наверняка пьет пиво и веселится в огромных чертогах Валхаллы, поглядывая на множество — шестьсот сорок — открытых дверей для новых викингов. «Так и я уйду из жизни, когда придет время», — уверенно подумал мальчик.

Но все-таки не этот Один с мрачным выражением одного глаза (второй он отдал за право пить из источника мудрости)

был близок Торгриму. Юноша чувствовал, что Один приходит к нему в другом обличи.

Мать рассказывала, как принесла его, только что родившегося, к священному месту у очага, где восседал отец. Лысенький, с набрякшим красным лицом, с большими мешками вокруг глаз, младенец сучил ножками и верещал так жалобно, что мать испугалась: не всех детей оставлял отец, а этот родился в голодный год и казался слабым. Мать боялась, что глава семьи прикажет, как и двух девочек, появившихся на свет перед мальчиком, вынести вон, в горы, и оставить там. Волки ли, вороны или голод успокоят пищание комочки мяса, которые ненужны семье.

Торgrim легко представил этот вечер, потому что за свое детство он не раз видел подобный ритуал: домочадцы, рабы, наложницы толпились около хозяйского кресла, стоявшего у северной стены, отец восседал на нем, и скупое поблескивали в свете огня его глаза и посеребренные изображения богов Одина и Тора — покровителей дома, вырезанные на спинке кресла. Хозяин разглядывал младенца, которого мать держала на вытянутых руках. Губы его уже шевельнулись, чтобы отвергнуть ребенка, но тут, как рассказывает мать, вздрогнул отец, увидев в толпе сухонького старичка в голубом плаще и надвинутой на лицо шляпе. Ворон сидел у старика на плече.

Отец наклонился, зачерпнул горсть воды, стоявшую в тазу у ног, капли шариками скатились по неуклюжему тельцу новорожденного, застучали в тишине об пол.

— Торgrim, — обронил отец имя и принял на руки сына. Взглянул еще раз в толпу, но старикашки там уже не было.

С этого момента Торgrim стал членом семьи. Его опекал старший брат, в отношении которого у отца не было сомнений — оставлять или не оставлять, — родился он ширококостым, крепким, громкоголосым и, кажется, с пеленок умел держать в руках меч. Вспомнил, как брат уходил в поход: в кольчуге, с мечом и ножом у пояса. Он был так же горд, как и сейчас, и покидал Двор Радости ради битв, воплей пленных, приготовленных в дар Одину, ради добычи, которую брал у неприятеля. Он вернулся домой с первым снегом, огрубевший, сильный, с огромным мешком у седла. Женщины несколько дней хвастались украшениями, подаренными им, а отец сам закопал где-то во дворе горшок с серебром.

Но вокруг Торгрима как будто все время вертелся старикашка Один, дух беспокойства и тяги к странствиям, покро-

витель магии и поэзии. Мать подозревала, что по ночам бог дает сыну вкусить «мед Одина», потому что мальчик больше всего на свете любил песни скальдов, сам мечтал им стать. Он не уставал придумывать собственные саги, вплетая туда все, что слышал нового от отца и брата, просился в поездки и часами сидел над фризскими тканями, тарчой из Византии, пытаясь в узорах разглядеть вид далеких земель.

Сейчас Торгрим взглянул на Олафа, отяжелевшего от напитков и еды, и тот словно вспомнил о способностях брата. Ждан успел предупредить приятеля, что напиток из малины с медом любим Перуном, богом огня русов, и пить его много нельзя — отомстит.

— Пой, — приказал брат.

Торгрим вышел на середину горницы:

Эта песня о Бьярни, о Бьярни, сыне Гримольфа,
о Бьярни, песни о котором будут петь всегда.

По купеческим дорогам шел корабль Бьярни,
по звездам северных небес, вдоль серых скал.
Но буря налетела на корабль, и волны
нанизывались на острие высоких мачт.

Рванулись навстречу драгару скалы,
и ярко-красный парус упал, накрыв гребцов.

Две лодки было на борту у Бьярни,
всего две лодки и тридцать человек.

«Потянем жребий, — предложил сын Гримольфа, —
пусть случай выбирает наши жизни».

И Бьярни выпал жребий спастись в лодке.

«Как же так? — спросил у Бьярни юноша. —

Ты меня намерен оставить здесь, Бьярни?» —

«Так выбрала судьба». — «Не то обещал ты мне,

беря в поездку, не то сулил. Ты говорил,

вернешь домой здоровым и сильным, вернешь

богатым. Ты помнишь, обещал?» —

«Но что ты предлагаешь? — спросил тогда

Бьярни у этого юнца. — Что делать?»

И юноша ответил синими губами: «Поменяться
местами, сын Гримольфа».

И уплыл молодой человек к берегам спасения,
уплыл домой, вымолив себе жребий. Вернулся
в свой двор, как Бьярни обещал.

Но имени его сейчас никто не помнит,

и песню я пою о Бьярни, о Бьярни, сыне Гримольфа,
память о котором живет всегда.

Песня Торгрима металась по сумрачной комнате, билась о стены, как ворон — символ памяти. Вряд ли хозяева понимали смысл саги. Но заносчивая гордость молодого скальда

задела их за живое. И затагнули они свою, тягучую, словно напиток, дрожавший в кружках.

Во долинушке, злой пустыне,
Не лебедушка криком кричит —
Беспортошные люди-ушкуйники
Из полона-неволи идут.

Ты укрой меня, злая пустыня,
Чтобы враг меня не настиг,
Он мне вырежет печень и сердце —
Встрепенется оно на ноже.

— Не время песен! — вдруг стукнул Олаф кулаком по столу. — Дело стоит. Вы перевозите нас?

— Мы сказали, — ответил мрачно староста. — Канат и три меры серебра.

— Бесплатно! — взвился викинг.

— Тихо! — поднялись и нависли над столом русы. Они были абсолютно трезвы. — Ты не ори в чужом доме. Тихо!

Олаф заиграл желваками скул: в деревне есть дружина, и, несмотря на отсутствие серьезных укреплений, его молодцы вряд ли бы одержали победу, но с каким наслаждением рванулся бы он на этих упрямецев сейчас, рубя их спины и шеи. Он не привык считаться с чужими обычаями: в мире правит сила, и не ему бояться чужих богов, не ему снимать своих драконов с кораблей.

Торгрим не понимал брата. Сидя рядом с Жданом на конце скамьи, он не видел в этих красивых, сильных людях рабов. Он мало что успел понять в Гардариках, но начал догадываться, что это не те племена, которые дрогнут перед дружиной с севера.

— Эй, Ждан, — зашептал он приятелю, — а почему у вас так много людей, детишек? Вы что, не выбрасываете младенцев?

Ждан не понял его. Он взял Торгрима за руку, вытащил вслед за вывалившейся толпой на улицу.

К берегу стекались мужчины. Они копошились у больших плоскодонных ладей, принимая с кораблей груз. «Значит, все-таки договорились, уходим сегодня», — понял Торгрим. И тут же забыл о переправе. Мимо легко и весело пробежала девушка — волосы по спине. На длинном платье раскачивались нити пестрых бусин, на висках блеснули кольца.

— Фрейя, — прошептал Торгрим, — богиня. Хотя богиня, наверное, не ходила бы босиком. И ожерелье сделали для нее не карлы в подземном царстве.

На глаза Торгриму легла чья-то рука. Она пахла хлебом и железом. Юноша скинул ее, вопросительно взглянул на Ждана.

— Нельзя смотреть, — серьезно сказал тот. — Это вила.

Подыскивая слова, Ждан пытался объяснить, что на вилу — гордое лесное божество, которое летит, как туман над землей, — смотреть нельзя, иначе будешь тосковать всю жизнь и умрешь от тоски.

— Я это знаю, — усмехнулся Ждан. — Вот я посмотрел однажды, теперь от дома ее не отойти. Слушай, — вдруг дернул он гостя за рукав, — привези мне из поездки браслет. Ну что тебе стоит?

— Для нее, а? — Торгрим сглотнул, искоса взглянул на товарища. Кивнул.

Они пошли к кораблям. Широкие плоские ладьи загружались товаром. Олаф суетился, отдавал приказания своим и чужим людям, торопил. Даже пытался сам привязать канат к носу ладьи, где лежал в мешках птичий пух, но его спокойно отодвинули в сторону, и ему осталось только презрительно поглядывать на этих, распространяющих запах пота и лука, людей.

Наконец ладьи с гребцами на корме, подтягиваемые на канатах с берега, медленно двинулись вверх по реке.

Они приближались к порогам. Это было страшное место. Вода с громадной силой и грохотом неслась через камни и между ними. Брызги веером застыли над рекой. Радуги, десятки, сотни радуг в водяной пыли соединяли валуны, и зрелище вызывало восторг и страх одновременно. Потоки бились о борта лодки, сворачивали ее в сторону. Первая ладья подошла к тому месту, где солнце падало прямо на нее, и в слепящем свете волн исчезла. Лишь темная голова гребца с веслом в руке возвышалась над водой.

Вдруг охнула толпа и замерла. Торгрим бросился ближе и увидел, как дрожит натянувшийся канат. Ладью сносило за огромный валун, и человек на корме изо всех сил упирался веслом в камень, пытаясь лодку развернуть. Канат, казалось, не выдержит.

— И-и-эх! — разом рывкнули мужики, тянувшие ладью по берегу.

— И-и-эх! — рванули они канат.

И лодка выскочила вперед, заметалась на бурунах и водоворотках. Но тут же заскребла дном о подводные камни, и человек с веслом начал ее проталкивать, пропихивать вперед, стараясь выйти на глубину.

Торгрим не мог представить, как начнут переправлять драгары. Легкие, послушные рулю, с которым даже в бурю справляется один человек, они все же казались слишком велики для этого лабиринта камней.

«О, тут любой платы не жалко», — думал Торgrim, возвращаясь к брату, который остался у кораблей. Олаф стоял рядом со старостой, прямой, смотрящий поверх голов.

— Скажи ему, — говорил торопливо Ждан, — скажи, что нечего бояться за серебро. Мы не крадем. Мы честно работаем. Пусть сгружает все в ладью и сам уходит с корабля. Опасно!

Головы чудищ на носу покачивались, кланяясь реке. Она лежала здесь спокойно, будто и не было вверху этой борьбы, этого накала, лишь пена путалась в прибрежной траве и с противоположного берега с шумом снимались журавли, вспугнутые криками.

— Здесь Один не поможет. Здесь он не хозяин, — искал слова Торgrim, спотыкаясь, скользя на мокрой траве. — Сними драконов.

Но Олаф не слушал мальчишку. Отец Ждана махнул рукой, сел на камень, дожидаясь возвращения мужчин. По обычаю полагается угощать работников во время отдыха, но разве этот варяг — староста бросил взгляд на Олафа — расщедрится?

Нет, вообще-то варяги не жадны. Староста не первый раз переправлял через пороги этих неугомимых купцов и воинов. Какая-то сила гонит их в неведомые края. Они были шумны на пиру, отважны в битве, удачливы в торговле. Щедро одаривали варяги тех, кто помогал им на самом трудном участке пути в Византию. И староста знал, что в северных землях тот же обычай — быть гостеприимным даже с врагом, если тот пришел в дом, а этот стоит сычом. . .

Торгриму бы подойти к брату, но, зная его крутой нрав, он остался на месте. А Ждан стоял в стороне с девушкой, отпихивая ногой кур, нахально клевавших его босые пальцы. Ждан взмахивал руками, смеялся, заглядывал девушке в лицо. Увидел Торгрима, но не позвал.

«А прав Олаф, — вдруг зло подумал Торgrim, — нечего церемониться! Схватил девушку, рванул на корабль — и поминай как звали! Меч — главный судья».

— Эй, приятель, уйдешь, не забудь обещание, — подошел к нему Ждан. — А это тебе. На память.

И он протянул желтый прозрачный камень. Будто кусок меда лежал на ладони, согревал ее, притягивая солнце, и тонкие темные прожилки заманчиво и загадочно бежали внутри.

— Найдешь свою Фрейю — подаришь. Я не обижусь, — улыбнулся Ждан.

Торgrim не поднимал головы. Он всматривался в камень, растворяя в нем злость, зависть и темные мысли.

— Э-э-эй, Торgrim! — звал с корабля Олаф.

Там уже было все готово к переправе.

— Не ходи, — забеспокоился Ждан. — Иди тянуть канат. Ты же видел, как опасно на порогах. Погибнешь.

Торgrim колебался, но что-то голубое мелькнуло на пристани, точно лукавый старичок пробежал, — наверное, это была волна. И, не боясь гнева брата, юноша пошел в толпу, будто нанизанную на канат.

— По-ошел! — пропел староста, командуя переправой.

— Быстрей! — покрикивал он, шагая впереди.

Драгар легко стонулся с места.

Корабль уже почти прошел пороги, когда канат лопнул. Драгар стремительно как-то боком полетел назад, с размаху ударился о камни.

Торgrim еще сжимал по инерции обрывок каната в руках, не замечая боли от впившихся в ладони нитей. В грохоте воды не слышно было никаких других звуков. Да, собственно, и шума-то порогов Торgrim не слышал. В полной тишине, казалось, бился о валуны корабль, остановившись вдруг на месте.

— Канат, канат за камни зацепился! — закричали рядом.

Обрывок действительно оплел камень, удержав драгара. Староста, а за ним другие мужчины в одежде бросились в воду. Поток сбил их с ног, понес прямо по камням, скрывая с головой. Они цеплялись за мокрые, скользкие валуны, стараясь остановиться, но это было бесполезно. Постепенно, с помощью оставшихся на берегу, большинство людей вылезли на берег, отряхиваясь, как мокрые псы; лишь староста с одним из работников, выделявшимся ростом из толпы, доползли до валуна, державшего обрывок каната. Русы схватились за веревку и начали что-то кричать. С берега их голосов

не было слышно. Торгрим видел, как река треплет беспомощную скорлупу корабля, как полетел, упал плашмя сорвавшийся с борта желтый щит с ощерившимся волком в центре — щит Олафа, а сам он уже висел на канате над быстриной, медленно подвигаясь к ждавшим его русам. Мужчины подхватили его. И тут со свистом, рассекая воздух, сорвался канат, и корабль рванулся вниз.

Через несколько мгновений в мелькании пены, струй, солнца неслись вперегонки щепы — остатки досок. Все!

Торгрим разжал руки, и длинный обрывок каната упал змеей в траву.

На следующий день два оставшихся драгара благополучно прошли пороги. На них погрузили товар, и корабли двинулись к Хольмграду — Новгороду. Торгрим стоял на корме, вглядываясь в берег. Скрылась за поворотом деревня, дым над домами, маленькие фигурки русов. Ладони Торгрима, как кусочек солнца, ласкал маленький камень. Впереди было спокойное плавание.

ВЛАДИМИР ПЕТРУНИЧЕВ

* * *

Тишина.
Только песня слышна
да за озером крик петушиный...
Покидает сегодня весна
край доверчивой ломкой крушины.

Завершила повсюду дела:
в зелень лес и луга разодела,
птицам гнезда на кочках свила
и теперь на покой захотела.

Потому так торжественна тишь
на рассветном березовом вече...
С ними вместе невольно грустишь
о весне, уходящей далече.

* * *

Беседую с прозрачными ключами,
разглаживаю робкий чистотел...
Треть века я оставил за плечами,
но красоту еще не разглядел.

Не раз ее волнующую тайну
пытался разгадать, спешил на клич...
Что в ней закономерно, что случайно —
так до сих пор и не сумел постичь.
Поэтому легко склоняюсь к мысли,
что радостная радуга-дуга —

невидимой богини коромысло,
идущей по воду через луга.

Мне журавель у старого колодца
задумчиво роняет с высоты:
разгаданное — истиной зовется,
без тайны не бывает красоты.

* * *

Рудой богато было Рудино.
Известно ремесло сие давно:
вычерпывать из стылого разреза
унылый пуд болотного железа.
Завистников дабы не наживать,
по-божески соседям продавать.

В Топорне мастерили топоры.
Закаливали мудро до поры,
чтобы народ честной не подводили
они ни в драке с вражескою силой,
ни в ярости крестьянского труда.
И тем Топорня славилась всегда.

В Погостище хоть целый век гости —
торговый гость с товарами в чести.
Один или при нем какая стража —
бывало, всех приветят и уважают.
Но ежели прижимист и непрост —
могли спровадить гостя на погост.

А в Ладине всегда творили лад. . .
О праздниках сходились ряд на ряд
в боях кулачных пьяные округи —
отвагой переполненные струги.
Потом, чтобы никто не помнил зла,
в вине топили ратные дела.

Давным-давно былых занятий нет.
Последних драчунов простыл и след.
Иная жизнь, иной уклад в России.
Но сел названья остаются в силе:
как летопись в музейной тишине,
рассказывают нам о старине.

ЛАРИСА СИДОРОВСКАЯ

* * *

Листва на землю брошена,
черны кусты.
А у меня все прошлое
и будущее — ты!

Не сбудется, не сбудется
моя любовь!
Тобою позабудутся
страданье, боль.

Тобою перечеркнуты
мечты, слова!
А у меня все четкое:
листва, трава!

Меня капелью радует
опять весна.
Из рая или ада я —
лежу без сна.

Плохая ли, хорошая —
мечты просты:
а у меня все прошлое
и будущее — ты!

ЭМИЛИЯ КУНДЫШЕВА

ДВОЕ В ДЕРЕВНЕ

Рассказ

Сначала их все восхищало, радовало и удивляло в деревне — огромное количество одуванчиков, желтеющих у дороги, в огороде и даже в расщелинах на крыльце, бабочки-крапивницы, порхающие над поленницей дров, хозяйская кошка, чистая и доверчивая, совсем не похожая на пыльных, пугливых городских котов, козы и овцы, которых Надя боязливо кормила с ладони хлебом, солнце на крыльце по утрам, нестерпимо яркое после темных сеней, и розовый вечерний закат над почерневшим лесом.

Игорь с Надей приехали сюда в отпуск и каждую минуту помнили, что здесь, в деревенской тиши, они отдыхают от напряженной умственной работы, которой занимались в городе.

Игорь недавно, в тридцать лет, стал кандидатом технических наук, Надя училась в аспирантуре. Стараясь идти в ногу с мужем, она не только занималась научной работой, но и разделяла увлечения и интересы его помимо работы — ходила вместе с ним на выставки, покупала и обсуждала книги издательства «Искусство», читала статьи, в которых рассматривались актуальные искусствоведческие проблемы. Но, в отличие от мужа, увиденное и прочитанное она мгновенно забывала и поэтому лишь пыталась создать видимость знаний и эстетических волнений.

Теперь по деревне она ходила с широко открытыми глазами и проявляла ко всему повышенный интерес. Остановливаясь перед избами, она время от времени вдруг просила Игоря:

— Подожди, я рассмотрю наличники. Удивительная резьба! Правда?

Все дни они гуляли по деревне, по лесу, полю и каждую

минуту чувствовали себя интеллигентными, тонко восприимчивыми и глубоко чувствующими людьми.

— Разве бывают в городе такие облака?! — задумчиво говорил Игорь. — И такой чистый голубой цвет неба!

— Ты только понюхай! — восклицала Надя и протягивала ему пучок полевых цветов. — Какой удивительный, тонкий запах!

Сидя где-нибудь на берегу озера, они подолгу любовались деревней и сбегающими к воде светлыми тропинками на другой стороне.

— Как у Левитана! — шептала Надя.

— Скорее, как у Нисского, — поправлял Игорь. — Помнишь репродукцию в «Огоньке»?

Но прошло дней десять, и им стало скучно: надоели мухи в избе, слепни на озере, не тянуло уже в сухой и душный, без единой ягодки и гриба лес. А главное, не хватало интересных собеседников, с которыми можно было бы познакомиться и провести время, как это происходило на юге.

Время от времени их общество разделяли хозяйка дома, деловитая женщина с большим румяным лицом, и ее сын, такой же румяный молодой тракторист, с грохотом подъезжающий вечером к избе на своем тракторе. Утром рано, собираясь на работу, он гремел рукомойником, топал по избе сапогами и, не обращая внимания на то, что за стеной спят дачники, о чем-то громко говорил с матерью, потом хлопал дверью, заводил под самыми окнами трактор и уезжал в поле.

При встрече с ними он был приветлив, напористо-разговорчив. Однако все разговоры его сводились к приобретению лодочного мотора. Он без конца спрашивал Игоря, как, где и за сколько можно купить в Ленинграде мотор.

— До чего же он надоел, — раздраженно говорила у себя Надя, — хоть другую комнату подыскивай!

— Уже недолго осталось, — успокаивал ее Игорь. — И потом, что ты от него хочешь? У каждого свои интересы!

Вечером, когда на пожелтевшую в закатных лучах траву ложились длинные тени от изб и частоколов, они отправлялись за молоком. И это было теперь, пожалуй, самое приятное занятие.

Проходили деревню, потом шли вдоль озера, гладкого и золотого с неподвижными точками лодок, выплывших к вечернему клеву. По узкой плотной тропинке поднимались на высо-

кий песчаный косогор и подходили к серой низкой избе с белыми наличниками окошек.

— Здравствуйте! — кричали они через забор в огород склонившейся к грядкам маленькой, в пестром платочке старушке. — Молочка можно?

— А вон, родимые, на крыльце в банке. Только что подоила, — говорила старушка, выходя к ним из огорода. — Ну, как отдыхаете?

— Да ничего, помаленьку, — отвечали они в тон ей.

— Ну и ладно, ну и хорошо, — кивала старушка. — А я все одна работаю. И огород полить надо, и печь истопить, и корову загнать и подоить. Мой-то совсем ни на что не стал годный, — жаловалась она как будто по привычке, с любопытством оглядывая дачников.

Если корова была еще не подоена, она звала их подождать в дом. У окна за столом, покрытым светлой клеенкой, сидел рыжеватый старичок в серых валенках, такой же обычный в этой избе, как самовар перед ним, герань на подоконнике в чугунках, русская печка, задернутая сверху ситцевой занавеской.

— Добрый вечер, дедушка, — приветствовали они, перешагивая высокие пороги.

— Здравствуйте, — глухо говорил старик.

В отличие от жены, он не приглашал их войти и сесть. Но, с виду угрюмый и неприветливый, он, в общем-то, был так незаметен и по-деревенски прост, что Игорь с Надей не чувствовали никакого стеснения в чужом доме, почти забывая о хозяине. От нечего делать они ходили по избе, разглядывая немудреную крестьянскую утварь.

— Этот бы самовар Резниковым, — говорила Надя.

— Не подходит, они с медалями собирают, а у этого вроде нет, — сообщал Игорь.

Они склонялись к самовару. Потом осматривали стены, где висели яркие масляные коврики. Сюжет одного отдаленно напоминал «Портрет неизвестной» Крамского, а на другой изображены были два огромных лебедя на пруду с беседкой вдаль. Игорь улыбался:

— Вот это я понимаю! Как же без лебедей?! Не хватает только русалки! Н-да...

Надя останавливалась перед набором мелких фотографий под стеклом, повешенных над комодом в небольшой квадратной раме, и говорила:

— Ты заметил, здесь в каждом доме на стенах висят такие фотографии. Я ужасно люблю их рассматривать. Дедушка, это кто с бородой?

— Брат мой. Помер пять лет назад, — отвечал из-за самовара старик.

— А это, в военной форме? Сын?

— Племянник. У нас детей нет.

— А с ведром у ворот?

— Это я, когда в городе жили.

— Надо же, какой красивый был...

— Да он и сейчас молодец, — вмешивался Игорь. — Что, дед, закурим?

Он сел напротив старика. Торопиться было некуда, и ему хотелось завести со стариком неторопливую житейскую беседу. Он предлагал ему сигареты, но старик отказывался, медленно доставал из кармана пиджачка пачку «Севера» и мял папиросу распухшими в суставах, будто сведенными сушеной, пальцами.

— Что, руки болят? — участливо спрашивал Игорь.

— Болят...

— Лечиться надо.

— Толку-то что? Все одно не поможет...

Разговор прерывался, и Игорь начинал новую тему:

— Так, говоришь, в городе работал? — спрашивал он почему-то особенно громко.

— Да вы не кричите, я не глухой, — хмуро отвечал старик.

— А в каком городе?

— В райцентре.

Игорь с Надей улыбались — имелся в виду небольшой городишко километрах в сорока от деревни.

— Кем же работал?

Старик делал длинную затяжку, не торопясь отвечал:

— Маляром.

— Ну а сам-то ты откуда?

— Из деревни этой.

— Значит, из города опять в деревню приехал?

— Опять приехал.

— Та-а-ак, — задумчиво тянул Игорь. — Ну а август-то нынче дождливый будет?

— А кто его знает...

— Старики-то что говорят? Грибы пойдут?

— А ничего не говорят, — отвечал старик и отворачивался

к окну, откуда виднелось заросшее травой поле с уходящей в далекий кустарник ровной прямой дорогой.

Наконец входила жена старика, подавала им банку теплого пенистого молока, они прощались и уходили. Спускаясь вниз вдоль посветлевшей в наступивших сумерках дорожки, говорили о хозяевах.

— Я так не умею, как ты, — удивлялась Надя, — я просто не знаю, о чем с ними говорить. Ну о чем?

— Надо проще быть, — объяснял Игорь. — Не стоит заводить о высоких материях. Мне, например, очень интересно слушать их, как они рассуждают, о чем думают...

Так было каждый вечер, и каждый раз старушка спрашивала: «Как отдыхаете? Не заскучали ли по городу?», а старик сидел у окна и скупое, будто нехотя отвечал.

Накануне отъезда они задержались у стариков подольше — старушка увела Надю в огород собирать крыжовник.

Игорь сидел напротив старика и, как всегда, задавал вопросы:

— Ну а пенсии-то хватает?

— Пенсии хватает, вот только руки... — и старик повернул перед своим лицом исковерканные болезнью кисти. — Делать ничего не могу.

— Ну и не надо, — утешил Игорь. — Теперь тебе отдыхать пришла пора. Лежи себе на печи или чай из самовара пей.

Старик покачал головой, закашлялся, а Игорь встал, чтобы размяться, и начал прохаживаться по горнице. На потолке сидели затихшие к вечеру мухи, у двери на гвоздике висело кривое треснувшее сито, возле печки стоял косо, упершись в расщелину в полу, ухват.

И вдруг, почувствовав себя сильным и добрым в этой маленькой избе с больным стариком, Игорь сказал:

— Дед, знаешь что, как поправишься, приезжай в Ленинград. Прямо ко мне. Повожу тебя по театрам, музеям. «Мишек в сосновом бору» — знаешь, картина такая — покажу...

— А мне говорили, они в Москве.

— Ну не «Мишек», другие картины. Увидишь настоящее искусство, а то повесил у себя «шедевры»... — и он махнул рукой в сторону «Лебедей».

Старик внимательно слушал. Ободренный его вниманием, Игорь оживился:

— Покажу я тебе полотна настоящих художников... Ты знаешь, что такое художник?! Вот самовар. Тымотришь на

него и думаешь: самовар как самовар, желтый, блестит. И ничего другого в нем не замечаешь. А художник такое увидит... Или руки. Рука музыканта, живописца, актера, — и он почему-то посмотрел на свою руку, — это одно, а рука человека, который всю жизнь занимался тяжелой физической работой, твоя, например, — это другое. И художник стремится изобразить все это. Понимаешь меня?.. Или нарисовать деревню...

— А вы сами-то кто по профессии будете? — спросил старик.

— Как бы тебе сказать попроще... Инженер.

— А чего же вы тогда об художниках говорите? — нахмурился вдруг старик.

— Да я же... — улыбаясь, начал объяснять Игорь, но вошедшая со старушкой в избу Надя прервала его радостным восклицанием:

— Нет, ты посмотри только, чем нас бабуся угостила! — Она держала в руках кулек с ягодами. — Мы теперь с тобой должники.

— Ладно, — сказал Игорь, — на следующий год приедем, рассчитаемся. Может, что привезти из города?

— Не надо ничего, — буркнул старик.

— Небось не понравилось у нас, — запричитала старушка, провожая их до двери.

— Ну что вы! До свидания, дедушка, — сказали они.

— Счастливо, — ответил старик и обратился к жене: — Который час-то? Самовар надо ставить.

Они вышли во двор, и Игорь вспомнил, что забыл оставить старику адрес. Он хотел было возвратиться, но, тут же раздумав, махнул рукой:

— Да ладно...

И с легкой грустью, что больше сюда не придут, они спустились к озеру.

На следующий год, в начале лета, раздумывая о предстоящем отпуске, они опять вспомнили деревню, озеро, кошку, парное молоко. Игорь написал хозяйке о желании приехать. Хозяйка ответила согласием, сообщив в письме, что сын женился и живет сейчас в другом колхозе. И эта новость окончательно определила их решение.

Приехав в деревню, они сразу же почувствовали себя в ней своими — знакомой тропкой пошли за водой, потом за хлебом, приветствуя по пути встречных. А вечером пили чай и слушали рассказ хозяйки про теперешнее местожительство сына — живет он в новом поселке, где дома почти все каменные, клуб большой с колоннами выстроен, ясли недавно открыты, что очень уже кстати для молодых... Не то что в этой старой, забытой всеми деревне...

— А как, между прочим, старики поживают, у которых мы молоко брали? — перебил Игорь, устав от этих подробных описаний.

— Умер Петрович. Осенью еще, — ответила хозяйка.

— Отчего же? — спросила Надя.

— Да лет-то ему сколько было?! — сказала хозяйка, уходя в сени.

— Жаль, — покачал головой Игорь. Он слегка погрустнул, помрачнел и предложил:

— Надя, пойдем навестим бабуся, заодно перед сном прогуляемся!

— Сходи один, — сказала Надя. — Я устала с дороги.

Он взял с собой коробку ассорти чая, привезенную специально для подарка, и знакомым путем не спеша пошел к кособору, оглядываясь вокруг и думая о том, как незаметно прошла и кончилась для мира жизнь старика в домике на кособоре, — все так же под желтым закатным небом чернел лес, золотилось озеро, рыбаки опять выплыли к вечернему клеву...

Он вошел в незапертую избу, и ему показалось, что она пуста.

— Есть кто дома? — спросил он громко.

Из-за печи показалось испуганное лицо старушки. Она не узнала его, подошла ближе и, наконец вспомнив, заулыбалась:

— А, здарсьте! Опять к нам? Ну и хорошо. А я вот... — и вдруг, сморщившись, закрыла рот уголком косынки. — Старик-то мой... Сидел на табурете, вдруг за бок схватился и помер...

Игорь выложил на стол гостинец, и она, успокоившись, заговорила:

— А я к племяннице двоюродной в город буду собираться. Корову уже продала, теперь дом продам и уеду. Уж больно плохо одной-то.

Старушка пригорюнилась, и вдруг, что-то вспомнив, всплеснула руками:

— Что я тебе покажу, постой-ка. Да ты садись, садись...

Она мелкими шажками подошла к комоду и, откинув плетеную салфетку, выдвинула ящик.

— Третьего дня, значит, приходит почтальонша, дает мне пакет. «Это, говорит, тебе, баба Нюра». Я, значит, открыла его, а там вот что, — и она протянула Игорю газету, — на-ка, почитай, — и ткнула корявым пальцем в небольшую статью, обведенную красным карандашом.

Статья называлась «Художник Захар Петрович Анисимов».

— Кто это Анисимов? — с удивлением спросил Игорь.

— Да старик мой, — засмеялась старушка, заглядывая ему в лицо.

— Ничего не понимаю, — пробормотал Игорь и пробежал глазами первые строчки.

«Кисть маляра превращалась в его руках в кисть художника... За основу бралась репродукция. Это были Васнецов, Шишкин, Крамской. Но использовался в основном только сюжет. На основе его художник создавал знакомые, близкие ему с детства образы. И уже не таинственная, чуть надменная Неизвестная смотрела с картины, а ясноглазая девушка улыбалась зрителю, будто делясь с ним радостью от быстрой езды. Щеки ее зарумянились, яркая сиреневая лента затрепетала в морозном воздухе... Она мчалась мимо занесенных снегом и освещенных розовым зимним лучом деревни, церкви на холме, озера и высокого косогора с маленькой избушкой... Это было уже новое замечательное произведение, пересказанное простым и мудрым языком народного искусства».

— Ты вслух почитай, — попросила старушка.

Игорь быстро и невнятно прочитал:

«Его «Лебеди» — это не лебеди с пресловутых ковриков, тысячи раз осмеянные и заклеянные как символ безвкусицы. Декоративная безупречная композиция, острая выразительность силуэтов, использование цвета с большим тактом и вкусом делают эти работы настоящими произведениями искусства».

В конце статьи мелькнули слова: «...сила самородного таланта... произведения представляют несомненную художественную ценность...»

Игорь кончил читать и еще раз повторил:

— Ничего не понимаю.

Старушка села у окна и начала рассказывать:

— Тут к нам весной экспедиция в деревню приезжала. Из художников. Прибегает ко мне Паша Никитина и говорит: «Баба Ньюра, нет ли у тебя чего старинного? Они по домам ходят, самовары, прялки, книги старые спрашивают». Ну, ушла, значит. Вдруг заходит в избу мужчина, такой представительный, вежливый. Поздоровался. Говорит: «Я, мол, художник. Нет ли чего у вас старинного, интересного?» Я говорю: «Ничего у меня нету. Откуда быть-то? Сами мы из города, а здесь до нас брат мой жил. Бобыль был». — «Ну, извините», — говорит и пошел к порогу. Вдруг, значит, останавливается он у стенки и смотрит так внимательно на коврики...

— Какие коврики?

— Да вот на этот. И еще девушка нарядная висела. Помнишь? Ну вот. Смотрит он, значит, и спрашивает: «А это кто рисовал?» Я говорю: «Да старик мой. Он, говорю, осенью помер. Сидел на табурете, схватился за бок и...» — Старушка опять закрылась платком.

— Ну?

Она обтерла глаза, рот и продолжала:

— А он мне, значит, и говорит: «Разрешите, я своих приятелей позову посмотреть». Ну, пришли трое. С ними женщина молодая, в очках. Познакомились. Глядят они на коврики, спрашивают меня: «А нет ли еще чего, что муж ваш рисовал?»

Ну, принесла из сарая пять штук. Там «Лебеди», «Аленушка» были... Они, значит, смотрят, промеж себя говорят: «Вот у кого нам учиться надо». И всякое разное. «Ваш, говорят, муж, Анна Степановна, большой художник был...»

Старушка привстала, прищурившись заглянула в окно и озабоченно сказала:

— Что это коров-то нынче так рано гонят?

— Так что дальше? — нетерпеливо спросил Игорь.

Она опять села и заговорила:

— Стали у меня, значит, про него спрашивать, где жил, где учился. Я говорю, нигде он не учился. Как у нас дом в войну сгорел, так мы с ним после войны в город уехали. Он маляром там заделался...

— А картины как же? — напомнил Игорь.

— А картины он рисовал, как с работы придет. Я на рынок после пойду и за пятьдесят рублей по-старому и продам.

— А потом?

— Потом, я и говорю, до пенсии кое-как доработал, — ревматизм его одолел, так опять в деревню вернулся. А вот эти коврики, да еще которые в сарае лежали, он здесь нарисовал. Красок-то он много сюда навез. А уж после ничего делать не мог — руки у него совсем скрючило. Только войдет в сарай, разложит коврики и смотрит. . . Я-то знала, чего он такой сердитый был. . .

Старушка замолчала, горестно взглянув на Игоря.

— Так что художники? — спросил он.

— А то, попросили у меня картины. Собирались другие его картины в городе искать. Сказали, мы их в музее повесим, в газете про них напечатаем, а газету вам пришлем. Ну я и подарила. Все равно уезжать. . . А «Лебедей» не дала, себе оставила. Все ж память, — добавила она неожиданно твердым голосом.

Она подошла к коврику и, сложив на животе руки, стала глядеть на него.

— Интересно, — процедил Игорь и встал сзади.

Между пышными зелеными кустами, под синим звездным небом, по голубому озеру спокойно и гордо выплыли навстречу друг другу два больших белых лебеда и, коснувшись темно-красными клювами, слились в гибкий четкий силуэт, а белая ажурная беседка вдали на узкой желтой полоске берега увенчала их маленькие крутолобые головы. . .

— Бывало, к нам кто ни войдет в избу, — плакала старушка, — все просят: «Дед Захар, а дед Захар, нарисуй и мне таких «Лебедей». Уж больно красивые. . .»

У самой деревни в полосе легкого вечернего тумана навстречу Игорю шла Надя.

— Решила встретить, — сказала она, подходя и ежась слегка от холода. — Ты что так долго?

Они направились к деревне, и он рассказал ей о старушке, газете и о художниках.

— Знаешь, я тогда не присматривался, а сегодня увидел, что эти «Лебедеи» просто великолепны. Настоящий народный талант. Как у Пиросманишвили. Кстати, Пиросмани тоже был маляром.

— Надо же, такой маленький скромненький старичок, — засмеялась Надя, осторожно обходя впадину на дороге.

— Ну что ты, — сказал Игорь, — это был очень интересный старик! В нем все время чувствовалось какое-то творческое начало. Помнишь, как я любил говорить с ним? Ты еще удивлялась.

— Помню, — ответила Надя, как всегда сетуя в душе на свою память. Она взяла мужа под руку, и Игорь окончательно поверил, что именно так оно и было, и даже почувствовал гордость за самого себя.

— Все-таки хорошо здесь, — проговорил он, глядя в светлое с редкими бледными звездами небо, и глубоко вздохнул.

— Удивительно, — тоже вздохнула Надя.

Прошлогодняя скука была на время забыта.

Они вошли в тихую деревню. Кое-где в домах уже горел свет.

— Между прочим, — сказала Надя, — я уже договорилась насчет молока. Вот здесь, — и она махнула рукой в сторону темной невысокой избы с белеющими в сумерках наличниками окошек.

ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ

РОЖДЕННЫЙ ДЕНЬ

1

Фонтаном листьев
Тополь в небо бьет...
Явись на свет,
Души моей изнанка,
И выбирай — стремительный полет
Или навек постылая стоянка.
Не жди погод:
Уходит время прочь,
Сознание раскаляя добела.
Пусть молнией
Пронзает день и ночь
Гармонии упругая стрела.
Тревоге лира первая сродни,
Едва мелькнет беда над краем.
Прошу покрепче пристегнуть ремни —
Взлетаем!

2

Я полон чуткости,
Когда полет,
Голубизны расталкивая льдины,
На север замагниченно ведет,
Туда, где по Неве бегут седины
Звенящих туч,
Где бронзовые кони...
И Ладога видна как на ладони,
Дорога Жизни... За волной волна
Приносит и уносит имена

Истории. Их доля горевая —
Сигнал прямой,
Чтоб дух наш не остыл
Жить, с прошлым честно
Связь не прерывая,
Ведь прошлое для будущего — тыл.

3

Нас было двое.
В синеве садовой
Струили сон осенние миры.
И меж ветвей висел, как шар лиловый,
Закатный пруд. В соседние дворы
Лилось аллеи легкое лекало.
Поигрывая токами, чиста,
В лучах бездымно лужа подгорала,
Бездумно падала листва,
Дыша лениво жабрами пожара.
И он сказал:
«Вот так же пеленой
Плыла листва,
Когда жена рожала
Перед войной...
Я пью, — сказал он, —
Не привычки ради,
А чтоб не видеть, как растут, дымя,
Развалины, где навсегда в блокаде
Осталась разом первая семья.
Память не отменишь профсобранием,
Путевкой не отправишь на курорт.
Метелицей — одни воспоминанья.
И так без перемен из года в год.
Приду со смены —
Зять на «Волгу» копит
(Любого загрызет из-за рубля),
В квартире теснотища, как в окопе,
В шкафах, на полках — горы хрустала.
Друзья мертвы.
«Дружкам» не важно, кто ты.
Живу один — безлико, как в сачке...»

А в сорок первом командиром роты
Я воевал на Невском «пяточке».
Я умирал от пуль в нейтральной жиже,
Со стен воронки слизывая слизь,
И ничего с тех пор не знаю ближе,
Чем для Отчизны жертвенная жизнь.
Теперь вот — «устарел»,
«Дремучий неуч»,
Которого стыдится дочь.
И все-таки в итоге — это мелочь,
Сцепивши зубы
Можно перемочь.
Страшной вина (предвестница разлада),
Не сразу в ней свою мы признаем,
Твердя себе, что все идет как надо,
Что главное проверено огнем.
И, предъявляя все заслуги в куче,
В правах и чувствах ищем мы концы,
Но если наши дети нас не лучше,
Тогда какие, к черту, мы отцы!
Тогда вся наша жертвенность —
Шумиха,
И трижды добродетель —
Звук пустой.
Я не отец. . .» — сказал он тихо
В глухую глубину перед собой.
И стало вдруг богаче на морщины
Его лицо. . .
И, прыгая легко,
Над крышами реклама «ФРУКТЫ — ВИНА»
С разгона превращалась в «МОЛОКО».

4

В Комарово сазанные сосны.
Электричка висит на луче.
И сверкают пудовые росы
В семафоровом кумаче.
Как вожак,
Отстающий от стаи,

Припадаю к сосне не дыша.
Холод в кровь мою входит, как свай,
И, кристаллом ледовым блистая,
Из груди выгребает душа.
Только боли ее не остыли.
Имя Родины!
Судьбы — леса!
Это вы, как оракулы,плыли
В быт мой летный,
И в поиске были
Словно в комплексе компаса.
Это в рифм реактивные гулы,
Отсияв синевою виска,
Были липой мои отгулы,
Были блефом мои отпуска.
Жизнь права не чужими рассказами!
Люто воздух хватая ртом,
Понимаю: мы намертво связаны
С тем, что было и будет потом.
Не случайной романтикой рея,
Сквозь невзгоды и толщи имен
Чаадаев, Радищев, Рылеев
К нам приходят связными времен.

5

...Род людской
Задыхается, тлея
Под покровом
Смиренной пыльцы,
Где с пелен
Не хотят, красивея,
Дети лучшими стать,
Чем отцы.

6

Вас памятники ждут.
Вы победили.
О вас легенды лучшие сложили.

Счастливой чашей
Достались нам и стали сенью нашей
Плоды побед — почти что без труда.
Вы думали об этом иногда?
Вы думали,
Частенько упрекая,
Что мы взрослеем, горестей не зная,
На всем готовеньком,
Без голода и ран,
Что нам покой
Ценою страшной дан.
Счастливчик, кто забыл.
Я не умею.
Я с этою занозой жил и рос.
И, словно надолбы,
Со щедростью своею
Век ставил за вопросами вопрос.
По-разному на них мне отвечали,
И кое-кто ехидно хмыкал:
«Блажь!
Пусть будет больше чугуна и стали,
Весомей будет пусть полей пейзаж.
Все остальное — дело наживное.
Душа? Искусство? — Детская игра».
И прочее...
А иногда такое
Визгливое или глумливо-злое,
Что плечи гнет свинцовая гора.

7

Нет времени,
Нет времени, хоть плачь.
Играет стрелками будильник,
Как палач.
Все туже,
Все железней, как болты,
На горле лапы цепкой суety.
Все чаще мимо
Вскачь текут неоны
С веселой устремленностью телят.

И листья, как товарные вагоны,
За горизонт распластанно летят.
Все чаще, привыкая, на ходу
Я время, где «не так лежит», краду.
И вот уже, невидимо скользя,
Вещают анонимные друзья,
Что стал я откровенья избегать,
От гордости своих не узнавать,
Что резким стал,
Собою занят сплошь,
Что пропаду в отрыве ни за грош.
Забота ваша
Страстно-горяча,
Но жаль — имеет форму кирпича.
Не от вниманья,
От плечистых ног
Я откровенье чистое сберег.
... Не для того
Дух творчества воскрес,
Чтобы идти на поводу под пресс,
Чтобы опять
Утюжилась земля
Всеядным языком небытия.
Всезнающие уши и глаза,
Не у меня «не держат тормоза»,
Не я по близорукости, а вы
Дрожите стадно жертвами молвы.
Не я беру вас сплетнями в кольцо,
А вы свое скрываете лицо.
И объясните: для интриг и ляс
Откуда столько времени у вас?

8

Накрахмаленная простыня
Предрассветное дарит свеченье.
Восходящую легкость храня,
Засыпаю в паденье.
И мне снится:
Меж кронами свет,

За рекой,
Где рыбачья обитель,
Входит в землю мой силуэт,
Как истребитель.
Отлетает на небо душа,
А листва опадает.
Ледяной ветерок не спеша
Следы замечает.
Замечает,
Пропев вдалеке
Песни поля простые.
И рыбак оставляет в реке
Веслом запятые.
И леса разметались в узде
Бликов обильных.
Просыпаюсь —
В охрипшем ведре
Грохочет будильник.

...Рожденный день!
Вне опыта веков
Ты скуден,
Как земля без урожая.
...Встаю рывком,
Огонь черновиков
Со скоростью улыбки отражая.

ПЕТР ЖЕЛЕЗНОВ

МАКС И ВАЛЕНТИН

Рассказ

— Скажите, пожалуйста, как доехать до ближайшей гостиницы?

— Ближайшей? Да тут у нас всего одна...

На одном из московских вокзалов Валентин вычитал название незнакомого города на юге Украины и сразу купил билет на поезд.

И вот он уже здесь.

Автобус выехал на нарядно освещенную улицу. Мелькали неоновые вывески с непривычными названиями: «Перукарня», «Черговий магазин», «Чоловичий одяг»... Кто-то рядом включил транзистор, и под железный ритм джаза все стало напоминать туристский фильм.

Остановку автобус сделал у самой гостиницы.

К женщине за перегородкой под надписью «Администратор» он прошел робко, испытывая неловкость за свой несвежий и помятый вид.

Но место, к удивлению, нашлось сразу.

— Номер тридцать девять. Там уже есть жилец.

Валентин поднялся. Постучал.

— Открыто! — послышался раздраженный голос.

На постели, с книгой в руках, лежал юноша на редкость красивого сложения, с эффектной мускулатурой, коричневый не то от загара, не то от природной смуглости, с курчавой шевелюрой под «черных мусульман», в ярко-голубых плавках с узором. Он, не вставая с постели, рассеянно кивнул на приветствие Валентина и опять уткнулся в книгу.

Поставив чемодан около своей постели, Валентин стал раздеваться.

У гардероба на полу валялся галстук.

— Ваш галстук упал. Повесить?

— Пусть лежит, — сухо отозвался юноша.

— Пусть так пусть, — сказал Валентин и остановился у зеркала.

Рубашка ничего, но брюки надо бы выгладить, да и почистить. Но для этого нужно идти в коридор, к горничным. Не хочется. Неудобно?.. А почему, собственно? У него своя дорога, а у меня — своя. Здравствуй и прощай. . .

Но молчание соседа тяготило.

Валентин сел. Постель уютно скрипнула. Провел рукой по синему с белым покрывалу и не выдержал:

— Приветливый город.

— Мм-м? — откликнулся юноша.

— Приветливый, говорю, городок.

— Аа-а. . .

— И гостиница что надо: как появился — и сразу место. . .

Но сосед не ответил. И Валентин оглядел его неприязненно. Но тот даже не моргнул. И Валентину стало завидно: сам он от таких взглядов начинал часто-часто моргать.

А впрочем, подумал Валентин, он мне ничего не должен.

Подошел к окну. Внизу проходили люди, и свет от окон гостиницы падал на молодые и старые лица. Подул на стекло и на запотевшем месте нарисовал рожицу. Получилось что-то кривое и озорное.

— Может, закурите?

Это было неожиданно. Юноша протягивал открытую пачку сигарет и смотрел. Внимательно, вежливо и немного насмешливо.

— О-о! Конечно! — воскликнул Валентин. — Закурю с удовольствием! Хотя предпочитаю более крепкие. . .

Он взял сигарету, и сосед поднес зажженную спичку.

— Спасибо, — сказал Валентин. — И кстати, который час?

— Половина восьмого.

— Понимаете, так устал в дороге, думал — как рухну, так и усну, а сейчас вот как стеклышко. . .

Валентин встретился с ним взглядом, и что-то в глазах юноши его встревожило, уловилось что-то в глазах, неожиданно синих на смуглом лице. . .

Сосед насторожился.

— Вы, случайно, не в Казахстане служили? — спросил он.

— Нет, — ответил Валентин. — А что, и вам показалось тоже? . .

— Да, — сказал сосед, продолжая его рассматривать.

— Мне кажется, — сказал Валентин, — что я определенно видел вас где-то... Если только не на экране.

— Ого! — сказал сосед. — Так высоко мы еще не летали. В Москве, может, виделись? Я там учился.

— Вряд ли, — сказал Валентин. — А в Свердловске вы не жили?

— Отпадает.

— Что-то вертится в голове, а ухватить не могу, — сказал Валентин и заходил по комнате. — Что-то вертится, вертится, вер... Стоп! Простите, как вас звать?

— Максим.

— Вас в детстве не звали Максом?

— И сейчас зовут...

Валентин уставился на соседа долгим, пораженным взглядом.

— Что происходит? — спросил тот.

— Не может быть! — сказал Валентин. — Не может быть! Вам приходилось жить в Чебоксарах? — выкрикнул он, все больше и больше волнуясь. — В Чебоксарах! Четырнадцать лет назад!

— Я и сейчас там живу! — воскликнул Макс. — Но откуда?!

— Я Рыжик! — крикнул Валентин. — Рыжик! Вспомни, Макс!..

Получилась история, неприятная и слишком запутанная для четырнадцатилетнего Рыжика, то есть Валентина, и он уехал из деревни в Чебоксары, сказав матери, что поступит в ФЗО. Но оказалось, что прием в ФЗО начнется только через два месяца, и Валентин стал ночевать на пристани.

Рыжика приметил один низкорослый, лысый, с маленькими бегаящими глазами человек. Он носил тельняшку и велел называть его Матросом. Раза два угостил Рыжика конфетами, а как-то подговорил его стащить у одной женщины чемодан. По своей обычной совестливости, Рыжик не только не стащил, но и предупредил женщину.

Ночью следующего дня, спускаясь по крутым ступеням вниз к пристани, он заметил поджидавшего его Матроса.

Бежать по лестнице вверх не было смысла — догонит. Рыжик метнулся влево, на узкую полосу отмели.

Матрос — за ним.

— Друг, подожди! Стой, тебе говорят! ..

Они бежали по неосвященному месту. Начался гравий, и ноги Рыжика стали цепляться за камни. Впереди показались перевернутые днища лодок, лоснящиеся от лунного света. Рыжик надеялся спастись в кустарнике налево. Но неожиданно споткнулся и полетел по камням.

— А ну, гад! Стой! — закричал кто-то другой, не Матрос. И все затихло. Ни ударов страшных, ни топота.

Затем в тишину ворвался голос Матроса:

— Чего-чего?!

— Отстань от малого!

— А ты, падла, кто будешь?

— Заткнись, гад! — ответил незнакомец.

Рыжик поднял голову. А затем, схватив камешек, подбежал поближе, чтобы помочь, если потребуется, неожиданному защитнику. Но помощь вряд ли требовалась. Защитник был выше Матроса.

— Салага! Жить надоело?! Убью! — кричал Матрос, не двигаясь с места. Затем в его руке блеснул нож, и он ринулся на незнакомца.

Но тот не растерялся, схватил с земли камень и швырнул.

Раздался глухой звук, Матрос крикнул и рухнул на землю.

— Беги за мной! — крикнул Рыжику незнакомец.

...Когда они остановились, окраина города была далеко позади. Пристани уже не было видно.

Они устремились по берегу вверх и устроились в стоге сена. Незнакомца звали Максом.

— Чего ты, малек, дома не спишь? — спросил он у Рыжика.

Рыжик объяснил, и Макс был поражен тем, что Рыжику уже четырнадцать. Он принял его за десятилетнего. Но еще большее удивление ожидало Рыжика: оказалось, что и Макс, этому рослому и широкоплечему парню, тоже четырнадцать.

Утром они спустились к Волге и стали купаться.

Рыжик думал, что темнота лица у Макса от загара, но оказалось, что он весь такой смуглый — весь-весь!.. Рыжик с завистью смотрел на его блестящие золотисто-коричневые мускулы, стройное и сильное тело. И, когда Макс с нескрываемым и насмешливым любопытством уставился на него, такого щуплого и маленького, Рыжика охватило смущение, он



отчаянно сжал свои коленки и прикрыл детское безволосье ладонью.

В ответ Макс щелкнул его по животу и захохотал.

Перед тем как пойти к пристани, Рыжик пошел вперед — посмотреть, не толпится ли на месте ночной стычки народ и нет ли милиции. Там никого не было. Только огромное чернеющее пятно блестело на полосе гравия, и он помахал рукой Максу — можно, мол, идти, все спокойно.

Они стали ночевать вместе. И не в душном и грязном зале пристани, среди усталых и настороженных взглядов, где до сих пор обитал Рыжик, а на свежем воздухе, под старой заброшенной лодкой, где Максом были припасены для постели кучи сухого тряпья.

Иногда они уходили ночевать за город в поле и забирались на какой-нибудь стог сена. И это, пожалуй, нравилось им больше. Перед тем как уснуть, говорили о том, с чем столкнулись за день, или рассказывали друг другу таинственные и страшные истории.

В рассказах Макса преобладали военные события, благородные воры-медвежатники и отношения между мужчинами и женщинами; он даже приводил в пример подробности собственного опыта, чему Рыжик не особенно верил, но слушал с большим интересом. Сам он знал больше историй о шпионах и путешественниках.

Было приятно, утонув в сене, видеть только ночное небо и звезды. У Рыжика иногда появлялось ощущение, что земной шар с его тысячами километров в диаметре он держит в пальцах, между указательным и большим, и разглядывает реки, города и горы на нем. От этого начинало биться сердце и почему-то хотелось плакать...

Днем они редко ходили вместе. Каждый занимался своим делом. У Макса изредка появлялись деньги. Однажды он переделся в новые брюки и рубашку. А еще он часто давал Рыжику деньги на мороженое и кино. Оставалось загадкой — где он добывает деньги?

Рыжик случайно наткнулся на него днем, занятого настоящей работой. Макс разгружал ящики с продуктами. Рыжика он, конечно, не узнал: было бы ниже его достоинства узнавать какого-то рыжего шкета с девчоночьим, глупым и восторженным лицом, к тому же державшего в руках две пустые бутылки из-под водки. Но вечером, под лодкой, он вытащил из-за пазухи целых семь плиток шоколада и сказал:

— Ешь сколько влезет.

Однажды сам позвал к промтоварному магазину. Он опять разгружал ящики. И, когда взрослый его напарник исчез в дверях магазина, он сунул Рыжику сверток.

А вечером, замирая от неловкости и возвращая сверток, в котором был тонкой пряжи голубой свитер, Рыжик сказал:

— А если поймают?

— Пусть догонят, — сказал Макс.

— Нехорошо как-то...

— Что нехорошо?

— Воровать нехорошо.

И от удара в челюсть Рыжик отлетел и стукнулся затылком о стенку лодки. В глазах у него потемнело, и, вскочив,

он кинулся на Макса с каким-то утробным воем, но опять отлетел от удара, и из его носа пошла кровь.

— Опять скажешь, что я вор?

— Так нехорошо же, Макс...

— А собирать бутылки по дворам хорошо? Хорошо собирать грязные бутылки с вонючих помоек?

— Зато честно! — сказал Рыжик, начиная всхлипывать.

— Ты дурак! — сказал Макс. — Живешь и не знаешь, что все крадут!

— Нет! — крикнул Рыжик. — Не все!

— Дурак! — крикнул опять Макс. — Сопляк! Видеть тебя не хочу! Уходи! Уходи сейчас же!

Рыжик остался стоять у лодки и заплакал.

— Кому говорят? Топай отсюда! Видеть тебя не хочу!

Рыжик вдруг странно заулыбался сквозь слезы и, вытирая с губ кровь, сказал:

— Я не хочу от тебя уходить. Я... Ты мне...

— Это еще что такое?! — поразился Макс. — Чего ты крутишь?..

— Я хочу остаться с тобой, — сказал Рыжик, продолжая странно и виновато улыбаться. — Ты самый лучший и хороший. Оставь меня с собой, ладно?

И Макс затих. И только молча и изумленно смотрел на Рыжика — на этого маленького и окровавленного теперь оборвыша с давно не стриженными и совершенно пожелтевшими от солнца волосами, в чуть косящих, золотисто-зеленых глазах которого были и мольба, и решимость, и отчаяние... И Макс сказал:

— Ладно уж. Оставайся.

На другой день Макс надел украденный вчера голубой свитер тонкой пряжи, а свою новую красную рубашку подарил Рыжику.

Рубашка Рыжику была велика, но он ее заправил хорошенько в брюки, закатал рукава и стал очень нарядный. И от радости стал подпрыгивать и восклицать:

— Спасибо, Макс! Спасибо, Макс! Спасибо...

И вот через четырнадцать лет они опять вместе, сидят в ресторане гостиницы.

После воспоминаний об общих происшествиях детства они отвлеклись, заговорили совсем о другом, и вот Макс продолжает:

— Ты возмущаешься: где-то кого-то обидели, какую-то книгу трудно достать... Но ведь все это — стихия. Как ураган, как снег или дождь. Мудрый не возмущается дождем, он покупает зонтик.

— Мудрый еще не добрый, — сказал Валентин.

— Наивно, Валентин. Добрый, злой... Мир много богаче ролями. Все это слишком абстрактно. Прогресс делается...

Макс говорит спокойно и размеренно. Жесты его уверенны и артистичны. У него приятно пестрый галстук, великолепный костюм, оглаживающий крутость мускулов и одновременно подчеркивающий его атлетическую стройность и привлекательность. Густые и курчавые волосы высоким нимбом, под «черных мусульман», смуглое и такое же гладкое, как в юности, лицо. Те же припухлые и насмешливые губы. И небесно-синие глаза, сохранившие мальчишеский блеск. Разве подумаешь, что ему уже двадцать восемь? Так юно он выглядит, словно ему всего семнадцать, почти не изменился с тех пор, когда они спали под заброшенной лодкой и когда рядом с ним Рыжик казался ребенком. А теперь Рыжик выглядит много старше... Слишком заметны складки около губ, слишком заметна сутулость, да и лицо посерело и осунулось. К тому же в ресторан он спустился, не погладив брюки, в той же клетчатой рубашке...

— Прогресс делается, — продолжает Макс, — вещами более конкретными. Работой, строительством домов, заводов, машин...

— Но дома и машины строились и в Третьем рейхе, — сказал Валентин.

— Ты усложняешь.

— Но ведь это действительно сложно. Борьба-то идет не между лириками и физиками, не между лентяями и трудолюбивыми, и не между умными и дураками. В критическую ситуацию решает все разница сердец.

— Разница сердец?

— Да. Та самая разница, которая одного ребенка заставляет мучить кошку, а другого — ее защищать.

— Результат воспитания, — сказал Макс. — Внушили ребенку, что хорошо мыть шею и защищать кошек, вот он и защищает.

— А другим, значит, не успели это сообщить?

— Вот именно, — сказал Макс. — И вообще, как ты сам представляешь все эти туманные категории?

— Все эти туманные категории... — начал Валентин, но не успел договорить, весь передернулся от чьей-то тяжелой руки, опустившейся ему на плечо, — над ним, покачиваясь, стоял пожилой, очень толстый и очень пьяный мужчина и, вяло шевеля губами, проговорил:

— Вот вы тут гуляете, а между тем мои козлики...

— Идите к черту! — прервал Валентин и отбросил его руку. — Какого черта вам нужно?!

— Спокойно, спокойно, — сказал толстяк и, запев, отошел и начал плясать.

В зале поднялся хохот, а Валентин вдруг весь сник. Дрожаями пальцами он достал сигарету, закурил, затем выпил залпом вино и стал успокаиваться. И уже с улыбкой сказал:

— Ты удивлен?

— Немного, — сказал Макс. — Но это встречается. Неврастения.

— И отчего она, эта неврастения? — сказал Валентин.

— От обид, — начал перечислять Макс, — от постоянного нервного напряжения или, как сейчас говорят, от недостатка экзистенциальных контактов. А если подробнее...

— Вот уж не надо! — сказал Валентин. — Перед медицинской я и без того благоговею.

— Это заслуга отца, — сказал Макс. — Он крепко тогда за меня взялся. Условие поставил: или я поступаю в институт и он треть своей зарплаты будет высылать мне, или романтика трудовых будней... Сейчас благодарен ему.

— Повезло тем, чьи отцы остались живы, — сказал Валентин.

— Но, в общем-то, — сказал Макс, — стоящий человек и без отца пробьется.

— А которые не пробились — нестоящие?

— Зачем?.. — растерянно ответил Макс.

Оркестр заиграл что-то бурное и бодрое, и пальцы Валентина стали отстукивать ритм музыки на столе.

— Иди, станцуй, — сказал Макс. — Пригласи вон ту, сивую.

Валентин встал и направился к «сивой» — девушке в парике под седину. Но на приглашение танцевать она молча отвернулась. Тогда Валентин пошел к другому столу и пригласил другую женщину, но та ответила, что не умеет танцевать. Подойти к третьему столу у него не хватило решимости. И он, вымученно улыбаясь, вернулся к своему столу.

— У тебя подход неправильный, — сказал Макс. — Ты слишком расшаркался, и глаза у тебя были слишком умоляющие. С такими надо вести себя по-другому.

В его глазах Валентин успел заметить что-то кольнувшее его — то ли смех, то ли еще что-то, умело скрытое... Чтобы не показать своей уязвленности, Валентин взялся за еду, но задел вилкой рюмку и вино потекло на скатерть.

— О, проклятье! — выругался Валентин.

— Брось расстраиваться! — сказал Макс. — Из-за чепухи такой. Расскажи лучше, как жизнь твоя сложилась после того, как мы расстались.

— А ты разве не предполагаешь — как?

— Откуда?

— Разве забыл, при каких обстоятельствах мы расстались?

— При каких?

— Вспомни последний день нашего знакомства.

— Мы тогда не арбузы разгружали?

— Нет, — сказал Валентин. — Мы тогда пошли по дворам. Дрова людям пилить. Припоминаешь?

— Расскажи.

— Мы вошли в один двор. Мне даже ворота запомнились — красные. И надпись на воротах: «Во дворе злая собака». Я боялся собак, взял палку, но собаки не оказались.

— А знаешь, — сказал Макс встревоженно, — припоминаю.

— Так вот. Мы с тобой поднялись на веранду. Крикнули что-то вроде «эй, кто дома?», а потом заметили на столе часы, блестящие такие, желтые...

Грохнула музыка, и Валентин, вздрогнув, оглянулся к оркестру.

С оркестром запела маленькая старая цыганка. Пела она низким и хриплым голосом, резко обрывая фразы и стремительно вскидывая вверх руки с растопыренными пальцами. А четверо юных гитаристов казались ее расшалившимися внуками, они играли, трясясь, покачиваясь, подпрыгивая и закатывая глаза. Особенно неистовствовал самый юный, маленький, с волосами до плеч. Он подпрыгивал, мотал головой, проскакивал даже вперед певицы и, извиваясь, бил очень звонко по струнам и улыбался, улыбался, упиваясь собой и своей музыкой.

— Во дает, — сказал Валентин. — Свободы, что ли, в нем много?

— Ребята молодцы, — сказал Макс, — но ты не отвлекайся.

— Так вот — на столе лежали часы. Ты схватил их и командовал бежать. Что-что, а командовать ты умел. Но я отказался.

Макс слушал, хмуро разглядывая свои ногти, затем поднял взгляд и сказал:

— Но ведь это было по-дружески. Не бросал тебя, а звал с собой.

— А я сказал, что это воровство.

— Нам было тогда всего по четырнадцать.

— Да. По четырнадцать. И я сказал, что это воровство.

— Ну и что? — воскликнул Макс раздраженно. — Что ты все суешь мне свою сусальную добродетель? И что, между нами говоря, ты от нее выиграл?

— Детколонию, — сказал Валентин.

— Детколонию?! — поразился Макс.

— Да.

— О-о! — воскликнул Макс растерянно. — Как?

— Когда ты побегал, появился хозяин. Я растерялся. А он на веранду и сразу — зырк! — на стол. Я рванулся, успел открыть ворота. Крик тут поднялся, шум... Бабы меня поймали. Я ведь даже кусаться не умел...

И вдруг Валентин замолк, пораженный тем, что в глазах Макса появились слезы. Это было так неожиданно, что у Валентина перехватило дыхание от щемящей боли, сжавшей сердце, и он на миг увидел себя и его под тогдашним, четырнадцатилетней давности небом, усеянным звездами... Себя и его, лежащих на стогу сена и мечтающих о будущем...

И Валентин, заставив себя улыбнуться, сказал:

— Забавно я отражаюсь в твоих зрачках. Два малюсеньких типа сидят там и размахивают руками.

— Сколько ты там пробыл? — спросил Макс.

— Два года.

— Трудно было?

— Не особенно. Это ведь не тюрьма. Доставалось, конечно. Непонятен я был всем страшно. А такого дети, тем более такие специфические, травят изобретательно. И воспитателям не нравился, я портил их представление о начинающем уголовнике... Однажды мне устроили «темную», я со слезами

к воспитателю. Вместе с коллективом, так сказать, воспитывали. А как-то деньги искали пропавшие: кто покраснеет — тот вор. А кому же краснеть, как не мне. . . Что говорить — всякое было. И хорошее тоже, даже забываемо хорошее. . . Да, это я искренне.

— Ты меня обвиняешь? — спросил Макс глухо.

— Что ты? С какой стати?.. Обстоятельства так сложились, жизнь. Да и кто знает, где бы я был, если бы не попал туда. В конце концов, и под трамваи попадают. . .

— Это верно, — сказал Макс. — Все в жизни случайность. Что тогда сошлись, что сейчас встретились. Как вот эта старуха — могла быть в таборе, могла где-нибудь еще, а случай привел в ресторан. Певица. . .

— И неплохая певица, — сказал Валентин. — Старуха молодец. В гроб пора, а она поет.

— Плохо поет, — сказал Макс. — Пошло и сентиментально. Ее потолок.

— Ах, очи черные! — пропел Валентин шутивно, вторя певице. — Сам бы спел, да слов не знаю. Сотни песен засели в памяти, а ни у одной слов не знаю, даже тех, под которые иной раз плачу. А руки-то у ней, посмотри, какие большие! Плохо ей когда-то пришлось. А сейчас вот поет. . .

— Тут она неплохо зарабатывает, — сказал Макс, — на пьяных.

— Все равно молодчина! — сказал Валентин и опять запел, немного кривляясь, но было заметно, что старается.

Макс не выдержал:

— Не идет тебе это. Или ты уже опьянел?

— Может, и опьянел, — сказал Валентин. — От усталости. Я ведь пью очень редко. Боюсь, что в один прекрасный день понравится и потянет вниз, по наклонной, — ведь алкоголь безвольных доканчивает.

— Ради бога! — прервал его Макс. — Без стриптизов этих. В нашем возрасте это малопродуктивно. И вообще, зачем нить? Ты здоров, имеешь хорошую профессию. Кстати, я забыл, что ты преподаешь?

— Английский.

— Где-нибудь поблизости?

— Нет. Далеко отсюда. В деревне под Свердловском.

— А как тут очутился?

— В гостях я. Квартира у тети тесная.

— Ну и слава богу, что тесная, — сказал Макс, — а то бы не встретились. Университет?

— Курсы. Но провинцию это устраивает.

— А художника, значит, из тебя так и не получилось?

— С чего это — художника? — удивился Валентин.

— Ты ведь рисовал вроде ничего.

— Ах, это! — усмехнулся Валентин. — Кочегара, кажется, тебе нарисовал. Ты садиться не мог. Вывел или сохранилось?

— Его ж не видно, — сказал Макс и засмеялся.

— А я еще предложил тебе нарисовать муху, — сказал Валентин и осекся, почувствовав во взгляде Макса что-то острое. — Что ты на меня так странно смотришь?

— Да так, — сказал Макс. — Ребят из цыганского поселка вспомнил. А ты помнишь? Или ты только мое прошлое помнишь?

Валентин, вздрогнув, сказал:

— Ты хочешь, чтобы я покраснел?

— Где уж тут! — сказал Макс. — После стольких-то рюмок! А как у тебя с семьей? Женат?

— Нет. А ты?

— Что ж так плохо? — сказал Макс. — Так и альтруизм свой некому будет передать. Доброты бы в мире прибавилось, справедливости, человечности...

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Я-то женат, — сказал Макс. — Уже ребенку шестой год. Сын. Весь в меня.

— Еще бы! — сказал Валентин. — Генетика! А жена тоже по медицинской линии?

— Нет. Она литератор.

— Ух ты! — воскликнул Валентин. — Пишет?

— Кандидатскую.

— И на какую же тему? О преимуществе жизнеутверждающего или что-нибудь о системе гласных у Шиллера?

— Так обычно судит обыватель, — сказал Макс. — Обыватель, неспособный написать грамотное письмо, или нахватавшийся вершков мальчишка. Со всего факультета она одна попала в аспирантуру. Она из детдома. И, между прочим, не система гласных у Шиллера, а жизнь и творчество Аттилы Йожефа!

— О-о! — вырвалось у Валентина при упоминании его любимого поэта, и ему захотелось вдруг заплакать. Или просить прощения. Или притронуться к крупной и темной руке Макса.

и улыбнуться грустно. Эта рука, такая сильная и красивая, подняла в ту ночь камень, чтобы спасти его, и эта же рука выбила ему два зуба... «Макс, я больше не буду! Не буду!» — «...На тебе еще, чтобы ты не пакостил!..» Он тогда помешал Максу уединиться под лодкой с девушкой. Сознательно помешал... В одну из тех осенних ночей, которые так хорошо описаны Аттилой Йожефом... И Валентин начал вслух вспоминать:

Как бархат, ночь по травам стлалась плавно,
тягучей, волглой тьмой...
И, всхлипывая, листья, словно дети,
озябшие, укутывались в ветер,
вертелись подо мной...¹

— Это Аттила Йожеф? — спросил Макс.

— Да. Ей нравятся его стихи?

— Да нет, — сказал Макс. — Это для нее только работа. Она даже посмеивается: ныл парень, ныл, и настрочил на классика.

— Вот как? — смутился Валентин и помрачнел.

— Вот так, — сказал Макс.

— Значит, ныл парень, ныл, в тридцать два под товарняк бросился, а сейчас на нем можно диссертацию заработать, ставку кандидатскую и посмеиваться?

— А почему ты не заработаешь? — сказал Макс.

— Диссертация, — пропел Валентин, — дегероизация, дегуманизация...

— Ты завидуешь, — сказал Макс, — а это не очень чисто.

— А вы чистые! — сказал Валентин. — Это, случайно, не те часы? Да, вот эти, на твоей руке!

— Ну вот что! — сказал Макс. — Ты пьян, и я тебе прощаю.

— И я прощаю! — сказал Валентин и крикнул: — Официантка!

— Платить буду я, — сказал Макс.

— Я не за тем, — отмахнулся Валентин.

Появилась официантка.

— Заказов не принимаем, — сказала она. — Мы уже закрываемся. Ах, вам певицу?

Подошла, устало улыбаясь, певица. Маленькая, сухая старуха с ярко накрашенными губами.

¹ Отрывок из стихотворения Аттилы Йожефа в переводе Леонида Мартынова.



— Вы великая артистка! — сказал ей Валентин. — И я хочу спеть вместе с вами! Цыганское что-нибудь! О тоске по невозможному!

— Я устала, — ответила певица. — А вам пора спать, молодой человек.

— Кто пьян?! — воскликнул Валентин. — Я пьян?

Но певица ушла, ничего не ответив.

— Рассчитайтесь, пожалуйста, — сказала официантка.

Макс отдал деньги и сказал:

— Без сдачи.

— Нет, плачу я! — воскликнул Валентин. — Я плачу!

Но официантка оттолкнула его руку и, понимающе улыбувшись Макс, ушла.

— Зря ты так, Рыжик, — сказал Макс. — Пошли спать!

На следующее утро Валентин проснулся с сильной головной болью. И поймал себя на том, что боится посмотреть в сторону Макса. Пересиливая в себе какое-то сосущее, почти физически ощущаемое чувство вины, он повернулся к койке Макса

и облегченно вздохнул — того в комнате не было. Постель Макса была аккуратно заправлена, но на месте стоял его чемодан.

А на своей тумбочке Валентин обнаружил толстый свитер из серой шерсти и записку на нем: «Надень, сегодня прохладно».

Валентин вспомнил подробности вчерашнего вечера в ресторане...

Стало нестерпимо стыдно при мысли о том, что придется опять встретиться.

Выпив залпом стакан холодной воды, он стал ходить по комнате, разговаривая с самим собой: «Стыдно и гадко! Стыдно и гадко!..»

Пересчитал деньги. Их оставалось немного.

Оделся, оставив свитер Макса нетронутым, и вышел на улицу.

В лицо ему ударило свежестью весеннего влажного воздуха и запахом тающего снега; вопреки записке Макса, на улице было тепло и солнечно.

На автобусной остановке он спросил людей:

— Скажите, пожалуйста, как доехать до ближайшей шахты?

Мужчина с серьезным и строгим лицом долго рассматривал документы Валентина. Раза два он ответил на телефонные звонки, объясняя какой-то Анне Ивановне, что штaketники должны быть непременно палевые, что он не потерпит синих. Наконец он поднял взгляд на Валентина и хмуро произнес:

— Ну и летаешь, парень!

Валентин не нашелся что ответить, и от тяжелого, угрюмого взгляда этого человека ему стало зябко.

— Плохой из тебя работник! — сказал начальник отдела кадров, листая его трудовую книжку. — Год грузчиком, семь месяцев матросом, полтора такелажником и всего полгода кочегаром. Семь мест за пять лет! Куда это годится? Позор! А с последнего места вообще за прогулы уволен!

— Не за прогулы, — возразил Валентин. — Конфликт у меня получился с администрацией...

— Не приму, — сказал начальник, закрывая его трудовую книжку.

— Но ведь вам нужны проходчики! — сказал Валентин. — Я у самого начальника шахты узнавал, это он и послал меня к вам.

— Но ведь ненадежно тебя брать. Поработаешь месяц и дальше полетишь.

— Не полечу.

— И обещаешь добросовестно работать?

— Обещаю.

— Ну что ж, тогда приму. Только с испытательным сроком. На месяц. А там видно будет.

Валентин поблагодарил начальника отдела кадров и получил направление на медкомиссию.

— Проходчиком, значит?.. Разденьтесь до пояса. Та-ак... Раньше в шахте работали?.. У вас очень слабое давление. И вены плохие. Боюсь, что вам нельзя будет работать в шахте. Для вашей же пользы.

— Доктор, — сказал Валентин, прижав пальцем вдруг начавшее дергаться левое веко. — У меня через два дня кончатся деньги, а знакомые за тысячу километров.

— Тогда вот что, — сказал, почему-то смутившись, молодой терапевт. — Идите с этим направлением на анализ крови, а результат принесите сюда. Это вас не задержит.

Через четверть часа Валентин опять постучался к терапевту. Вошел и вздрогнул. И начал краснеть. На его лбу выступили капельки пота.

— Ах, это вы, — сказал терапевт. — Давайте посмотрим, что тут у вас... Давайте же, что вы застыли?

Валентин, весь красный, с вымученной улыбкой смотрел на спину Макса, сидевшего напротив терапевта. Макс, почувствовав его взгляд, обернулся.

— Валентин? Как ты тут очутился?

— Вы знакомы? — удивился терапевт.

— Еще как! — сказал Макс и, вскочив, представил их друг другу: — Это Валентин, друг детства, а это Геннадий, мы с ним вместе учились, и у него квартира тех же размеров, что у твоей тети, Валентин...

— Нет у меня в этом городе никакой тети, — сказал Валентин уже спокойно. — Прости, Макс.

— Вот как? А ты здесь после вчерашнего?

— Я на работу поступаю. Проходчиком.

— Проходчиком? — изумился Макс.

— О нет, — сказал терапевт, — проходчиком вам нельзя. Валентин. Никак нельзя. Но есть выход — устроиться на поверхности грузчиком. Подходит?

— Да.

— Сейчас я дам записку для начальника отдела кадров, и он вам все устроит.

— Значит, все иначе? — спросил Макс.

— Все, кроме детколони, — сказал Валентин и, взяв записку, направился к двери.

— Подожди! — крикнул ему Макс. — Я тут договору и пойдем вместе.

— Вечером увидимся, — сказал Валентин и вышел.

Начальник отдела кадров дал Валентину направления и на работу, и в общежитие, но срок документов начинался только через два дня, до этого предстояло прожить в гостинице, возвращаться туда ему сильно мешал еще не затихший стыд перед Максом, и он решил провести день на улицах города.

Пошел по незнакомой улице, что-то тихо и мечтательно на- свистывая и шурясь от лучей яркого мартовского солнца.

— Друг, дай закурить!

Просил закурить парнишка, почти подросток. Из предложенной Валентином пачки он выхватил сразу три сигареты и сказал: «Для друзей». Но в глазах его не было ни капельки наглости, только невозмутимая чистота, и Валентин почувствовал острую зависть к чужому детству, смешанную с жалостью.

Город оказался даже меньше, чем он ожидал. Улица, которая вчера вечером заморозила его своим неоновым убранством, была главной и выглядела днем много проще. Остальные улицы напоминали поселок. И несколько раз, направляясь по ним, он натыкался на окраину, откуда начиналась степь.

Хождение без дела и цели начало угнетать, но возвращаться в гостиницу все еще не хотелось.

И он пошел бродить дальше, заговаривая временами с самим собой.

— Ну и что, ну и что, очень даже хорошо...

— Ничего, все пройдет, обязательно пройдет...

— Не первый день и не последний...

— Их ты, какая собака! Хор-р-рошая собака! Чего урчишь? Дурень... Если бы ты знала! Если бы вы узнали! И что узнали?

— Весна, брат, весна... Давай скули, размазывай влагу благородную...

Его часто спасали от тоски книжные магазины. Забежал в книжный и на этот раз.

Затем потолкался в радиомагазине. Кому какое дело, будет он покупать что-нибудь или нет... Приемники, транзисторы, телевизоры, кошка на подоконнике, дверь...

Убить время можно даже в мебельном магазине, можно и в хозяйственном. И Валентин, как бы прицениваясь, стал разглядывать и вертеть в руках стеклянную сковородку.

Когда начало темнеть, ему стало казаться, что прохожие слишком пристально в него вглядываются. От этого слезились глаза и путались ноги.

Пошел в кино. Индийский фильм. У кассы стояла длинная очередь. Не было надежды попасть на этот сеанс. На просьбу купить билет мужчина выругался. Тогда Валентин протянул деньги женщине не первой молодости, с тоскливо выпученными глазами.

— Девушка, возьмите, пожалуйста, один билет.

Женщина огляделась.

— Всего один билетик, — повторил Валентин.

— Ну... если только один...

«Боже, как красит человека улыбка», — подумал Валентин и улыбнулся ответно.

Конечно, места были рядом.

В картине рассказывалось о бедном, но благородном мусорщике. Мусорщик ходил по улицам Бомбея и громко обличал мир наживы и эксплуататоров-торговцев, а подлые торговцы его за это преследовали.

Мусорщик любил благородную нищую, красота которой славилась в округе и которой один банкир стал предлагать вместе с миллионом руку и сердце...

А еще мелькали улицы, и промелькнули десятки случайных, но интересных лиц. Одно лицо, возможно статиста, задержалось где-то в углу экрана дольше остальных и напомнило Макса. В глазах его почему-то был страх. Чем он был напуган? Нищетой? Врагами? Презрением?..

А вот опять запел мусорщик, гневно и с пафосом. А то лицо исчезло...

Макс...

«Пожалуй, я сильно ошибаюсь в чем-то и не знаю, кто из нас прав... Только знаю, что не должен стыдиться себя. Но стыжусь... Неужели так уж нужно убегать от более и привязанностей памяти?..»

Соседка его то всхлипывала громко, то торжествующе смеялась, и, когда Валентин взял ее руку, чтобы успокоить, пальцы судорожно вцепились в его руку.

В конце фильма благородная нищая отказалась от миллионов банкира и пошла за бедным, но благородным мусорщиком.

Когда в зале вспыхнул свет, Валентин увидел, что многие стыдливо опускают веки.

На улице он закурил, а она остановилась в нерешительности, беспричинно щелкая замком сумочки.

— Можно вас проводить? — спросил Валентин.

— Если настаиваете, — сказала она, робко улыбнувшись.

И они пошли по ночной, плохо освещенной, застроенной одноэтажными домами улочке.

— Вам понравилась кинокартина? — спросила она.

— Не очень.

— А мне вот очень. Индийцы ставят так переживательно. Все за жизнь и справедливость. Неужели вас не трогают страдания?

— Они там больше пели, чем страдали, — сказал Валентин.

— Вы черствый, — сказала она. — В самых грустных местах смеялись. Потому что горя мало видели.

— Не будем ссориться. Меня звать Валентин.

Ее звали Ниной.

Осторожно ступая в темноте, они прошли в глубь двора и остановились у маленького, почти игрушечного флигеля. Но внутри все выглядело намного просторнее и было уютно. Приятны были даже белые обои с огромными красными розами.

Без шубы и шапки она, худощавая, стала выглядеть моложе, а рябоватое лицо с широким носом — симпатичнее. А глаза у нее были такого же, как у Валентина, цвета — золотисто-зеленые, и редкого, бронзового цвета были волосы.

— В вас есть что-то греческое, — сказал Валентин, желая польстить ей.

— Моя фамилия Маргопулос, — сказала она. — Вы любите пельмени?

— Очень, — сказал Валентин.

— А вы не очень торопитесь?

— Некуда торопиться. А это чьи книги?

— Хотя бы мои.

— Хорошие книги, — сказал он, разглядывая корешки книг на этажерке: Чехов, Толстой, Гоголь, Тацит, Катулл, Евтушенко, Фолкнер, Гегель...

— А как вы узнали, что это не мои книги? — спросила она.

— Мне показалось, что вы Гегеля не читаете.

— Это брата книга, — сказала она. — Сейчас он в плавании. Непутевый такой, но добрый и честный. А честных сейчас так мало.

— Их во все времена было мало, — сказал Валентин. — К тому же порой очень трудно сохранять честность, бывают пределы честности.

— А после предела врать?

— Выдумывать, — ответил он с улыбкой.

— Зачем же?

— Чтобы не терять близких. Их ведь так мало.

— Потому и мало, — сказала она, — что честность с пределом. Вы и мне соврали.

— Когда?

— Когда называли меня девушкой.

— Не соврал.

— Ну уж, какая же я девушка...

— Но ведь и я не мальчик.

— Ну уж, — сказала она, — вы-то хоть куда.

— А вы просто очаровательны, — сказал Валентин.

К гостинице он направился только утром.

Вчерашний стыд перед Максом стал затихать.

Был пьян, наговорил, ну и что такого?.. Ведь нужно же было как-то излиться... И не такой уж Макс толстокожий, чтобы не понять и отказать в снисхождении...

Да и не произошло ничего такого, чтобы впасть в столь катастрофический стыд, и не могло произойти, потому что все, что могло, произошло давно и плохо помнится, — и хорошо, может, что плохо...

«Кто знает, кто знает... Может, действительно, и мне погнаться за другими с криком: «Я тоже! Я тоже!», и вытравлять себя самого из себя, чтобы в сто лет один раз похвалили, — может, это действительно большая награда за все?..»

И не мог Макс не видеть, что я рад этой встрече больше, чем он, и что он мне дорог больше, чем я ему, так почему же мечусь?..

Ведь дело не только в оправдании, и даже совсем не в оправдании, а в том, чтобы остаться друзьями. Ведь, что бы там ни было, нам предстоит еще прожить несколько десятков лет, если, конечно, не попадем под трамвай или что-нибудь другое, к тому же ведь и трамваи и многое другое совершенствуется, становится удобнее для человека, должно становиться! И мы, наверно, изменимся в чем-то, в силе там или слабости сердца...»

Валентину вдруг сильно захотелось увидеть Макса, так сильно, что он испугался не застать его, и побежал, громыхая подковой на разваливающемся ботинке. Все быстрее и быстрее.

В коридоре гостиницы его, запыхавшегося, остановила горничная.

— Это вы из тридцать девятого не пришли ночевать?

— Я, — сказал Валентин, почувствовав, как защемило сердце в предчувствии плохого.

— Ваш друг ждал вас, ждал, так и уехал. Телеграмма ему была...

Как оглушенный застыл Валентин в коридоре.

Затем побрел в номер, показавшийся вдруг пустым, огромным и брошенным.

В номере, на его чемодане, лежал свитер, аккуратно уложенный. Тот самый, из серой шерсти, оставленный ему Максом вчера утром.

А на свитере белела записка: «Прощай, Рыжик!»

Валентин застонал и закачал головой. Потом заплакал.

Потом схватил свитер и со злостью швырнул его на пол.

Две бумажки выпали из свитера.

Двадцать пять рублей и маленькая, пожелтевшая от времени фотокарточка.

Юный Макс — четырнадцатилетний, смуглый, курчавый и пухлогубый — смотрел оттуда тревожно и с вызовом.

БОРИС КРАСНОВ

* * *

Лес вечерний оглашая
Песней звонкой,
Я шагаю,
Мну ногой колючий вереск.
Я в свою удачу верю,
Верю в ясную погоду,
Верю в хлеб и верю в воду,
Верю в клевер придорожный,
В шепот ветра осторожный.
Как ни странно, верю в счастье...
Над собою сам не властен,
Я шагаю и шагаю.
Свет костра в низине тает,
Превращаясь в дым лиловый.
За подковой!
За подковой!
За счастливою приметой
Я шагаю вслед за летом,
Вслед за солнцем,
Вслед за птицей...
С жизнью рад я породниться.

НАТАЛЬЯ ИВАСЕНКО

ЧАЙКИ НА ОГОРОДЕ

Рассказ

1

Его решению снять в деревне домик она обрадовалась больше, чем он сам. Да-да, только деревня, только иная обстановка спасет его. Конечно, там он будет писать этюды, в этом она даже не сомневается.

Он как будто подслушал ее мысли:

— Ты знаешь, в чем ошибка моих акварелей? В камерности, понимаешь? Ты, дети, комната... Узко.

Она соглашалась с радостью:

— Правильно!

И соглашаться теперь было легко, потому что впереди была надежда: вот будет жить в деревне, и камерность сама по себе исчезнет.

Отныне все их мысли были заняты только одним — ожиданием лета.

В деревню они смогли выехать в конце мая. Весна выдалась сухая. И потому дороги были хорошие. Деревню они нашли легко: всего пять часов езды на автобусе, потом километр пешком чуть в сторону от озера — все так, как объяснила ей приятельница на работе. Избушку показывала старуха. Сама она переехала к дочери, тоже уже старухе, которая жила тут же в деревне неподалеку. Дом показывала молча, сказала только одно:

— Крыша новая, недавно крытая. — И, помолчав, еще добавила: — В саду пять яблонь.

Да если бы даже крыша была старая и если бы не было в саду пяти яблонь, они все равно сняли бы эту избушку. И пусть низкий потолок, и маленькие окошки смотрят в землю — неба из окошек не видно, и пусть в центре избы печь с лежанкой, конечно лежанка им не нужна, но это все неважно, — главное, чтобы он лето провел в деревне.

Последний автобус в город уходил в восемь вечера, и все оставшееся время они бродили по округе.

Все было интересно: и маленькие деревеньки, разбросанные по берегу озера, как на сказочном блюде рисованные города, и просторы полей с вольным воздухом... Вот так бы шагать, шагать крупными шагами по дороге, и чтобы ветер все время бил в лицо, и чтобы трудно было смотреть — и хорошо, что трудно, — значит, нужно прищурить глаза, чтобы пейзаж растворился и чтобы можно было видеть только ослепительную полосу громадного озера — ослепительную от солнца и белых сверкающих гребешков.

Они пришли на берег, пустынный, песчаный берег. Несколько сосен, а так все дюны, дюны... и черные большие одинокие лодки, еще не спущенные на воду. В воде стояла лошадь. И все вместе — солнце, переливающиеся волны, ветер и лошадь в воде — все вместе заставило их вспомнить картину Валентина Серова «Купание лошади». Вот так же и здесь — солнечно и от ветра холодно.

Потом они шли по берегу. Можно было долго идти по берегу, — он везде одинаковый, но его однообразие не утомляло. Наоборот, успокаивало их.

— Вот и чудесно! И давно надо было так сделать!

Лето для них начиналось прекрасно.

Но первые две недели он ничего не писал — никак не мог сосредоточиться. Дни летели быстро, надо было все успеть: вставить стекла, провести электричество (в доме была только одна лампочка), оклеить стены. Он как будто сознательно загружал себя физически — только чтобы не заниматься живописью. Ему хотелось как можно дольше сохранить в себе это светлое состояние предчувствия творчества, когда впереди надежда: вот начну работать, и все будет хорошо. А сейчас не надо, пока не надо, потому что вдруг начну и опять не то — тогда все насмарку. И потому он находил все новую и новую работу по дому и в саду. И делал ее с удовольствием. И хотя его ровное настроение радовало ее, другое пугало: дни идут, он ничего не пишет. Она не вытерпела, упрекнула его. И тут же поняла — сделала ошибку. Это было под вечер. Он раздраженно ответил, ссылаясь на усталость:

— Когда же мне писать? Ты же видишь, сколько я делаю?

-- Но мы не из-за этого сюда приехали, верно?

Промолчал. И через несколько дней начал писать. Ему, видимо, самому стало страшно — время идет!

Первый этюд — он написал цветущие луга с дорогой и деревенькой вдаль, — первый этюд получился удачным, и это определило настроение. Захотелось работать дальше, работать целыми днями, и теперь уже интерес к хозяйству пропал начисто.

И он писал с утра до вечера. У него даже появилась жадность к мотивам. С одной точки, не сходя с места, он мог написать три, четыре, а то и пять акварелей или этюдов маслом. И опять он увешивал стены избушки этюдами: дома, сарай, изгороди, сады, яблони, поля с молодым нежно-зеленым льном, цветущие луга, дороги, далекие леса, и надо всем этим небо, всегда разное: то голубое, то серое, с облаками и без облаков, с тучами и просветами.

— Ты, наверное, устал. . . Столько работаешь. . .

— Что ты! Когда хорошо работается, усталости не чувствуешь.

— Сегодня дождь. . . Кажется, первый раз за все эти дни.

— Значит, буду работать дома. Можно писать цветы.

— Одни только сороки летают. . .

— Почему-то они любят летать в дождливую погоду.

— Сороки хитрые. Видят, что все сидят по домам, вот и подлетают, не боясь, прямо к избам. . . Смотри, смотри! Ходят совсем рядом с курами. . . А петух насторожился. . .

— Поработаю сегодня дома, — еще раз повторил он. Но так за весь день и не собрался. Стал читать книгу. Потом долго смотрел в окно. Потом опять читал. Потом внимательно и вместе с тем задумчиво рассматривал свои этюды. И рано лег спать.

На следующий день было солнечно. Но и в этот день он опять не работал.

«Устал. Конечно, устал, — думала она. — Только не хочет признаться. Ему надо отдохнуть. Еще бы — столько работать! Тут любой не выдержит».

Еще через день он сказал ей:

— Знаешь, что меня не устраивает во всех этих работах?

«Опять начинается, — подумала она. — Неужели опять недовольство? Опять хандра? Бездеятельность? Какое это проклятие! Эта его неуравновешенность, постоянная неудовлетворенность, — если бы кто знал, какая это мука!»

— Меня не устраивает моя пассивность, — он поискал слово, — созерцательность, что ли? Помнишь, я говорил тебе про свои акварели — они камерные? Нет, не в камерности и тогда

было дело. Ошибка моя и тогдашняя и теперешняя только в одном — в пассивном, созерцательном подходе к любому мотиву. Ну изба, ну пол, ну сарай, ну озеро... а дальше-то что? Точно так же и в прошлый раз: ты гладишь, ты готовишь, ты стираешь, Надя спит, Таня играет, а дальше-то что? Понимаешь, ничего, кроме пустой фиксации материала. И вот это сегодня меня убивает. Такие же сараи, избы, огороды может сделать любой другой художник. Значит, в чем выход? Подойти к натуре по-своему. По-своему что-то подчеркнуть, хоть как-то изменить натуру, что ли? — Он и сам не знал, где и в чем выход. — Ты знаешь, я попробую работать иначе.

— Вот это хорошо. Вот такой подход к работе правильный, — сразу же приободрилась она. — А то ты обычно так: нет, не нравится, плохо! — и перестаешь работать. А надо искать. Ведь не может же быть, чтобы выхода не было. И ты прав. Недаром всегда в статьях пишут и подчеркивают: активное отношение художника к натуре. А у тебя еще этого нет.

— Почему же ты молчала раньше?

— Мне и в голову не приходило. Мне нравилось все, что ты делаешь.

— Нравилось, — задумчиво повторил он. — А наверное, нельзя, чтобы нравилось... Попробую работать иначе...

И опять этюды. Но теперь иные. И как же они отличались от прежних! Нарочито подчеркнутый контур, ломаность линий и углов, яркие, откровенные цветовые сочетания! Сперва ей было даже не по себе от этих этюдов, и не потому, что это было чем-то новым, оригинальным, нет, уже давно подобное она встречала в работах других художников. Просто новая его манера так не вязалась со старой, будто работали два совершенно разных человека.

Он не спрашивал: «Тебе нравится?» Он вообще никогда об этом не спрашивал, но если бы спросил, она бы растерялась: «Не знаю». Но он не спрашивал и, возбужденный своими поисками, по-новому для себя открывал мир, находя в природе неожиданные сравнения:

— Смотри! Конский щавель — ведь это пылающая готика!

Или:

— Смотри! Головки спелого мака — это же пагоды Китая!..

Она слушала его растерянно, испытывая в душе беспокойство. И то, чего она боялась, произошло. Через несколько дней он уничтожил свои новые этюды.

— Это уже совсем не то! Деформация ради деформации!
И кому это насилие над природой нужно!

— Я не хотела говорить тебе, но мне все это не нравилось.
Но я молчала, думала — не буду мешать, пусть ищет.

— Нет, все не то, все не то!

— И все-таки надо работать!

— А, брось ты! В тысячный раз избы! В стотысячный — поля, стога, картошка, яблоки!.. А дальше что? Меня-то нет! Меня все еще пока нет!.. «Работать, работать!» — передразнил он ее и посмотрел на нее так, будто она во всем виновата. — Ничего ты не понимаешь!

И от обиды за себя и от бессилия помочь ему она внезапно почувствовала громадную усталость.

2

В начале июля к ним приехала ее двоюродная сестра.

— О, господи, еле нашла вас! Такая глушь! Но зато хорошо, хорошо здесь...

Сестра приехала на неделю. Было жарко, и всю неделю купались. Купались обычно к вечеру, когда жара спадала и вода была особенно теплой. Николай уходил вперед, а они, сестры, шли чуть поодаль, разговаривая о своем.

Ее сестра, полная, высокая, румяная, вбегала в воду и начинала плескаться, бить руками плоские волны и по-детски вскрикивать: «У-у! У-у! У-у!» Ходила она по деревне в белых прозрачных блузках, всегда ей было жарко. И Нина любовалась ею: подтянутая, веселая, а ведь старше ее на пять лет. Рядом с ней видела себя, тоже высокую, но худенькую, в дешевых выгоревших платьях, коротко стриженную, не до причесок ей, не до нарядов — не это главное. Так и сестре объяснила, когда та посоветовала ей следить за собой.

Сестра подула на рыжую челку и рассмеялась:

— Ох и модно же сейчас это: «не это главное» или «главное не это». Слышишь на каждом шагу. Особенно у творческих натур. Чуть что — «главное не это». Знаю я эту отговорку... — И добавила со вздохом: — Даже обидно за тебя: эта глушь, покосившаяся изба — зачем тебе все это?

— Ему это нужно.

— А ему зачем?

— Ну как же? Новые впечатления...

— Вот он ищет, ищет, как ты говоришь. Я верю, пусть ищет себя. Возможно, и найдет. Я не говорю, что он бездарность. Ну, а ты-то, ты сама? Ты о себе лучше думай — жизнь-то проходит. . . Ты не обижаешься?

— Нет, просто грустно.

— Надо жить! Понимаешь, жить!

— Ты другая. И к творчеству ты относишься иначе. Тебе все легко.

— Легко! Надо уметь довольствоваться малым. В малом уметь видеть источник радости. Вот я снимаюсь в эпизоде и довольна. Потому что не только этим живу. Помимо этого в жизни много прекрасного. . . Нет-нет, тебе надо перестраиваться. — И обняла, поддразнивая: — «Хвостиком» была, «хвостиком» и осталась. Давно, еще в детстве, назвала она Нину «хвостиком» только за то, что та ни на минуту не отходила от нее. А ей, старшей, так хотелось играть только со взрослыми ребятами и так хотелось, чтобы старшие приняли ее за свою и не видели, что она все еще возится с малышами.

Возвращались с озера полями. К вечеру плотная сизая гуча заволокла небо со стороны озера. Далеко погромыхивало. Потом и к деревне приблизилась гроза, и были видны белые тонкие молнии. Совсем рядом прокричал чибис.

— Он как будто спрашивает: «Чи-бис? Чи-бис?» Правда? — спросила сестра.

— Не люблю я чибисов. Они наводят на меня тоску. В их крике чувствуется одиночество. Здесь какие-то странные птицы. Чайки, ты заметила? Их редко увидишь на берегу или на воде. Они все время на полях или огородах. Чайки на огородах, верно, странно? Когда сажали картошку, они ходили за плугом целыми белыми стаями. Вместо грачей. Представляешь? Черная земля и белые стаи чаек. . . И скворцы необыкновенные — летают из сада в сад, с дерева на дерево громадными стаями, так что даже далеко слышно, когда они летят. Все лето летают стаями. . . И вообще здесь много удивительного. Однажды я даже испугалась. Утром вышла из дома — звон стоит страшный, как будто миллионы комаров, а комаров не видно. Посмотрела на дом, а он весь голубой и шевелится. Да-да, было такое впечатление, что он весь вибрирует. Это потому, что тысячи звонцов облепили его. Я потом узнала, что это были звонцы. Они безвредные, с пушистыми усиками. . . И все-таки было страшно. . .

Сестра посмотрела на нее внимательно и еще раз сказала: — Надо жить свободно, для себя. А то оглянешься — и жизнь прошла. И ты как женщина ему уже не будешь интересна.

Через неделю сестра уехала. И Нина почти с радостью подумала о том, что через несколько дней она тоже уедет в город — у нее кончался отпуск. Ей вдруг действительно захотелось в город, на работу, к друзьям, к какой-то иной жизни. Она столько надежд возлагала на эту избушку, но надежды оказались напрасными. Он опять не работает. И будет ли? Неожиданно она увидела свою сегодняшнюю жизнь, день за днем, похожую на штaketник серого забора, и вспомнила слова сестры: «Надо жить свободно, для себя...» А у нее? Все время зависимость от него, от его настроений, от его поисков. «А то оглянешься — и жизнь прошла...» Может быть, права сестра? Она и раньше так говорила. Но раньше ее слова так не звучали. Теперь Нина повторяла их про себя и находила в них новый смысл. Теперь они как будто подходили ей. Странное состояние оцепенения. Отчего? Или опять из-за него? Потому что он не работает? Опять он, он, только он... Все зависит от того — работает или нет? успешно или нет?.. «Господи, как мне все это надоело! — подумала она. — Хорошо, что скоро в город».

3

Она шла к дому подруги пешком, и все это время думала о своей жизни. Если бы только можно было все правильно понять и по-хозяйски разложить по полочкам. Ей хотелось вспомнить всю свою жизнь с ним — с самого первого дня встречи, — но воспоминания рассыпались. А ей хотелось вспомнить все сразу, будто это могло чем-то помочь ей. Наконец на какое-то время ей удалось представить всю свою прошлую жизнь в целом, от этого у нее было такое ощущение, будто перед глазами возник многоэтажный каменный дом, во всех окнах которого одновременно зажегся свет. Но освещенные окна манили, дразнили и не давали никакого ответа.

Она знала, подруге можно доверить все, точно так же доверяла ей подруга. Нина знала о тех отношениях, какие сложились у подруги и ее любимого человека. Он был женат, и

что-то мешало ему разойтись, и вместе с тем они постоянно встречались — он первый искал этих встреч. И все-таки все кончилось печально. Валентина не выдержала, надо было покончить с этими унижительными, построенными на лжи встречами. Но перед разрывом она решила твердо — будет иметь от него ребенка. Родился мальчик.

Ее подруга жила с матерью в двух комнатах. В таких же комнатах жила она когда-то до замужества, а потом и с мужем, вот так же: большая комната — родителей, маленькая — ее. Только здесь наоборот: в большой — Валентина с сыном, в маленькой — ее мать.

Валентина встретила ее с младенцем на руках. Теперь это был чудесный восьмимесячный мальчик, которого в другое время Нина назвала бы «рубенсовским» младенцем за его пухлую розовую нежность. Теперь же, глядя на ребенка, она остро почувствовала только одно — тоску по своим детям. И когда подруга спросила: «А как твои девчонки?» — стала о них рассказывать с готовностью:

— Ты знаешь, Наденька начала сочинять стихи. Вот послушай!

Листик на березе растет тихо,
И рядом с березой лучик, лучик, лучик...

Хорошо, правда? А ведь ей всего три года. Она вообще у нас удивительная. Как-то спросила меня: «Мама, и где это мы с тобой познакомились?»

— А Таня?

— Таня очень честолюбива. Просит отца: «Папа, нарисуй меня. Я хочу, чтобы мой портрет висел в музее». Ничего себе желание?

Она хотела еще сказать: «Вот твоему-то повезло». Вернее, сказать, умиляясь перед мальчиком: «Вот кому повезло! Вот кому! Мальчишки младенцы так щедро воспеты в живописи, не то что девчонки». Но только сказала:

— Соскучилась я... Скорее бы мать привозила их.

Ей так хотелось посоветоваться. Она все пыталась начать разговор и никак не могла этого сделать — то отвлекал младенец, то бесконечно входила в комнату мать Валентины, — все что-то мешало ей. И, просидев два часа, поняв, что разговора не получится, она решила уходить.

«Права сестра, надо иначе, иначе жить...»

И это решение подбадривало и делало все легким и доступным: И она радовалась, что это решение пришло к ней вовремя, теперь, именно теперь, пока ей только двадцать восемь лет. Она не задумывалась — почему? Почему вдруг такая резкая перемена? И эта перемена не пугала ее, наоборот, она испытывала какую-то веселящую легкость от этой перемены.

Она слушала Георгия, чуть откинув голову, улыбаясь, заправляя за уши короткие волосы. Она верила его словам, что она милая, такая необычная, просто прелестная молодая женщина. И как это раньше им не пришлось встретиться? Слушала и верила, и не думала, что, может быть, такие же слова он говорил кому-нибудь до нее. Он смотрел на нее откровенно влюбленными глазами с первого же дня знакомства. Они встретились у сестры. У сестры всегда было много знакомых и знакомые всегда были новые.

В этот вечер тоже было шумно. О чем-то спорили. Нина молчала. Она давно запретила себе спорить, потому что не умела спорить — слишком волновалась и быстро краснела.

Она прислушивалась к спорящим и думала: «Вот ведь как все интересно! А что бы я там, возле него? Пишет или не пишет — в конце концов все семь лет только ради него, только с ним».

Георгий тоже не спорил. Он стоял рядом с ней и все восхищался ее загаром. Где это она так загорела — на юге или где-нибудь в другом месте? Продолжая улыбаться и поглядывая на Георгия ясными светлыми глазами, она рассказала коротко и о деревне, и о домишке, и о муже. В ее рассказе все выглядело привлекательной картинкой. Сказать правду ей почему-то было стыдно.

— Значит, вы сейчас одна? И, конечно, скучаете?

— Я еще не успела соскучиться, — ответила она и, поняв, что ответила не так, как надо, покраснела. Надо было сказать иначе: «Да, скучаю». А так у нее получилось: «Я еще не успела соскучиться по мужу», — значит, получалось: «Как он мне надоел!» А, да все равно! Георгий и не заметил, кажется.

— А я и не позволю вам скучать. Это было бы просто чудовищно!

В тот же вечер он проводил ее до дома, торопливо вырвал из записной книжки лист и записал телефон — завтра она бу-

дет звонить ему. Он оправдывался: конечно, это нехорошо, должен бы он первый звонить, но что поделаешь, если она не дает номер своего телефона.

— Честное слово, дома у меня нет! А на работе есть, но сейчас ремонт и звонить бессмысленно.

— Верю, верю! Разве я говорю что-нибудь! Значит, договорились?

На следующий день они встретились.

Он столько рассказывает и о себе, и о своих друзьях, и о своей работе. Надо же, он тоже художник, но художник кукол. Если ей интересно, она может прийти к нему или на работу, или домой, он покажет ей макеты спектаклей, покажет кукол. Если только ей это интересно — пожалуйста!

Они зашли к нему на работу. Зрительный зал был пуст. Лето. Театр закрыт. И вспомнила, как этой зимой водила девочек на спектакль «Аладдин и волшебная лампа». И вспомнила сам спектакль, и детей, и своих девочек тоже, как все они шумно следили за сценой: ерзали, вертелись, шептались, что-то ели, некстати хлопали в ладоши — и все это не отрывая глаз от сцены. Вспомнила, как зашумели, закричали ребята хором, когда увидели, как царевна в отсутствие Аладдина хотела поменять его старую волшебную лампу на новую, но обыкновенную. Вспомнила, как дети не выдержали и закричали хором:

— Не меняй лампу, Будур!

— Будур, не отдавай лампу!

Дети так кричали, что на какие-то минуты спектакль приостановился. И когда они успокоились, царевна все равно сделала по-своему: она поменяла старую волшебную лампу на новую, но обыкновенную.

Нина вспомнила этот эпизод, и ей стало грустно.

Потом она смотрела макеты его спектаклей, полные сказочной жизни. Она манила загадочностью и обещанием чего-то праздничного, светлого. . .

Потом она рассматривала его куклы. Они показались ей смешными, нелепыми и даже жалкими. «Странно, на сцене они совсем другие».

Его квартира оказалась рядом. Заваленная книгами, завешанная иконами, резными распятиями, крестами, его комната поразила ее, хотя она и понимала, что все это дань моде, и только. И все-таки обилие редкостей удивило ее:

— Да это же настоящий музей!

Ему нравилось, что комната поразила ее. Именно такого эффекта он ждал.

— Как интересно!

Он так рад, что ей интересно.

Одну за другой он снимал иконы со стены — они высоко висели, поэтому трудно было их рассматривать, — и давал ей в руки.

— Смотри! Семнадцатый век! И это семнадцатый, а это — восемнадцатый. . . Да что там! Это ерунда. — Он тут же отложил их в сторону и, сняв с полки книгу, протянул ей: — Библия! Шестнадцатый век! Представляешь!

Она медленно перелистала несколько страниц — слова ей были непонятны.

— Никогда не читала. . . Ты читал?

— Нет, как-то не пришлось. Некогда все. Совсем нет времени. . .

Значит, он так много работает? И работает спокойно, испытывая только радость, или мучается? Спросить бы. Посмотреть бы его работы. Но он все заваливал и заваливал ее редкими старинными книгами и рукописями.

— Покажи еще свои работы.

— У меня здесь ничего нет. Я же показывал их тебе в театре. Я оформил только два спектакля. Помнишь, я показывал тебе макеты?

Да, это она помнила. А дома, значит, ничего нет.

— Как я счастлив, что ты пришла ко мне. — Он взял ее руку и легко обнял. — Мне до последней минуты не верилось, что ты согласишься прийти ко мне. . .

«Ну и пусть, пусть говорит, — подумала она наперекор своим внутренним тревогам и не отстранилась. — Надо иначе, иначе жить, ведь решила же. А как? Как иначе? «Видеть в другом радость». В чем? В таких случайных встречах?»

— Какое чудо, что я встретил тебя. . .

«Зачем? Что мне такие встречи? Любовь? Нет никакой любви. Так зачем пришла к нему?» — лихорадочно пронеслось в голове. Ее начинало раздражать собственное бессилие, невозможность разобраться в своем состоянии.

— Именно о такой женщине я всегда мечтал. И вот наконец встретил тебя. . .

Он легко выговаривал привычные слова. Она так отвыкла от таких слов. Глухим эхом они отзывались в ее памяти. Воз-

можно, она просто устала, очень устала от той жизни, которая для нее пока все еще была мучительной, от которой ей порой хотелось убежать и от которой — теперь-то она уже понимала — никуда и никогда не сможет убежать.

Он говорил ей все новые и новые нежные слова и целовал ее. А ей вдруг стало все ясно. Нет, надо жить так же, как жила. Иначе она не может. Не умеет.

Он целовал ее торопливо, будто боясь, что сейчас, вот сейчас она встанет и уйдет.

— Что ты? Уходишь? Ну зачем же? — Он растерялся. — Ведь все было так хорошо!

Она еще раз окинула взглядом комнату и вышла.

5

К мужу она приехала вечером. Он был в саду.

— Я так и думал, что ты сегодня приедешь, вот честное слово! Еще вчера подумал: вот завтра она обязательно придет. Я так скучал без тебя...

— Ну, как ты?

— Все хорошо было... Если бы ты знала, как первое время я боялся тишины. Ведь к тишине тоже надо быть подготовленным... Что ты так смотришь?

— Ничего. Тоже соскучилась.

— Ты знаешь, я за это время кое-что понял. Ты скажешь: каждый раз что-то понимает, но от этого не умнеет.

— Ничего я не скажу. Ты говори, говори, а я буду слушать. Он засмеялся и поцеловал ее:

— Ты какая-то другая стала...

— Какая? — спросила она серьезно, почти строго.

Он не почувствовал в ее вопросе напряжения и ответил шутя:

— Городская, красивая.

— Глупости. Тебе кажется. Какой теплый вечер.

— А утром был ветер, но потом исчез, и теперь тепло. Хочешь? — Он сорвал с ветки крупное розовое яблоко. — Ешь.

Они вошли в избу.

Стены были пустые.

Из статьи Н. Дмитриевой «Между сходством и несходством»:

«...Вот пятно красной акварели, изображающее чашечку пиона. Должен ли зритель видеть только пион? Или только пятно акварели? Художник своим рисунком как бы отвечает: он должен видеть и то и другое в новом качестве, видеть пион и вместе с тем не забывать, что это красная акварель. Он должен видеть пион, но не тот, что растет в саду, а особый, акварельный пион, который нельзя сорвать и который никогда не завянет...»

На следующее утро он снова писал этуод.

АНАТОЛИЙ КРАСАВИН

ЖАВОРОНОК

Вот снова слышу жаворонка пенье,
Как будто бы его не слышал век.
Еще на реках сильно льда свеченье,
Еще в низинах тлеет темный снег.

А он поет, безумец поднебесный,
И наполняет пеньем вышину.
И жизнь от этого свежее, интересней.
Весна пришла.

Приветствую весну!

Почти не вижу птицу в яркой сини,
Но пенье птицы слышу хорошо.
И прибавляется уверенности, силы,
Как будто я к любимой в дом вошел.

Я на пути не совершу промашки
И не впаду в унынье и тоску:
Пока весна звенит от пенья пташки —
Я все могу.

Я в жизни все могу!

ЛЕОНИД ЗАМЯТИН

СПАСИБО ТЕБЕ, ПАПАУС!

Рассказ

Ринг — замкнутое пространство, в котором нас двое: он и я. Правда, есть еще судья, но его можно не считать — его присутствия я почти не ощущаю. Вдвоем на ринге тесно, то и дело чувствуешь спиной канаты, но они хорошо натянуты и пружинят, снова отбрасывая тебя на середину ринга. А середина должна быть за тобой, тогда ты хозяин. С ним у меня это не получается. Он прет и прет, как робот, и беспрерывно наносит боковые удары с обеих рук, не обращая внимания на то, что приходится они в основном в плечи и в перчатки. Треск от этих ударов стоит оглушительный. Я не могу понять — псих он, что ли?

Вероятно, со стороны его атаки выглядят впечатляюще. Зал болеет за него. Он свой, он неоднократный чемпион края и тренер сборной. У меня в зале всего несколько друзей, и сейчас они, наверное, жалеют меня.

Но я-то знаю, что на самом деле все не так. Понимает это и он. А может, он ни черта не понимает и ему, как и зрителям, кажется, что я вот-вот лягу — надо только чуть-чуть поднажать? И он поднажимает. Ну что ж, посмотрим.

Я уже не злюсь. Я уже смотрю на наш бой как бы со стороны. Голова у меня очень ясная, и сам я удивляюсь своему неизвестно откуда взявшемуся хладнокровию.

«Если ты дуб, то я тебя накажу. Цыплят по осени считают, а до осени — еще два раунда».

Физически он гораздо сильнее меня. Об этом знаем мы оба. Он — мастер спорта по боксу и кандидат в мастера по штанге и борьбе, типичный силовик, «рубака». Но у меня есть ноги и голова. А это тоже кое-что. Он ниже меня на целую голову и гораздо шире в плечах. Грудные мышцы у него такие мощные, что за левую мышцу он прячет подбородок от бокового слева.

Кажется, я подобрал к нему ключик. Ножики у меня чуть порезвей. Я все время разрываю дистанцию, когда он атакует, и он чуть-чуть не достает. Я отступаю, защищаясь, юлю вокруг него и, очень точно зафиксировав момент, когда он заканчивает атаку и немного проваливается, резко бросаю тело вперед и бью прямой левой в переносицу. Он выходит из себя, снова очертя голову бросается в атаку, от которой у меня уже ноют плечи. Я повторяю свой маневр, и он снова пропускает прямой левой в голову. Он атакует сериями, пытаюсь во что бы то ни стало сблизиться, прижимает меня к канатам. Еще немного — и загонит в угол. Но я словно вижу спиной. Едва ощутив канаты, я резко, с разворотом и встречным правым, ухожу к середине. Мышеловка щелкнула впустую. И, неожиданно для нас обоих, я бросаюсь вперед уже с двумя ударами левой и достигаю цели. Он атакует в ответ, как буйвол, вызывая меня на рукопашную. Кажется, он уже теряет самообладание от моей наглости: «Этот пацан все еще не хочет лечь?!»

Только не ввязываться с ним в откровенную рубку — не идти на безалаберный обмен ударами по принципу «чья кость крепче?». Я знаю, что его. Тут он меня перешибет. И я снова кружу вокруг него, отступаю и только изредка контратакую. Мою тактику публика принимает за трусость и выражает свое возмущение свистом и выкриками.

— Клади его наконец!

Они не понимают, что работают сейчас на меня. Что ж, я покажу спектакль, который им запомнится.

Я замечаю, что из носа у него тонкой струйкой течет кровь, — это мои незаметные, но очень точные прямые левой.

Гонг. Мы разбегаемся в разные стороны и уже полусидим на поворотных стульях, откинувшись спиной на канаты, каждый в своем углу. Малыш вытирает мое лицо влажным полотенцем, оттягивает резинку трусов на моем животе и начинает накачивать меня свежим воздухом, держа расправленное полотенце в обеих руках и раскачиваясь всем корпусом, как орангутанг.

— Молодец, Кот. Все верно. Во втором раунде будь чуть-чуть активней. В третьем — он сдохнет. Тогда и начнешь клевать по-настоящему.

Малыш торопится, голос его доносится до меня откуда-то издалека, перекрывая смутный гул зала. В детстве, когда меня водили в баню, я любил, сидя в клубах пара, прикрывать уши

мокрыми колеблющимися ладонями, и тогда слышал точно такой же неясный гул. Слова Малыша снова доходят до моего сознания:

— Только не пижонь. Будь осторожней. Берегись крюка правой в голову, он у него опасный.

Я киваю...

Я опять вспоминаю детство, наш задний двор с развалинами дома номер 23, в который угодила бомба.

Как я попал на ринг? От слабости. Я был рыжим и самым хилым во дворе, но это совсем не волновало меня до тех пор, пока не появился на нашем горизонте Папаус, Кличка эта, неизвестно когда, произошла от слова «папуас» и полностью заменила ему имя. Папаус был долговяз, прыщеват. На правой руке у него имелся только большой палец и четыре коротеньких обрубка — последствия опытов с найденной за городом немецкой гранатой.

Папаус издевался над нами, и весь наш двор боялся его. Я люто ненавидел Папауса. Он был старше меня на целых пять лет и прекрасно чувствовал, что рыжий заморыш где-то внутри не покорился ему, единственный во всем дворе. И он не давал мне проходу. Он отбирал у нас монеты, когда мы играли в «пристенок», отнимал бутерброды, фантики, щелкал о наши лбы надувные шарики. Однажды я решил восстать, но был жестоко наказан.

И тогда целью моей жизни стало — побить Папауса. И не как-нибудь сзади или исподтишка, а по-честному, при всем дворе. Стыкнуться до крови и побить. Но как это сделать, если мне восемь, а ему тринадцать, мне десять, а ему пятнадцать? Эти пять лет много значили для нас в ту пору. Я записался в школьный гимнастический кружок, куда меня приняли не очень охотно. Я крепчал на глазах. Но эти проклятые пять лет разницы!

И однажды я увидел на заборе плакат с четырьмя огромными красными буквами «БОКС» и с черной круглой перчаткой, похожей на двухпудовку. Я помню этот плакат до сих пор. Он-то все и решил. Я стал самым прилежным членом детской секции бокса «Спартака». Я не пропускал ни одной тренировки, как это ни изматывало.

Тренер наш, Николай Иванович, пожилой тучный очкарик огромного роста, на вид казался человеком неповоротливым. Но стоило ему остаться в тренировочном костюме, надеть перчатки — и он преображался неузнаваемо. В его движениях появлялись точность, быстрота и какая-то вкрадчивая кошачья плавность. В молодости он выступал в тяжелом весе на первенство страны и не раз был призером. Боксу он был предан до жертвенности и такого же отношения требовал от нас. Он сумел увлечь нас, изобретая различные упражнения, необходимые для боксера. Он понимал, что мальчишкам не должно быть скучно. Перчатки мы надели только через два месяца. С этим наш тренер не спешил. Мы прыгали на скакалке, дрались с «тенью», качали пресс на шведской стенке, отрабатывали удары на «груше» и «мешке» пока что без перчаток, бинтуя кисти рук эластичным бинтом «Идеал». Вскоре я уже, как заправский боксер, колотил надувную «грушу» хуками — боковыми ударами справа и слева, так что деревянный щиток гудел, как барабан. Я уловил ритм и молотил по «груше», как заводной. Вероятно, со стороны это выглядело забавно. Я едва доставал до «груши» — так я был мал. Но я уже вошел во вкус. Я понял, что запах бокса — это запах пота. На «мешке» мы отрабатывали апперкоты — крюки снизу, с разворотом бедра, вкладывая в удар вес всего тела. При этом подбородком мы прижимали к ключице спичечный коробок, который не должен был упасть. Так мы приучались прятать от ударов противника подбородок — самое уязвимое место боксера.

Я хорошо запомнил день, когда мы впервые надели перчатки и вышли на ярко освещенный ринг. Это был мой первый бой. За нами наблюдала специальная тренерская комиссия. Волновался я отчаянно и дрался как в тумане. Впрочем, слово «драться» Николай Иванович просил нас забыть навсегда. Мы «работали». Но что это была за работа! Но комиссию это зрелище удовлетворило. Я остался в списках секции. А тридцать человек из сорока пяти после этого боя были отчислены как «неперспективные».

И тут тренер резко увеличил нагрузку. Теперь каждому из нас он уделял больше внимания. На тренировках мы работали уже по десять раундов подряд: два раунда — на скакалке, раунд — «бой с тенью», три раунда — на «мешке», три раунда — на ринге, и наконец, когда мы уже валились с ног от усталости, — раунд на «лапах».

Я хорошо запомнил широко расставленные «лапы» и где-то посреди и гораздо выше — сосредоточенное лицо Николая Ивановича, прищуренные, как у прицелившегося стрелка, глаза за блестящими стеклами очков, капельки пота на его лбу.

— Раз-два! — выдыхал он, и я должен был в прыжке нанести молниеносную серию из двух слитных боковых ударов: левой — в левую «лапу», чуть легче, и правой, с акцентом, — в правую.

— Раз-два! — И новая серия. Если при этом я хоть капельку «раскрывался», то моментально получал «лапой» в лоб. Иногда очки тренера падали на пол ринга. Он увлекался и не щадил себя на тренировках. Он воспитывал нас волевыми бойцами, способными преодолеть усталость.

— Вы должны уметь прибавить, когда силы уже исчерпаны, уметь собраться и выложиться до конца, — говорил он. — В равном бою побеждает тот, кто оказался более стойким, более собранным.

Он приучил нас к аккуратности во всем, включая спортивную форму, прическу, внешний вид. Он готовил нас для большого ринга.

— Надо уважать судей, противника, зрителей, — наставлял тренер.

Он знал о нас все: как мы учимся, чем живем. Я помню, с каким позором выгнал Николай Иванович из секции Ваську Еремина, самого способного своего ученика, когда узнал, что тот торгует билетами у кино и дерется во дворе. Тренер вывел его из строя и поставил лицом к нам.

— Этому человеку не место в боксе, — с горечью выпалил он, волнуясь даже больше, чем мы. — Бокс — это спорт джентльменов, людей честных и благородных. Если кто-то из вас собирается овладеть приемами бокса, а потом драться на улице, лучше уходите сразу. Боксеру драться с человеком небезоружным — это все равно что напасть вооруженным на безоружного, а это всегда подлость. Дайте мне слово, что никогда не будете драться на улице.

И мы дали слово. Я обманул тренера. Я ничего не сказал ему о Папаусе. Бой с Папаусом я считал делом благородным. Ведь он обижает слабых. Но я поклялся себе, что это будет мой первый и последний бой без перчаток, вне ринга...

А Папаус не догадывался ни о чем и, кажется, начал уже скучать без меня. Я реже стал появляться во дворе. Времени не хватало. Тренировались мы три раза в неделю, а по воскре-

сеньям бегали кросс за городом. Маме я говорил, что хожу в ДПС, в шахматный кружок. Засыпал я теперь рано и не замечал, как она, склонившись над моей постелью, разглядывает мой очередной синяк и горестно вздыхает. Конечно, она давно догадалась обо всем, но виду не подавала. Я рос без отца. Старшего брата у меня не было. Мама считала, что мужчина должен быть мужчиной и уметь постоять за себя сам. Правда, сказала она мне об этом гораздо позже. . .

Бам-м-м-м!

— Секунданты — на ринг! Второй раунд!

Кажется, я слишком задумался. Он, как тигр, одним прыжком пересек ринг по диагонали и застал меня врасплох в моем углу. Как это произошло, я не понял. И тут я почувствовал, что такое его кряк справа. И попал-то он не в челюсть, а в висок. Но и этого было достаточно. Я «поплыл» . . .

Внешне это было почти незаметно. Я стоял на ногах. Но голова моя превратилась в гудящий колокол. Перед глазами пошли круги, и приятное безразличие начало разливаться по всему телу. Со мной такое уже было однажды в детстве, когда я тонул на Волге, смытый с мостков волной большого пассажирского парохода. . .

К счастью, я не опустил рук, и судья не засчитал мне нокаун и не открыл счет. Тело мое оказалось умней меня. Машинально я развернулся и ушел от канатов. Он с прямым встречным правой пролетел мимо. Достигни цели этот удар — он был бы последним. Я начал приходить в себя и отступать, разрывая дистанцию. А он даже не почувствовал серьезности момента. Ему бы добавить еще разок. Но я уже соображал, хотя в голове еще гудело. Я начал отвечать встречными прямыми и к концу раунда полностью пришел в себя, почувствовал свое тело, легкое, умное.

— Больше я так не нарвусь. Шалишь!

Перед самым гонгом нырком влево я ушел от его хука слева и пробил крюком снизу левой в голову. Удар прошел чисто, однако этого было недостаточно, чтобы завалить его. Но я хорошо запомнил выражение детской растерянности на его лице. Оказывается, я тоже могу бить его коронным ударом. Я ошеломил его, да и публику тоже. Зал притих.

Гонг. Мы снова на стульях. Малыш подает воздух, как хороший вентилятор.

— Ты что, чокнулся? Как ты пропустил эту плюху?

Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Мне почему-то становится весело. Сейчас я покажу им другой бокс, которого они еще не видели на чемпионатах края. Бокс — это вовсе не драка...

Так же поразился тогда Папаус. Это было в седьмом классе. Мне было четырнадцать, ему — девятнадцать. Когда я предложил «стыкнуться», он расхохотался. Но двор был свидетелем, что я не шучу. Все жалели меня и не понимали моей настойчивости. И тогда мы пошли на задний двор. Здесь не было посторонних свидетелей. Окна нашего дома сюда не выходили. На месте развалин дома номер 23 уже разбили хилый скверик. Пацаны окружили нас плотным кольцом, образовав живой ринг. Они же исполняли роль судьи. Правила были четкие и справедливые: запрещалось бить ниже пояса, бить лежащего, драться ногами и убегать от противника. Бой «докровянки» — так это называлось.

Ловко сплунув стружкой через выбитый в драке передний зуб, Папаус прыгнул на меня с кулаками. Я отступил на шаг, и, когда он провалился с вытянутой правой рукой, я ушел вправо с ударом левой снизу в челюсть. Правда, попал я по зубам, а не в челюсть. Но эффект был потрясающий: Папаус взревел и, как разъяренный бык, опустив лицо вниз, головой вперед ринулся на меня, молотя по воздуху кулаками. Но он не видел меня, так как опустил глаза. Меня приучили не прятать глаза. Я прилип к нему. Я танцевал вокруг него странный танец — танец возмездия и кормил, и кормил его крюками снизу с обеих рук.

Я увлекся. Пацаны оттащили меня. Папаус стоял, качаясь, закрыв лицо руками. Между пальцев его текла кровь.

Долговязый Папаус, ссутулившись, всхлипывая, низко опустив голову, уходил с заднего двора. Никто не пошел за ним. Тишина стояла страшная. И в этот момент мне впервые вдруг стало жаль его. Я вспомнил гранату, разорвавшуюся почти что в его руке...

Больше ни к кому во дворе Папаус не приставал, даже к малышам, ходил молчаливый, подавленный. А я потерял стимул и начал пропускать тренировки. Я понял, что могу постоять за себя, и бокс для меня померк.

На ринг я вернулся через много лет, совершенно случайно. Произошло это на одной из дальневосточных строек, где я ра-

ботал каменщиком. В зал притащил меня Малыш — здоровенный «шифоньер», которого поселили четвертым в мою комнату в общежитии, боксер-тяжеловес. Сейчас он секундировал меня.

Я никому не рассказывал, что в школе занимался боксом. Это было так давно. Неожиданно для всех через год занятий я выполнил норму кандидата в мастера и попал в сборную края. Все считали меня самородком, способным новичком, но уж очень упрямым. Я дрался неправильно, нелогично, как убежден был наш тренер — непререкаемый авторитет. Сейчас он сидел в противоположном углу ринга, сейчас он пытался доказать свою правоту на деле, проучить сопляка, посягнувшего на его чемпионские лавры. . .

— Чему ты улыбаешься? Помни, два раунда — за ним, — доносится до меня голос Малыша. — Давай, Кот! Я верю в тебя!

Бам-м-м, — звучит гонг. Последний раунд!

И опять передо мной его лицо. Сейчас все мое внимание сосредоточено на нем. Я вижу растерянность в его глазах: два раунда он носил этого выскочку на кулаках, а сейчас тот совершенно свеж, словно и не было этих раундов, этих сокрушительных боковых ударов.

Я почувствовал, что он выдыхается. Пора!

Он бьет меня в голову прямым слева. Я проваливаюсь, сажусь на правую ногу и выбрасываю правый встречный по корпусу. Удар проходит чисто. Звук глухой и какой-то гулкий, как по мешку. Он едва заметно сгибается. Зал молчит оглушительно.

А я наседаю. Финты, финты, финты по корпусу снизу, и вдруг последний акцентирующий крюк слева в голову. Он становится медлительным, уходит в глухую локтевую защиту. А я атакую снова и снова, набирая очки. Положить его мне вряд ли удастся. Уж больно он здоров, хорошо «держит» удары. . .

— Не бойся, — говорил он мне в раздевалке перед боем и похлопывал по плечу перчаткой, — бить я тебя здорово не буду.

— Да я и не боюсь.

— А напрасно, — и глаза его блеснули как-то холодно и жестоко.

Бой наш был принципиальным, к тому же победитель через месяц отправится на первенство зоны.

Он начал его психической атакой, помогая себе звучными выдохами под удар, как мясник, разрубающий кость в магазине. А сейчас — сдох. Ну еще бы — так переть два раунда.

Он опускает голову. Я клюю и клюю его снизу, как когда-то Папауса.

Ба-м-м-м, — звучит гонг. И мы стоим втроем. Третий — судья на ринге. Он крепко, как дружинник, держит нас за руки, его — за правую, меня — за левую, и сейчас чью-то поднимет.

Судьи медлят. Им трудно решиться. Все-таки он авторитет, чемпион, мастер спорта, а я пацан. Но я не волнуюсь. Я знаю, чью руку поднимет сейчас рефери.

Спасибо тебе, Папаус!

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВ

* * *

Неразбитое корыто —
Проза будничных забот.
Каждый может жить открыто,
Проливать соленый пот.

Эта соль глаза не выест,
Грязь не запятнает рук.
...Вышей пробы справедливость
Знает тот, кто верит в труд!..

* * *

Гордость — радуга над речкой —
За мою земную суть.
До последнего словечка
Отдаю себя на суд.

Отыщите в биографии
Трещинку или сучок...
Были, были дни корявые:
Речка ровно не течет.

Под моей волною — камешки,
Под моей ногой — беда.
...Только я еще не каялся,
Нет, ни в чем и никогда!..

* * *

Лес не лекарь, не волшебник.
Не хитрит и не мудрит.
Красотой своей душевной
Он для каждого открыт.

Выбирай себе дорожку:
По коврам шагай — по мхам.
Приобщайся понемножку
К счастью собственному — сам!

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВ

АНАНАСНЫЙ АРБУЗ

Рассказ

В Причерноморской степи по раскаленной от зноя дороге пылит открытая легковая машина. Из Каховки в село Подлипы едут на ревизию скота фининспектор Папирка и заместитель прокурора Телюк. С боков и сзади их машина запылилась, стала серой, как мышь, и только один капот мотора по-прежнему черный, словно воронье крыло, и блестит на солнце.

— Ну и жара! — говорит Папирка.

— Як у пекле! — отвечает ему шофер. — Того и гляди, шокамеры лопнут.

Сидят они рядом. Папирка расстегивает ворот белой полотнояной рубахи и сбивает на затылок широкополую соломенную шляпу.

— Теперь бы холодной, родниковой водицы испить, — мечтает он вслух.

— Или нарзанчику со льдом! — прибавляет шофер.

Папирка видит, что шофер начинает подтрунивать, вынимает из кармана носовой платок, вытирает потное красное лицо, загорелую, медную грудь и шею.

— Слышал? — поворачивается он к Телюку. — Хочет нарзанчику в нашей степи!

Но Телюк его не слышит. Он сидит сзади один и сердито смотрит на гладкие, убранные поля пшеницы, ровные квадраты зрелых подсолнухов, красных, налившихся помидоров, спелой густой кукурузы и высокого поливного хмеля.

— Ты чего? — спрашивает его Папирка, но, видя, что губы Телюка запеклись и крепко сжаты, оставляет его в покое.

— От бисова Хрыстя! — ругает Телюк свою жену, чувствуя, как печет у него внутри под ложечкой. — Накормила селедкой, а я, как солоший бугай, наелся, дурень. Забыл, что в такую дорогу еду. «Тильки сьогодни купыла! — мысленно

передразнивает он ее. — Селедец — перший сорт!..» Едем битых два часа, черт возьми, а воды все нет и нет! Не знаю, как тут работали комбайнеры. Сдохнуть можно от жажды!

Направо, далеко-далеко на горизонте, он видит голубую полоску села Бурилева, ищет в нем одинокий тополь, растущий у колодца посреди села, и не может найти. «Километров двадцать будет, — прикидывает он на глаз, — а то и все двадцать пять!» Налево — сплошное дрожащее мутно-золотое море, в котором плотный нагретый воздух струится, как жидкой, и ни конца земли, ни края неба — ничего не видать.

И вдруг он вскакивает, как ужаленный, и кричит:

— Баштан! Товарищи, баш-га-ан! Ура!

Папирка и шофер внимательно смотрят по направлению его руки.

— И в самом деле — баштан.

— За хмелем, — уточняет шофер.

Они не отрывают глаз от баштана и не видят на нем ни людей, ни собак, ни караульной вышки.

— Стой! — приказывает шоферу Папирка, когда подъехала машина к баштану. — А ну, хлопцы, за арбузами, ма-арш! — командует он и сам выходит из машины.

Шофер и зампрокурора выскакивают и, спотыкаясь, бегут на баштан. Их замучила жажда.

— Только спелые рвать! — кричит им вдогонку Папирка. — Самые спелые! На сухой ботве!

И тоже идет на баштан.

Но те без разбора хватают, что ближе. Когда в руках у них было по два арбуза и они нагибались за третьим, неожиданно рядом раздался чей-то хриплый незнакомый голос:

— Эй, вы!.. Стриляты будэмо!.. Не рви!

Они поднимают головы и в тридцати шагах видят будто выросшего из-под земли старика в рваном овчинном кожухе и с берданкой в руках.

— Ну, попались! — говорит Папирка.

Шофер и зампрокурора с арбузами бросаются назад к машине.

— Стриляты! — кричит, задыхаясь, сторож, подымая ружье. — Громадяны! Стой!

Но, видя, что выстрелом убегающих ему не достать, он опускает ружье и поворачивает к фининспектору.

«Влип! Как мухи в мед!.. — отчаянно шепчет по-настоящему перепугавшийся Папирка. — Теперь этот старый хрыч

сообщит в совхоз. Там узнают, что ехали мы по степи, донесут в райсовет... или пропечатают в газетах — и пойдет трезвон по всему району... будто мы совхозные арбузы воровали. Да еще на бюро райкома попрут!.. Нет, уж! — вдруг решает он и сам идет навстречу сторожу. — Лучше здесь заплатить, на месте... И дело с концом».

— Добрый день, папаша!

— Добрый, товарищу, добрый! — отвечает с одышкой старик, машет рукою в сторону убежавших, которые успели уже отъехать метров на сто вперед, и прибавляет: — Побиглы! А?.. Я кажу: громадяны, стой, стреляты будэмо! — а воны побиглы.

Сторож качает головой.

— Мы заплатим вам, — говорит ему Папирка.

— Ну, яки дэсь кавунци! — сердито перебивает его старик.

— В горле у нас пересохло, жара...

— Дрянь тут, а не кавунци...

— Язык прилип...

— Мы на зиму будэмо их солиты... Да! А воны побиглы.

Старик и Папирка издали видят, как заместитель прокурора и шофер разбивают о землю один арбуз, суют себе в рот большие красные куски и, утоляя жажду, торопливо жуют. Старик что-то шепчет себе в седую бороду, будто не столько они съедят, сколько натопчут.

— А вы ходыты до мэне, товарищу... Да! — строго говорит он ему, берет Папирку за рукав и ведет на баштан.

У Папирки становятся круглые большие глаза.

— Мы заплатим вам, — повторяет он и опускает руку в карман.

Но сторож на его слова не обращает никакого внимания.

«Оглох он, что ли?» — заглядывает Папирка ему в лицо.

— Слушайте, диду! — обращается он к старику и подает ему новенькую синюю хрустящую бумажку. — Возьмите пять рублей!

— Вы оцых кавунцов покуштувайтэ. Да! — говорит старик, отпускает его рукав и показывает на большие полосатые арбузы, лежащие посреди баштана. — До Москвы видсылаты будэмо... Да!

Папирка смотрит на него и не может понять, о чем он ему говорит. А тот берет из рук его маленький черно-зеленый арбуз, сорванный у дороги на краю баштана, кладет на землю и продолжает, показывая на большие полосатые арбузы:

— Берите, берите! Не дивитесь! Призвольтєся! Оце гарнюсенъкий кавунецъ!.. А гроши сховайте. Мєни не трєба... Да!

Папирка растерянно прячет бумажку в карман.

Добрый старик прищелкивает вкусно языком, наклоняется к большому арбузу, величиною с кабана, и корявым согнутым указательным пальцем стучит по его макушке.

— Ана-на-сный! — с гордостью произносит он и срезает ему два больших полосатых арбуза...

ПАВЕЛ ПЕРШИН

* * *

Вам приходилось отставать
на незнакомых полустанках?

...Темнела тихая трава,
и было странно,
что тишина касалась кожи,
и мята пенилась в ночи,
что где-то рядом ржали кони,
и позабытое почти
земли свободное дыханье
легко проходит в глубь души,
и недоверие стихает,
и не пытаешься спешить
в ночную тишь, где канул поезд.
Вокруг — ни света, ни жилья,
а только медленное поле
и шелест сонного жнивья.
И, жизнь пролистывая вкратце,
разложишь зряшное — по дням,
и вдруг захочется остаться,
и что-то главное понять,
вдыхая ветер неустанно,
душой предчувствуя полет...

Но поезд следующий, нагрыв,
вас торопливо увезет...

СЕРГЕЙ ХОЛЬНОВ

* * *

Трещит костер
меж снежными заносами.
Круг световой
полночной тьмой зажат.
И высоко
над спящими березами
неслышно звезды робкие дрожат.
В стране машин
и великанов каменных
не так кусает
стужа поутру.
А здесь, сливаясь
с отсветами пламени,
солдаты жмутся
к доброму костру.
С метельных троп
они сюда причалили.
И вот мотив
проснулся в тишине.
Ребята только кажутся печальными.
Они поют
о будущей весне.
Пускай январь
ощерился морозами
и нет вокруг на день пути жилья,
но затянулись,
словно папиросою,
солдаты песней,
той, что пел и я.

ВИКТОР РОМАНОВ

ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ И ПОГОДА

Рассказ

У Василия Кузьмича должность маленькая-маленькая. Правда, не настолько уж, потому что есть у него заместитель, секретарша и небольшой штат сотрудников. И есть еще у Василия Кузьмича посетители, которые никак не могут застать его на рабочем месте.

Однажды и я его не застал. Пришел снова — опять пусто в кабинете!

— Сегодня Василия Кузьмича не будет, — сказал его заместитель Усатов. — У него открытие купального сезона. Вы разве не слышали? По сведениям бюро прогнозов, температура воды в Финском заливе поднялась до восемнадцати градусов!

— Ну, допустим. . .

— Вот с этой температуры Василий Кузьмич и начинает купаться, перемежая купание солнечными ваннами. . .

— В рабочее время?

— Ну зачем вы так! — нахмурился заместитель. — У него отгул.

— Хорошо, тогда я зайду к Василию Кузьмичу через неделю, когда он вдоволь накупается и назагорается, — миролюбиво заметил я.

— Через неделю. . . — поднял к потолку размышляющие глаза Усатов. — Боюсь, не застанете на месте. . . Пойдет первая волна грибов — колошовики! Слыхали?

— Как же, слышал! Ну, а когда схлынет первая волна грибов, Василий Кузьмич появится? — напрямик спросил я, твердо глядя в дипломатические глаза Усатова. — Ведь вторая волна начнется где-то в сентябре!

— Правильно! Только в промежутке будет еще нерест плотвы, — напомнил зам. — Ведь наш Василий Кузьмич —

человек разносторонний, увлекающийся. Он любит природу и в виде флоры, и в виде фауны. . .

— В рабочее время любит?

— Опять вы за свое, — нахмурился Усатов. — Я же сказал: у него отгул!

— Ладно. . . Тогда я найду к Василию Кузьмичу после нереста плотвы, но до наступления второй волны грибов.

— Можете не застать, — холодно заметил зам. — После нереста плотвы сразу же начнется период сбора ранних ягод: земляники, малины. . . А наш Василий Кузьмич страсть как любит их собирать!

— А если прийти, когда ранние ягоды уже собраны, а поздние еще не поспели? Есть надежда застать Василия Кузьмича? — не отставал я.

— Ох, и настырный же вы клиент, — тяжело вздохнул Усатов. — Сразу ведь все про Василия Кузьмича не скажешь. . . Значит, вы хотите нанести визит до того, как морошка красной станет, а голубика голубой? Или еще позднее, когда клюква зреть начнет?

— Я бы хотел прийти до того, как созреет клюква, — осмелел я в своих желаниях.

Усатов понимающе кивнул головой, полистал календарь и трагично развел руками.

— К сожалению, ничего не получится. . . В этот период начинается клев карпа, созревают овощи, поспевают клубника. Так что у Василия Кузьмича дел на даче. . .

— Неужели никогда не застать на работе вашего начальника? — с отчаянием спросил я, ни на что уже не надеясь.

— Ну почему же нельзя! — снисходительно улыбнулся зам и дружески похлопал меня по плечу. — Можно! Только для этого надо выбрать день дождливый, мрачный, промозглый, с туманчиком, со свинцовыми тучами. . .

— Спасибо, что надоумили! — обрадовался я, а на прощание заметил: — Счастливого у вас начальник! Такой длинный отпуск имеет!

— Я же сказал: у него отгул! — снова нахмурился Усатов. — Пять дней догуливает, которые остались от прошлого года. А очередной отпуск у него зимой. . .

ЕЛЕНА ПУДОВКИНА

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Разбрасываньем красок по кустам,
по просекам, по кратким перелескам
день перемены времени и места
был обозначен и указан нам.
Из азбуки, знакомой журавлям,
из голубиной летописи лета
нам следовало: так же незаметно
перемениться, отлететь к делам,
одуматься, последовать советам.
Ведь боль, что появляется при этом,
легчайшей паутиной по полям
рассеяна, разбросана, распета.
Но нарушение — правило запрета:
мы яблоко едим напополам.

* * *

Может — леший, может — бродяга.
За плечом у него — коряга.
В голове у него — репейник.
Борода у него — как веник.
«Покажите, — прошу, — дорогу».
Говорит: «Ступай понемногу,
из осинника выйдешь в ельник,
а из вторника — в понедельник».
Покрутил он в руках корягу.
Тут уж я прибавила шаг,
и бегом сквозь осинник в ельник,
а из вторника — в понедельник,
только ветер завыл осенний.
И вернулась я в воскресенье.

ВЛАДИМИР НЕСТЕРОВСКИЙ

КОВШ МЕДВЕЖИЙ

Ковш Медвежий — словно дрожки.
Блещет лунная дорожка.
Осторожно, пешеход:
Межпланетный переход.

Ковш Медвежий — словно дрожки,
Волны — дымчатые брошки.
По волнам упряжка мчит,
Яко посуху стучит.

Ковш Медвежий — словно дрожки.
В нем стоит Возничий Трошка,
Держит месяц-ятаган,
Зазывает в балаган.

ГРИГОРИЙ ДЕДИНСКИЙ

ПЕРЕД УХОДОМ

Юмористический рассказ

Последним спектаклем старого года была лирическая комедия «После полуночи». Все шло как обычно, пока в первом антракте за кулисами не поднялась паника. Многие актеры жили в новых районах и могли не успеть к праздничному столу вовремя.

— Предлагаю несколько поднять темп, — сказал самый отрицательный герой, застегивая на своем костюме все пуговицы.

Его поддержали. После перерыва дремавшая до этого публика оживилась. На сцене еле передвигавшиеся артисты вдруг стали носиться, как слаломисты во время состязаний. Из лирической комедии спектакль постепенно превращался в захватывающий детектив. В зале перестали сопеть.

— Молодцы! — кричал за сценой ведущий, поминутно поглядывая на часы. — Усилить темп.

Колыбельная героини, под которую она сама частенько засыпала, вылилась в джазовую интерпретацию, приглашающую танцевать. С актеров закапал грим, который они незаметно утирали декорациями. Второй антракт решено было не делать. Публика этого не заметила, захваченная стремительностью действия. Она также не обращала внимания и на актеров, произносивших только первую часть слова, а вторую уже зрители должны были додумывать сами. На сцене и за сценой все вертелось, как в февральской метели. Наконец порок в последний раз был наказан и в зале зажегся свет. Вздвигнутая публика ударила в ладоши, устроив настоящую овацию отвыкшим от этого актерам. Занавес подняли второй раз. Исполнители, устало улыбаясь, кланялись. В зале было тепло и радостно. Стояла настоящая творческая атмосфера. Дали занавес в третий раз. Несколько смущенным артистам было не-

удобно покидать сцену при поднятом занавесе, а зрители не смели покидать зал, пока на сцене кланялись актеры. На четвертый раз исполнители уже не улыбались, а несколько уставший зал сменил овацию на негромкое похлопывание. В воздухе витало недоумение. В пятый раз отрицательный герой дернул свой сюртук так, что отлетели все пуговицы, и, не стесняясь, крикнул ведущего. Было ясно, что-то случилось с занавесом: не успевал он опуститься, а собравшиеся на сцене — броситься в разные стороны, как нечистая сила с шумом стягивала его наверх. Приходилось возвращаться. Самое страшное оказалось то, что за сценой никого не было. Спектакль был обкатан: он шел уже восьмой раз, и все ответственные за него убежали провожать старый год.

Из зала донесся легкий свист. Это подбадривала галерка. Как только на третьем десятке занавес вновь опустился, главная героиня бросилась на него всем своим нелегким телом и врезалась ногтями в ненавистную материю. Все было тщетно. Через секунду она уже медленно плыла к потолку. По спинам актеров прошел легкий озноб. Все представили, как будут ее ловить. Актриса упала на стажера, которому наконец-то представился случай сказать свое слово на сцене. Он стонал и охал звуками раненого мавра.

Потом на сцене все угомонились. Часы показывали без четверти двенадцать. Спешить было некуда.

А занавес все никак не хотел останавливаться.

— Ни одна труппа не получала столько хлопков за один спектакль, как мы с вами, — усмехнулась пожилая актриса, у которой от непредвиденных поклонов заломило в пояснице. Ей подставили стул.

— И мне тоже, — потребовал стажер с переломанной ключицей.

В зале заметили, что актеры рассаживаются на сцене, и перестали хлопать.

— Отличная находка, — восхищенно пронеслось по бельэтажу, — финал спектакля как бы слить с настоящей жизнью.

— Молодцы! — ахнул партер и направил своих представителей в буфет.

Добровольцы от балкона рванулись в гардероб, где у них стояли сумки с провизией, предназначенной для домашних столов.

Кто-то стал выносить декорации в партер, кто-то расстилал на них афиши. Через пять минут в зале было уютно и празд-

нично, как в большой, но дружной семье, состоящей из пятидесяти поколений. Актеры растворились среди зрителей и обменивались с ними знаниями о событиях за рубежом.

— Это лучшее, что мы создали за сезон, — не без гордости произнес первый тост самый отрицательный герой, поднимаясь с места.

— А может, и за пятилетку, — поддержала его галерка.

Все зааплодировали.

— Чаще надо вот так встречаться, — провозгласил осветитель, включая все свое хозяйство разом.

Его тоже поддержали. Тогда он прыгнул из рабочей ложи прямо за стол. Потом говорили все вместе и каждый отдельно. Пели любимые песни, а молодежь в проходах танцевала. Только под утро кто-то догадался поднять тост за режиссера, придумавшего все это.

Расходились актеры и зрители просто, по-домашнему, кто когда хотел. Но всех объединяла уверенность в неисчерпаемости возможностей театра.

ЛЕОНИД ХАУСТОВ

ЧИТАЯ КЛАССИКОВ

*Продолжение «Разговора с молодыми»**

Один наш поэт упрекнул современников в поверхностности: «У нас у всех одна и та же есть болезнь души. Поверхностность ей имя». Не знаю, как в других областях, но что касается сферы чтения художественной литературы, приходится признать правоту поэта. Только я думаю, что у этого недостатка возраст такой же, какой и у литературы. Дело, видимо, заключается в том, что распространение этой «болезни» в настоящее время гораздо большее, чем когда-либо. И это не может нас не тревожить. Может быть, сегодня, когда на человека обрушивается (иначе не скажешь, именно — обрушивается!) такой поток информации, поверхностность восприятия возникает как некое защитное средство, как наша реакция на этот перехлест. Но от этого ведь не легче: от поверхностности несет ущерб самое главное — эффективность воздействия на нас произведений художественной литературы.

Сколько молодых людей грешит поверхностным чтением! Речь идет о тех, кто любит «просматривать» книги, выбирая из них только интересное для себя. Особенно обидны потери от такого чтения произведений наших классиков.

В этих заметках речь пойдет о чтении стихов. Нужно заметить, что не только внимание необходимо для восприятия поэзии, но и определенная литературная подготовка, некоторая поэтическая искушенность. Не поэтому ли круг любителей поэзии все-таки уже круга просто читателей художественной литературы? Чтобы оценить удачно найденную рифму, яркий поэтический образ, точное сравнение, нужно по крайней мере знать, что это такое — рифма, образ, метафора. У какого лю-

* «Молодой Ленинград», 1975.

бителя поэзии не бывало так: перечитывая какое-либо давно известное тебе стихотворение, вдруг поражаешься тому, что перед тобой открываются неведомые глубины смысла, о которых ты даже не подозревал. Эта, как будто только тебе открывшаяся, глубина делает тебя счастливым обладателем тайны, которой хочется немедленно поделиться, хотя так трудно бывает выразить мысль стихотворения простыми словами, не разрушив при этом чуда поэзии.

Не об этом ли писал в своем детском стихотворении в 1935 году Юра Капралов, ныне известный кинокритик Г. Капралов:

Он (светлячок. — Л. Х.) зеленым летит огоньком,
Но-настигнет рука погони,
И он станет простым жуком,
Умирающим на ладони.

Да, разъятие стиха на части — дело опасное и трудное, требующее большой осторожности. И все-таки стих — вещь объективная, и мы можем, мы должны уметь его разбирать, исследовать, добираясь до его скрытых глубин, что дает нам благословенную возможность еще больше соприкоснуться с душой поэта, учась у него мыслить и чувствовать.

Для иллюстрации того, что от читателя при чтении стихов требуется обыкновенное внимание, хотелось бы привести один пример. Расскажу забавный, почти анекдотический случай. Зашел у нас как-то разговор о Пушкине, и я решил проверить друзей на внимательность их чтения. Я стал им читать всем известные строки:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем... —

Я сделал выжидательную паузу.

...больше нравимся мы ей, —

подхватило несколько голосов. «А ведь у Пушкина не так», — пришлось мне озадачить друзей. Разгорелся спор — какое же слово у Пушкина? «Тем лучше, тем раньше», — сыпались предположения, хотя и несколько неуверенно. Но никто не произнес слова, действительно написанного Пушкиным, слова, найденного им. Позвонили видному пушкинисту, старому профессору. И, как это ни невероятно, произошло то же самое: «Тем больше», — не раздумывая, сказал он. «Но ведь

у Пушкина не так», — пришлось огорчить знатока-пушкиниста. «Позвоните мне через полчаса», — было ответом. И вот через полчаса каким-то счастливым, я бы даже сказал, гордым голосом профессор читал нам в телефонную трубку:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем ЛЕГЧЕ нравимся мы ей,
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

Последовала пауза, после чего профессор продолжал: «И Пушкин не был бы Пушкиным, если бы написал это «большее». Именно «легче»! Какая тонкость, какая точность смысла заключена в этом слове! Только вдумайтесь. И нужно сказать, что у Пушкина иных вариантов не было», — закончил профессор. Да, вот как необходимо быть внимательным к каждому слову, к каждому нюансу стиха!

Недавно по радио выступал один известный поэт с юбилейной речью о Маяковском. Сильно резануло меня одно слово, прочитанное выступающим при цитировании Маяковского. Вместо «Иду красивый, двадцатидвухлетний» было сказано: «Иду веселый, двадцатидвухлетний». Как это «веселый» не подходит к Маяковскому 1915 года! Каким непониманием природы стиха Маяковского, его внутреннего облика отдает такое цитирование!

Однако обратимся к вопросу об открытии неизвестных нам глубин стиха, скрытых от нас при поверхностном чтении. Возьмем самый, казалось бы, простой пример. Давайте начнем читать заученного когда-то в детстве пушкинского «Утопленника»:

Прибежали в избу дети,
Второпах зовут отца:
Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца.

Казалось бы, все просто и ясно. О какой глубине смысла тут может идти речь? Но так ли это? Редко кто задумывается над сразу бросающейся в глаза странностью: как сети могли притащить мертвеца? Сами, что ли? В чем же тут дело? А дело в том, что это — художественный прием Пушкина. Он показывает наивность детского восприятия случившегося. На самом же деле это река ночью выбросила мертвеца на разостланные на берегу сети.

Возьмем еще один пример. Прочтем последние строки несравненного «Медного всадника»:

.. остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводнеенье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свели на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

Эти строки звучат спокойно, я бы даже сказал, подчеркнуто спокойно, взгляд как бы со стороны, скупая констатация факта. Но это внешняя сторона картины. А что она таит в себе? Пушкин бесконечно верит в своего читателя. И когда ты сам обо всем догадываешься и понимаешь, что искал бедный Евгений, мороз продирает тебя по коже! И вовсе не таким уж безумным встает перед тобой Евгений. Не зря он блуждает по городу, снедаемый внутренней тревогой. Одержимый тщетной надеждой, он ищет. И все-таки он находит то, что так долго искал, — домик Параши. И где? На пустынном острове! Безумцу это было бы не под силу. Теперь все для него кончилось, и он умер. Умер у порога этого дома. Пушкин глубоко спрятал смысл концовки своей поэмы. И теперь, когда я перечитываю эти внешне спокойные строчки, они начинают звучать как прекрасная песня любви и верности. До чего же велик Пушкин в этой концовке поэмы, на которую, я убежден, не все обращают должное внимание. Все это имеет прямое отношение к внимательности чтения стиха.

Сколько поколений называло Пушкина своим поэтом! Молодость всегда тянулась к нему, как к самому своему поэту. Пушкин всегда молод. И в этой непреходящей молодости — вечно молодое его бессмертие. Буквально все, написанное рукой Пушкина, волнует, как встреча с ним. Любая запись, любой рисунок. Когда я, открывая 8-й том десяти томного Собрания

сочинений Пушкина, нахожу одну запись, от волнения у меня перехватывает дыхание. Запись, сделанная Пушкиным в альбоме бывшего директора Лицея Е. А. Энгельгардта, сквозь полуторавековую толщу времени дает нам ощутить живую душу поэта. Она звучит не только гимном лицейской дружбе, но и будит в нас благородные мысли об учителях. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей знало ее и всегда помнило о ней. Вот она:

«Е. А. Энгельгардту

Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и мое имя между именами молодых людей, которые обязаны вам счастливейшим годом жизни их, вы скажете: «В Лицее не было неблагодарных».

Александр Пушкин»

Эти слова не забылись. Они становятся крылатыми, и все чаще в нашей жизни слышится: «В Лицее не было неблагодарных».

Кто-то очень верно заметил, что перечитывать старые книги не менее важно, чем читать новые. Произведения классиков нужно перечитывать постоянно. Произведения Лермонтова я перечитываю очень часто и всегда нахожу в них для себя много нового. Всегда я поражаюсь удивительной верности Лермонтова своим юношеским замыслам. Все его зрелое творчество представляется мне в определенном смысле как бы воплощением его ранних замыслов. Так, есть у Лермонтова романтическое, во многом наивное «Поле Бородина», написанное в 1830 году шестнадцатилетним юношей. Но что поражает: есть в этом стихотворении, весьма далеко от потрясающего реализмом зрелого «Бородина», строки, устоявшие, сохранившиеся и в позднем варианте. К примеру, такие:

Носились знамена, как тени

или:

Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Расплывчатое, романтическое ушло; поэтически точное, реалистическое осталось.

В юношеском, датированном 1832 годом стихотворении читаем:

Есть звуки — значенье ничтожно
И презрено гордой толпой, —

и узнаем — в этих строках черты будущего, одного из последних и гениальнейших лермонтовских творений:

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно.

Примеров позднейшей разработки и переработки ранних мотивов у Лермонтова можно найти множество. Что это — верность темам? Нет, прежде всего это есть лермонтовское стремление к некоему художественному абсолюту. Для молодых поэтов это очень важный и поучительный пример. Лермонтов жил и развивался, креп и мужал его талант, но он, создавая новые произведения, не забывал, не отбрасывал старые, заключающие в себе его давние думы, он художественно совершенствовал их. Лучше написать два «Бородина», отделенных друг от друга чуть ли не десятилетием, чем десять тематически разных, но — увы — одинаковых в своей обыденности стихотворений. Давайте учиться у классиков, хотя это и непостижимо трудно!

Одним из самых сложных, таинственных, так до конца и не разгаданных произведений является лермонтовский «Демон». Как правильно его понимать, какой истинный смысл вкладывает поэт в свои подлинно великанские образы? Не кроется ли в самой невозможности окончательного постижения и самая прекрасная тайна искусства? И все-таки иногда, перечитывая Лермонтова, вдруг останавливаешься, пораженный неожиданной догадкой. Уж не ключ ли к постижению тайны «Демона» у тебя в руках, ключ, который таится вот в этом юношеском лермонтовском стихотворении? Не заключен ли «Демон», как большое растение в маленьком зерне, в нем?

Послушай: быть может, когда мы покинем
Навек этот мир, где душою так стынем,
Быть может, в стране, где не знают обману, —
Ты ангелом будешь, я демоном стану.
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежнего друга все счастье рая!
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,
Тебе будет раем, — а ты мне вселенной!

А ведь было время, когда юношеская, ранняя лирика Лермонтова считалась слабой, чуть ли не досадным приложением к его зрелым великим творениям. У меня есть издание конца прошлого века, в котором все стихотворения до 1837 года, кроме стихотворений «Парус», «Ангел», «Два великана»,

напечатаны отдельно в виде такого «приложения». Выходит, что даже солидные издатели не застрахованы от ошибочных оценок стихов. Само время не застраховано от этого.

В последнее время поэма повернулась к нам еще и такой стороной, на которую раньше должного внимания не обращалось. Она вдруг стала яркой космической поэмой. «Хоры стройные светил» засветились вдруг очень живым светом. Нас поражает удивительная точность передачи впечатления от взгляда на землю, брошенного из космоса. Конечно, в шутку, хочется сказать, что образом первого космонавта был лермонтовский Демон, который как будто на искусственном спутнике пролетал над землей:

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал.
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.

Именно такими видели космонавты Кавказские горы в иллюминаторы своих космических кораблей и, несомненно, вспоминали о гениальном русском поэте.

Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространство брошенных светил.

Какая роскошная космическая картина! Это ли не современность: «познанья жадный»?

«В небесах торжественно и чудно. Спит земля в сиянье голубом», — написал Лермонтов, и целое столетие пел русский народ эти стихи, беспрекословно поверив своему поэту. Слова поэта подтвердились только теперь. Я слышал, как космонавт Павел Попович говорил о том, что из космоса наша земля «такая уютная, маленькая и совсем голубая».

Обратимся к еще недостаточно широко известной замечательной поэзии русского классика Ивана Бунина.

Мы очень любим повторять и письменно и устно знаменитую формулу В. Г. Белинского: «Поэт мыслит образами». Конечно, она ни у кого не вызывает сомнений. И это действительно так. Почувствовать это легко, читая хорошие стихи, а вот как этот процесс мышления образами показать на конкретных примерах? Думается, что это не так-то просто. Еще в молодости, читая одно стихотворение Ивана Бунина, я понял: вот прекрасный пример, иллюстрирующий формулу «Поэт мыслит об-

разами». Действительно, вчитываясь в стихотворение «Старик», воочию видишь не только общую картину, не только портрет человека, но и следишь за вопросами и ответами, которые ставит поэт, за умозаключениями его. При этом видишь, что автор ни разу не выходит за рамки живописания, ни разу не высказывает свою мысль прямо, в лоб. Давайте вместе прочтем эти такие простые и ясные бунинские стихи:

Старик сидел печально и уныло,
Поднявши брови, в кресле у окна.
На столике, где чашка чаю стыла,
Сигара нагоревшая струила
Полоски голубого волокна.

Все в этих стихах подчеркивает картину старости: и стынувшая чашка чая, и нагоревшая сигара, и поднятые брови — поза старческой созерцательности. Но читаем далее:

В углу часы своею четкой мерой
Отмеривали время.

Поразительная, отнюдь не случайная деталь. Она говорит о том, что часы не просто показывают время, а отсчитывают минуты жизни его, старика. Они напоминают о том, что дни его сочтены. И, понимая это,

...на закат
Смотрел старик с беспомощною верой.

Это так понятно: человеку свойственно тянуться к солнцу, видеть в нем обещание завтрашнего дня. И как неутешительный ответ звучат заключительные строки:

Рос на сигаре пепел темно-серый,
Струился сладковатый аромат.

Последняя строка явственно пахнет кадильным дымом... Поэт-реалист Иван Бунин сумел в таком коротком стихотворении дать полную движения мысли картину. Яркий и поучительный пример.

Кто не любит этих колдовских есенинских строк:

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Какая живописная строка, какой образ — «белых яблонь дым». Но постойте — какой дым? Что имеет в виду поэт?

Я решил проверить самого себя и обратился к знакомым людям. В большинстве случаев я получил такой ответ: дым — это белый яблоневый цвет. Это сравнение, это метафора, и, надо сказать, удачная. Таким ответом я удовлетворен не был. Лично мне все кажется совсем по-другому. Это строка вовсе не метафора, в ней имеется в виду самый настоящий дым, тот, которым окуривают яблони весной. А метафорой является вся строка: «Все пройдет, как с белых яблонь дым». Если бы Есенин хотел сказать другое, он бы мог написать: «Все пройдет, как с белых яблонь цвет». Нет, мне видится синий дымок, окутывающий цветущие яблони, и мне кажется, что я еще глубже, еще тоньше понимаю есенинские стихи.

Есть у Есенина очень светлое стихотворение с дерзким названием «Сукин сын». В этом стихотворении действительно говорится о собаке и ее щенке. Как известно, Есенин очень любил «братьев наших меньших». Однако в этом стихотворении главное — не они. Собаки — только участники событий, о которых рассказывается в стихах:

И припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почталыон.

Поэт рассказывает довольно грустную историю о безответной, неразделенной любви. Но рассказывает он об этом как-то очень радостно, просто, весело. В устах Есенина, который редко говорил о безответной любви, пожалуй, это несколько странно. Не мог же в самом деле такой мастер ошибиться в тональности. В стихотворении явно скрыт секрет. Читаем дальше и еще больше убеждаемся, что радость в душе поэта все возрастает:

Хочешь, пес, я тебя расцелую
За пробуженный в сердце май?
Расцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом.

Неужели от встречи со щенком поэт впал в такой восторг? Конечно же, нет. Секрет легко открывается, он заключен в двух последних строках:

Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

Все дело в разнице чувств, обозначающихся словами «нравилась» и «люблю». Когда-то поэту нравилась девушка, но теперь поэт любит. Поэт пишет свое стихотворение, движимый

любовью, величайшим на свете чувством. Любовью, переживаемой сию минуту, продиктовано все стихотворение от первого до последнего слова. Даже память о прошлом увлечении озарена этой любовью, даже желание приласкать собаку продиктовано этим всеобъемлющим чувством. Как ошибаются те, кто, читая это стихотворение вслух, делают ударения на словах «белом» и «голубом». Как будто поэт выражает свое отношение к цвету тканей. Нет, самый большой, самый сильный акцент, в который вкладывается вся душа, делается на слове «люблю»!

Все знают предсмертное стихотворение Сергея Есенина — несколько строк, написанных кровью в прямом смысле этого слова:

До свиданья, друг мой, до свиданья!
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди. . .

Стихотворение окутано мраком тайны: к кому обращается поэт в свой последний час? Делаются разные предположения, подчас самые нелепые: начиная с Айседоры Дункан, с которой к тому времени у Есенина не было уже ничего общего, и кончая Вольфом Эрлихом, тогда молодым поэтом, которому Есенин сунул в карман пиджака стихотворение со словами: «Завтра прочитаешь». (Кстати, автограф этого стихотворения хранится у нас в Ленинграде, в Пушкинском доме.) Итак, к кому обращено последнее есенинское стихотворение? Вопрос до сих пор остается открытым, и я уверен в том, что прямого ответа, то есть имени адресата, вообще нет. Но я думаю, что мы можем и должны правильно понимать и воспринимать это стихотворение-завещание. Данные для этого у нас есть. Есенин не мог не знать стихотворения, написанного умирающим Н. А. Добролюбовым, в котором тоже восемь строк. Вот первая строфа его:

Милый друг, я умираю,
Потому что был я честен,
Но зато родному краю,
Верно, буду я известен.

Сравнивая эти стихи с есенинскими, видишь несомненную их связь. Речь идет даже не о внешних совпадениях: обращение к другу, даже один и тот же эпитет к слову «друг» — «милый», а о более глубокой внутренней связи. Гражданственность стихотворения Добролюбова, как говорится, налицо. Это не

удивительно в устах пламенного революционера, и никому не приходит в голову искать конкретного адресата. Совершенно ясно, что поэт обращается в своих стихах к другу — единомышленнику, товарищу по борьбе. Учитывая все сказанное, мы можем с уверенностью сказать, что и Есенин в своем последнем стихотворении обращается к самому верному другу — к своему читателю, другу его поэзии. Есенин всего себя без остатка отдал поэзии, и в последний свой час он обратил свои мысли к своему читателю, к тому, кто любит и будет любить его поэзию. Такое понимание стихотворения все ставит на свои места, и стихи уже не звучат так безнадежно пессимистически, как это может показаться сначала:

Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Да, для Есенина обещало. И она состоялась, и она не кончается, и никогда не кончится встреча великого русского поэта со своим милым другом — многомиллионным советским читателем. Ведь не в загробную же жизнь, в самом деле, верил и не о потусторонней встрече думал поэт. Я убежден, что именно так и только так следует понимать это стихотворение. Думается, эту мысль подкрепляет и то, что к безымянному другу обратился поэт и в «Черном человеке»: «Друг мой, друг мой, я очень и очень болен».

В этих заметках говорится о чтении стихов. Восприятие поэзии требует не только пристального внимания, но некой душевной расположенности, я бы сказал, открытости навстречу стиху. Восприятие стихов — процесс глубоко творческий. В этом смысле читать стихи нелегко. Поэт и читатель стиха — дети одной матери — ПОЭЗИИ.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПОЭТОВ

Какие книги и каких поэтов мы возьмем для этого разговора? Светлану Молеву, автора сборников «Подснежники» (Лениздат, 1967) и «Сто дней весны» (Лениздат, 1975), Наталью Пирогову, автора первой книги стихов «Колыбель» (Лениздат, 1975), Геннадия Морозова, автора сборника «Мещерский городец» («Современник», 1974), Виктора Максимова, автора книги «Открытие» (Лениздат, 1966). Наш разговор — не просто обозрение тематическое и не цикл маленьких рецензий. Далеко не все стихи, помещенные в названных книжках, могут служить предметом для подобного обсуждения. Да и книги, отобранные нами, очень разные во многих отношениях. Так что же объединяет их авторов?

Все они имеют малую родину: для Молевой это Псковщина, для Морозова — Рязань, приокские берега, Касимов, для Пироговой, хотя она родом из городка Кимры на Волге, родной стихов стала Новгородчина. И даже Максимов, в этом ряду стоящий несколько особняком, поэтически обязан дибунским лесам и «речным луговинам», до которых из Ленинграда то рукой подать. Но для нас, коренных горожан и по рождению, и по мироощущению, это все пригородная зона, зона отдыха, дачное место — загород, одним словом. Мы были лишены всего того, что так естественно и близко этим нашим поэтам. Наша малая городская родина — улицы, переулки, скверы, старые ленинградские дома с их проходными дворами, набережные и Заячий остров Петропавловской крепости. Небогато! Один молодой, сугубо городской по своему складу поэт поделился как-то со мной, что читает книги и статьи в популярных журналах о птицах, о травах, о жизни леса. Он сокрушался, что не знает и не различает птичьих голосов, видов трав и деревьев, что без обращения к словарям ему непонятны

многие названия деревенской утвари, орудий сельского труда. Я посочувствовал и промолчал, так как находился в таком же положении. Мне не стыдно, но обидно в этом признаться. Чувство зависти к тем, у кого все эти понятия на устах с детства, как для нас названия городских улиц, не проходит с годами, а становится острее.

Олег Шестинский, поэт, остро ощущающий тягу горожанина к миру деревни и природы, пишет так: «Город, мой давний товарищ, доли жестокий оплот, может, ты душу и старишь — разум пускаешь в полет». Шестинский отстаивает право коренного горожанина писать о земле, постигать ее умом и сердцем.

Светлана Молева теперь тоже горожанка, однако кровная связь с сельщиной не только не прерывалась у нее, но и укрепилась с годами. Для нее проблемы узнавания и постижения основ сельского бытия не стоит. В первой ее книге «Подснежники», покоряющей естественностью жизни и слова, мир кажется светлым и праздничным. Мир села на Псковщине, «где июли голубят лен». И муза приходит к ней «девочкой с берестяным лукошком». В стихотворении «Позабылось? Нет не позабылось...» она вспоминает, как родились первые стихи, как она «от слов нахлынувших оскому заливала молоком парным». Совершенно немислимый образ для истинного горожанина! И дело тут не в парном молоке, которого он не видит! Не сказать так, не выразить, да если и выразишь другим путем, то никто не поверит. В лучшем случае выйдет умелая стилизация. Чужую жизнь, как платье, не наденешь. А верится в поэзии только в свое. В «Подснежниках» радуется ранняя гармоничность стиха, цельность мироощущения, радуется, хотя понимаешь: автор этого достиг не благодаря глубине и широте познанного, а за счет того, что жизнь очерчена околицей, да и в этих границах широко раскрыты глаза юной псковитянки видят преимущественно светлые тона.

От гармонии детства до гармонии зрелости — дорога длинной в жизнь. Вот Молева приглашает читателя не в путешествие, а к себе в гости, на Псковщину, и хочет быть для него доброй и рачительной хозяйкой — все показать, ничего не забыть. Например, девчат в одеждах до земли, ведущих под гусли хороводы. Она зовет гусли, просит их вернуться из древности, просит совсем по-детски, но в том же стихотворении слышится уже иная, взрослая, что ли, тональность: «За-

бываем родное, большое, свое, разменяли на мелочь эстрады. Но когда долгожданный апрель запоет, ваши струны мне слышать надо!» А вот и первый поход за песнями к бабке, что живет в деревне из пяти домов. Бабка, хотя и любит песни («А песни были, вправду песни были. Власть перепето на веку моем!»), понимает дело со своим, крестьянским, уклоном: зачем собирать старые песни и писать новые, когда их-то на деревне петь некому? И дальше следуют примеры и про соседкиного сына, который подался на целину и про свою внучку Катьку, что тоже ушла на сторону. В этом стихотворении есть особой силы строка, за которой большое обобщение. Бабка в досаде на просьбу бросает: «А ты — про песни в самую страду!» Страда вообще понятие и конкретное, и многозначное. Да, пришла девушка к старухе в разгар жатвы. В этом правда. Но и то, кому нужны песни, когда их в деревне петь некому, — тоже большая правда. О том, что этих песен ждет город, как хлеба, бабка и не думает. Для нее песни, как и хороводы, и посиделки, — такая же неотъемлемая часть исключительно деревенского мира, как и времена года, и хозяйственный цикл работ. Стихотворение «В деревне — пять домов...» — одно из самых серьезных и пронизательных в первой книге Молевой.

В последнее время одно из самых распространенных слов в литературе — «память», особенно в литературе о войне. У Молевой в первой книжке тоже есть стихотворение «Память». Это, безусловно, память детского сердца, память деревенского детства, благодарного и отзывчивого. Память о стихотворении неожиданно становится синонимом родной стороны и родной деревни. Уже к ним обращается поэтесса: «Веселюю — не горевой, слезу свою звала росой. Ты пахла вскопанной землею и разогретою травой. Ты нас, шумливых ребят, учила ждать и верить сказке. О, сколько, сколько от тебя мы взяли радости и ласки!» И хотя это стихотворение расположено где-то в середине сборника «Подснежники», оно фактически и итог, и заключение первой главы творчества.

Второй главой явилась книга стихов «Сто дней весны», изданная спустя восемь лет после «Подснежников». Поэт стихи не датирует, но критик видит, что они старше, мудрее, серьезнее. Чем детство дальше, тем оно дороже. Взрослая память внимательнее к деталям, а из этих деталей собираются, синтезируются поэтические фабулы. Во втором поэтическом сборнике Молева впервые признается, впервые обращается: «Мой

город...» Город этот — Ленинград. Она называет его своим «необъятным домом», утверждает, что ленинградское «гражданство гордое» получила как награду. Ленинград она воспринимает прежде всего как город героической блокады: «Я не могу тебе помочь. Зато теперь со всей любовью твоей переболела болью. Счастливая, я — мира дочь!» И всё же чисто городские, ленинградские стихи Молевой пока еще слишком привычны, хотя и искренни. Несравнимо больше радуют встречи с ее традиционными стихами. Это и впрямь встречи — «Бабы в метро»:

Негаданно рядом родимый
пропел, прозвенел говорок:
платы — деревенское диво —
из тех, что накуплены впрок.
А здесь городские-то вон как!
Сапожки да мех дорогой!..
Идут мои бабы стороной,
как будто с планеты другой,
с планеты лесной, заселенной
радушным народом моим,
где смотрят глаза удивленно,
где исстари в моде дубленки
и вьется над избами дым...
Оглянется быстро прохожий,
девчонка толкнет на ходу...
Смотрите:
платы эти всё же
курносые да русые идут!
Вот так бы за сильные плечи
с налету вас всех обняла...
Вы, бабы, — как русские печи,
которым не жалко тепла.
А это тепло-то земное.
В большой оно нынче цене.
И что б ни случилось со мною,
А есть уголек и во мне!

Я процитировал полностью это стихотворение не только потому, что считаю его одним из лучших в сборнике, но и потому, что оно — словно маленькая антология чувств и взглядов Молевой как автора второй книги. Город, его быт, его приметы заставляют порою вспомнить родное, деревенское и заново его осмыслить. Было бы нелепо вывешивать на избе табличку «Берегите тепло». Цену этому теплу знает каждый деревенский житель в зимнюю пору. С этой табличкой повстречалась поэтесса в городе, и хотя вывод написанного ею восьмистишия — «и виной не зима, что за нами порой

остывают дома», — вывод обобщенный, устремленный в сферу нравственных жизненных коллизий, но исток у него по-прежнему деревенский. Так и слышишь за экраном стихотворения голос: «Дверь-то закрывай, избу застудишь!» Изба без печи — что человек без сердца. Завершает этот маленький триптих стихотворение «Покажи мне, как строится город...». Это маленький монолог на ленинградской новостройке. Давно ли здесь шумели рощицы, росли грибы, а теперь сам город справляет свое новоселье на отвоеванном им пространстве. Молодой поэт-горожанин вспомнил бы, как в детстве он катался здесь на лыжах, подумает он и о новоселах, судьба которых ему близка и понятна. И уж ему вовсе не придет в голову жалеть, как Молевой, «желтые листья, что впечатаны в черный гудрон». А поэтесса и тут не сможет не вспомнить о своей давней деревне:

А о крае о нашем березовом
что — не знаю — тебе рассказать...
Избы ставят там окнами к озеру,
чтоб у малых синели глаза.
И от веку у всех они сини!

Что ж еще о деревне моей? ...
Ваши улицы много красивей,
но у нас листопад веселей!

Это «у вас» и «у нас» никак не покидает давно уже городскую жительницу, и пока (скажем решительно) такое душевное состояние идет явно на пользу стихам.

Повзрослевшая память зовет на Псковщину, к своим землякам «со Псковы да с Великой реки», где «как грибы, у дорог деревеньки: Бережки, Сосновки, Борки», где «в черемуховых краях что ни девочка — это я, что ни в белом платочке баба — как две капли бабка моя». Родная земля — словно живая вода, она обещает поэтессе долгую молодость и счастье. Но в книге «Сто дней весны» главными оказываются не те стихи, которые продолжают, правда в несколько иной тональности, мотивы «Подснежников». Реальная деревня детства, то есть деревня середины 50-х годов, с ее трудностями и проблемами, с ее конкретно-историческими приметами, чего так недоставало ранним стихам, начинает проступать в стихах новых, прежде всего в цикле «Жили-были».

Двенадцать стихотворений — двенадцать картинок. С натуры ли? Скорее, по памяти, но ставшей резче и глубже.

Стихи по-прежнему светятся радостью, лаской, любовью, но это уже радость умиротворенная, тихая, а вовсе не бьющая через край, не замечающая никаких подробностей, как это было в «Подснежниках». Суровые краски вплетаются в эту спокойную цветовую гамму. Умерла бабушка, которую в другом стихотворении Молева величала «Василисою Премудрою», на панихиде соседи речь ведут «о зиме, о сене и о маленьком трудодне». Прежде зима воспринималась как праздник света и белизны, но, оказывается, у зимы в деревне есть и свое второе лицо — суровое, озабоченное. Быт семьи бабки и деда по-прежнему выступает для поэтессы главным. Но в отношениях между своими родными стариками она начинает видеть не только идиллическую любовь к своей внучке: «Проходила неделя. Наступала суббота. Мужикам-то веселье, а бабам — работа». Забота о «пьяном владыке» (слово-то какое точное!) — реальная женская судьба. Вот дед пришел в избу навеселе. Что взбредет в его буйную голову? Но бабка уже начеку: она быстренько прячет всякие тяжести и покорно ждет, пока муж протрезвеет, а потом старательно замоет тряпкой его следы у порога.

Иные поэты, пишущие о деревне, идеализируют абсолютно все, в том числе и семейный уклад, и деревенские моральные нормы. Этим поэтам усердно помогают и некоторые прозаики-деревенщики. Мне вспомнилось сейчас, как Иван Виноградов в своей повести «Его большое поле» справедливо показал и отрицательные стороны деревенского нравственного уклада. Он говорил и об обидных деревенских прозвищах, которыми порою награждают друг друга односельчане, и о более косном, чем в городе, быте, и об оглядке на молву, далеко не всегда справедливую, и о женском труде, если в городе двойном — на работе и дома, то в деревне уже и тройном — с добавкой работы по хозяйству. Однако проза есть проза. Она вся состоит из подробностей, и всякий подлинный художник правды и мастерства ради не может пользоваться одними лишь радужными красками. В иных же стихах полноводье восторгов заливают реальные поля, дороги и улицы деревень. Молева во второй своей книге рисует нам деревенские картины полнее и объективнее, однако диапазон тем на сельском материале остался почти прежним.

С годами у Молевой обострилась тяга к тому, что было так естественно и мило сердцу в деревенском далеке и чего так недостает ныне, например долгой и участливой душевной

беседы. . . Вот она дает стихотворению эпиграф из шуточной песни «У нас нынче суббота. . .» и вспоминает, видимо, совсем недавний свой приезд в родные края, банную субботу с ее нехитрыми радостями, с беседами с подругой за самоваром, в которых очищается душа: «Заварим чай старательно и станем слушать вьюгу, внимательны-внимательны, как в старину, друг к другу».

Хочется праздника на людях, веселого и распахнутого, словно сельская ярмарка, которой посвятила Молева одно из лучших стихотворений сборника «Сто дней весны». Какие-то есенинские струны сумела она вплести в свои строки — о восточных чудесах, что не краше, чем у нас на Руси, о дальних странах, мечта о которых лишь укрепляет любовь к своей стороне:

Кто же вновь мне рассказал
про глазуревы мечети
да раскосые глаза,
про неведомые сласти,
про восточные ковры? . .
Может, где-то наше счастье
среди цветенья Бухары?
Мы искать его не станем,
мы его не стоим глаз.
Бухара видала станы
постройнее, чем у нас.

В этих словах и напевность, и удаль, и гордая скромность. В прошлое и верится и не верится, но с ним все же так трудно расстаться даже в мыслях. «Неужели это я сама?» — удивляется поэтесса собственным же картинкам детства, из которых сам собою напрашивается вывод: «Бывает и домой вернуться — поздно. Мы только в том признаться не хотим». Но этот вывод не главный и не единственный. В стихотворении «Память», завершающем цикл «Жили-были» (опять — «Память»), Молева обращается к своей малой родине, возвеличивая ее, словно Родину большую: «О родина — страна чудес — и явь, и небыль; и былина. . . Средь горя нас растила ты, на милость не надеясь божию. Но упрекнуть тебя не можем, что мы не знали доброты!»

Городские поэты часто и порою слишком заученно повторяют во многих своих стихах слово «Россия». Она им видится то картой, то просторами за окнами поездов, и невдомек им бывает, что вон в той деревеньке, только что промелькнувшей в окне, живет и слышит, как слагаются в первые строчки

песенные слова, юный еще человек, который знает и понимает сельскую Россию основательнее, серьезнее, чувствует ее проникновеннее, видит пронизательнее. Путь от частного к общему искусству роднее, он чаще сулит художественные удачи, он естественнее, хотя и не является единственным, как мы хорошо теперь уже знаем.

Вторая наша поэтесса — Наталья Пирогова со своей первой книгой «Колыбель». Колыбель ее — Волга, но вырастила ее Новгородчина. Пирогова сейчас во многом невольно повторяет темы, мотивы, тональность «Подснежников» Молевой. Это не упрек. Просто лишнее подтверждение закономерностей, вызванных и временем, и родственностью биографий, и особенностями женской лирики (все же такая есть, что ни говори!). Стихи Пироговой немного наивны, порою робки, излишне, даже с точки зрения женской лирики, сентиментальны. В них сильно детство, с которым поэтесса не борется, а иногда даже его культивирует. Порою такой нарочито детский подход хорош: «Я березке улыбнусь, в пояс речке поклонюсь. Я лазоревым цветам поцелуи все раздам».

Сказочные образы, верные спутники детства, у нее возникают то здесь, то там. Сосна у нее берендеева, во ржи видится витязь, правда чумазый, что снижает его сказочность. Но нет-нет да брызнет ослепительный образ в обычной стихотворной зарисовке: «В круг берез-ровесниц встану, в их веселый хоровод. Заплетать в их косы стану алой лентою восход», «новостей наберу и воды из колодца», «руль блеснул в покое прощальном под рукой кольцом обручальным», «в белотканной рубахе мороз из ковша насыпал нам звезд, и луну, как бочонок меду, ночь катила по небосводу». Ей, как Молевой, хочется услышать звон гуслей, настроить на их лад свою струку.

Со стихотворения «Гусли» начинается у Пироговой история, пусть даже легендарная. Но об истории потом. В том же восьмистишии и другая тема — тема творчества. Оставим на совести автора эпитет «неплохо» — неплохо, оказывается, играл Садко на гуслях. Садко играл на них в бытине так, что его звуками был пленен весь подводный мир! Искусство сделало его волшебником. Пирогова пишет в своих стихах: «И эти строки — тоже струны, что протянулись от Садко». Будем надеяться, что она здесь имеет в виду традицию, а не уровень мастерства. С такой точки зрения декларация уместна и заслуживает поддержки.

Русскую деревню Пирогова так и не увидела. Она увидела ее природу и попыталась выразить свое искреннее ею любованье. Ленинград тоже промелькнул в ее книге почти незамеченным. Расставание с деревней для нее прошло легче, чем у Мелевой, без дорогих сердцу подробностей, без тяжелого вздоха прощания, который нет-нет да слышится в стихах «Ста дней весны». Родные места говорят с ней лишь в «Письме от деда». Хорошее стихотворение, одно из лучших в книге «Колыбель». Оно грустное по-стариковски, достоверное по языку, чувству, интонации. Проблему же выходцев из деревни, нынешних горожан, Пирогова и ставит и решает заведомо упрощенно. Получается так, что те, кто «стали медиками, машинистками, стали в клубе своим артистками» (речь идет, как видно, только о женщинах), мечтавшие в детстве «покататься на сеялке», «пахарями не ставшие, пуповиною связаны с пашнями». Вот тебе и раз! Во-первых, какая уж тут родственность пашням, если медиками и даже машинистками можно быть и в своем колхозе или совхозе — с такими профессиями вовсе не обязательно уезжать за тридевять земель! А что касается артисток в своем клубе, так это же самодеятельность. Как говорится, милости просим, на селе только рады будут своим танцорам и певцам. И во-вторых, вот если бы в детстве хотелось не покататься, а поработать на сеялке, тогда бы вывод поэтессы звучал убедительнее. И, наконец, в-третьих, в десятистрочном своем стихотворении Порогова и сама запуталась, и читателей запутала, тему любви к родной земле невольно подменив темой выбора профессии, из числа тех, что вполне применимы и на селе, даже необходимы ему.

Следующий — Геннадий Морозов со своей Рязанщиной, которую он покинул уже взрослым парнем, успев не только по возрасту «пройти сквозь войну», испить чашу немудреных сельских забав, игр и радостей, но поработать вволю в своем крае. В нашей поэзии редко встречаешься с воспеванием тяжелого физического труда, что вполне объяснимо: техника пришла человеку на помощь, техника пришла и в стихи, — правда, чаще она лишь названа, опoэтизировать союз человека и машины мало кому удается. Ф. Кузнецов в брошюре «Судьбы деревни в прозе и критике» отмечает очеркиста Е. Лазарева, который сумел передать на жатве настоящий, по словам критика, «пир техники». Нельзя забывать и того, что панегирики труду до ломоты в костях могут встретить у читателей, особенно старшего поколения, и неприятие: а сам-то

поэт знает, почему фунт лиха? И все же живет в народе любовь к большой физической силе, удалству, выносливости. Нет тут никакого противоречия, если все в меру, по желанию, по радости. Морозова бы не смутил вопрос пристрастного читателя. Он и на строительстве дороги работал так, что потом «спал на земле, как ратник, раскинув кулаки», и баржи разгружал на Касимовской пристани, и день творенья он воспринимал не иначе, как день, который в работе прожит не зря:

Рубашка от пота слипалась.
Я думал, что сердце сорву!
Я думал: «Споткнусь — и сломаюсь...»
Но нет, не сломался — живу!
Судьба еще с ног не свалила...
Рабочий буксир мне гудит!
И юности ярая сила
клокочет во мне и кипит!

Он может быть резким, порывистым, молодецким — и нежным, задумчивым, озадаченным и удивленным чуть ли не одновременно: «Я выйду за околицу в заокские луга... Ой, сердце как заходится, как птица по кругам! И я стою растерянный, затерянный, ничей... Овеянный, взлелеянный родиной моей!..» С деревенской родиной (а город Касимов близок окрестным селам и жизнью во многом неотделим) расстался он просто, по-деловому, будто собрался в очередную экспедицию, но духовные связи не потеряны.

Традиционный мотив возвращения в родное село звучит у Морозова без диссонансов. Привычное дело — не раз возвращался и солдатом на побывку, и с работы, да и сейчас каждый приезд в радость. И в Ленинграде, за сотни километров от Оки, поэт обращается к малой своей родине, видит ее облик в разные времена года: «В моем краю сейчас светло и сухо. И день высок, и ночь, как смоль, густа... Стоит сентябрь, едва касаясь слуха, и на ветру чуть брезжит береста». С малой родиной он не расстается и не расстанется никогда. В конце концов, понятия «малая родина» и «место жительства» могут в судьбе и не совпадать. С родными местами он не прощается, как не прощается он и с земляками, которым шлет в стихах сердечный поклон: «за то, что привечали, что вами был любим — поклон односельчанам, товарищам моим». Очень уместно и точно прозвучало здесь слово «товарищи» — слово «земляки» более, что ли, пассивное. Товарищи по жизни они, товарищи по труду, хотя и не традиционно крестьянско-

му — тружеников земли в собственном смысле этого понятия Морозов в своих стихах еще не показал, да и новую деревню он увидел пока еще в приметах внешних, в том, что телевизионные антенны украсили избы, «с фундаментом каждого дома смоленое слилось бревно» и «ржавую скатку соломы стропила стряхнули давно».

Что правда, то правда — меняется «сельщины лик» на Рязанщине. Я это тоже видел своими глазами, когда ездил в 1965 и 1970 годах в есенинское село Константиново, которое совсем недалеко стоит от города Касимова и его окрестностей. Но процессы этих перемен сложны, многосторонни. Их не так-то просто разобрать даже в очерке, что уж говорить о стихе! Отчего же Морозов в стихотворении «А осень, подобно пилоту...» пишет об «озабоченном виде избы»? Стихотворная, литературная традиция? Психологически справедливое утверждение вечных забот труда на земле, где нет места праздности и успокоенности? Или же заслуживающая всяческого поощрения тревога за нерешенные проблемы — ведь одно лишь распространение телевизоров и модных городских сапог их не снимает автоматически? Думается, что в данном случае все три вопроса одновременно и ответы на них. Глубокую «поэтическую вспашку» современной сельщины Морозов еще не проводил, но об этой «вспашке» пора нам всем крепко подумать.

Наконец, несколько слов о Викторе Максимове и его первой книге «Открытие» в свете нашего разговора. Первый раздел, «За островом Буяном», открывавший древнерусскую и фольклорную тему в творчестве поэта, начинался не за тридевять земель и не в дали веков, а под Ленинградом, «на равном расстоянии от полюса и Полесья», где «за Дибунами встают на дыбы над речной луговиной» древние валуны, «мрачные пасынки ледника», где славные легкие рощи, где можно просто идти и «солнце на земле искать».

Мира деревни, сельщины, современного села с его трудом и заботой мы у Максимова не найдем, но мы не можем и недооценить того значения, которое имел, так сказать, «доленинградский» период в поэзии Максимова. Тогда он лицом к лицу встретился со скупой, но по-своему прекрасной нашей природой. Пригородная тишина (а кто с точностью скажет, где она берет свое начало?) позволила лучше расслышать первые стихотворные слова, приучила к неторопливости и сосредоточенности. Ленинград Максимов понял и почувство-

вал не тогда, когда студентом встречал весну на Университетской набережной, а когда поселился в старом, типично ленинградском доме на Петроградской стороне и написал спустя годы лучшие свои стихи о дне сегодняшнем — «Дом» и «Комната с часами», стихи о ленинградцах, переживших блокаду и победивших ее невзгоды духовно, о людях скромных, может быть неприметных, но исполненных гордого достоинства.

На общем фоне древнерусской темы в нашей поэзии 60—70-х годов стихи циклов «За островом Буяном» и «Степные гулы» (сборник «Встреча») привлекали к себе внимание прежде всего явственным военно-патриотическим началом и стремлением услышать голос защитников Отечества, чтобы яснее ощутить духовное с ними родство. Что касается языка, то это предмет особого разговора и о прозе, и о поэзии. Скажу только, что в исторической прозе пока успехов в этом направлении больше. Особенно плодотворной мне представляется работа Д. Балашова, включившего в роман «Господин Великий Новгород» элементы живой древнерусской речи по материалам новгородских берестяных грамот. У Максимова к лучшим стихам на древнерусскую тему можно отнести «Балладу о князе Владимире» и «Слова». Баллада радуется конфликтностью, драматургическим подходом (это, по сути дела, маленькая историческая сценка, построенная как диалог), сложностью проблематики и емкостью содержания.

Мы часто слышим: родная красота обеднеет без церквей, без них и небо ниже. Действительно, российский пейзаж, пейзаж сел органически слился с творениями известных и безымянных строителей церквей и церквушек, среди которых, особенно на севере и в средней полосе, немало подлинных шедевров. Мы обязаны сохранить эти архитектурные шедевры, прославляющие талант человека. Но порою происходит незаметная подмена понятий, очень часто невольная, а иногда и сознательная. Как мало мне приходилось читать стихов, в которых авторы ставят перед собой цель выразить полет мысли архитекторов, передать их стремление к гармонии, совершенству, в которых сопрягаются талант и труд, красота и мера, как это делал в исторических стихах и поэмах Д. Кедрин. Куда чаще мы встречаемся с тем, что точно подметил Ф. Кузнецов в стихах В. Яковченко: «. . . безответственное кокетничанье сусально-церковной фразеологией, постоянное обращение к церквам, куполам, молитвам и прочей атрибутике православия, выдаваемой за символ России, за что-то будто бы дорогое

и близкое народу, русскому крестьянству, противоречит исторической правде». ¹ Ф. Кузнецов уместно в контексте этого замечания вспоминает письмо Белинского к Гоголю, оказавшееся и в этих тезисах актуальным.

Отчего же мы связываем историческую тему с темой деревенской? Разве не пишут городские поэты об истории? Пишут, конечно. Но какие и как? Мы не говорим о мастерах и классиках, в распоряжении которых помимо таланта простор жизненных наблюдений и встреч и всеобъемлющая эрудиция. У большинства городских по рождению и мироощущению поэтов, вступающих в литературу, историческая тема проступает в эскизах, в набросках, беглых зарисовках как поэтический комментарий путеводителей по родному городу и по стране. Даже краеведение — и то глубже и обстоятельнее, а к краеведению в малых и средних городах отношение более уважительное, всякая подробность драгоценна. На селе и в малых городах живы «преданья старины глубокой», да и доносятся они до молодежи не монотонным голосом экскурсовода, вечно спешащего и мало что успевающего «охватить», а устами односельчан, земляков, зачастую в своеобразном, глубоко личном преломлении. Морозов пишет, что на окских просторах «родина шире видна». Шире видна и история. Но это не значит — глубже. Это не значит, что исторический интерес оплодотворен и укреплен серьезной исторической наукой, что, по всей вероятности, представляет собой уже новую, качественно более высокую ступень в творчестве вообще.

Изо всех названных четырех поэтов после Максимова, пожалуй, лучше всего обстоит дело с исторической темой у Пироговой. Ее исторические стихи бесспорно укрепили первую ее книгу, сделали ее серьезнее и весомее. Более того, как мне кажется, именно в исторической теме она смогла себя выявить творчески с наибольшей полнотой. Если стихи о Суворове и дочери его, знаменитой Суворочке, еще наивны и неглубоки, то стихи «Я на холм по старому парку...», «Черемуха», «Почему не замерзает Волхов», «Коромыслова башня» — заметное явление. Самое ценное то, что к нашим дням в них «поднимаются люди простые из глубин векового преданья». Слишком часто у нас отождествлялась историческая личность с князьями, царями и полководцами. Она наделялась prerogativami

¹ Ф. Кузнецов. Судьбы деревни в прозе и критике. М., «Знание», 1975, стр. 58—59.

творцов истории. И потому большая радость и в исторических повестях и в исторических стихах — встреча с людьми из народа. Зеленый холм, о котором пишет Пирогова, — «зеленый мавзолей» сотен крепостных. Не так ли строились и создавались парки Павловска и Пушкина, да и сам город на Неве, который, по словам Олега Цакунова, «стоит на мужиках, как на сваях, загнанных в болото»! На их могилах нет даже крестов: «не кресты это — крепостные Никаноры, Иваны, Дарьи». В слышимой внутренней рифме заключена взрывчатая сила — крест крепостничества, осененный крестом веры.

На другом холме, Нередицком у Волхова, поэтесса увидела, что восемь веков испытаний вынесла только черемуха, а «знаменитая церковь Спасителя и сама себя не спасла». После страшной битвы и пожаращ давным-давно расцвел черемуховый куст на месте битого камня и золы. В маленькой поэтической зарисовке большой смысл: и сила власти (ведь князь Ярослав себя славил церковью), и сила веры меркнут перед ходом времени и силой природы. Жаль чуда рук людских — церковь-то была словно высечена «из огромного кома снегов», но ведь в старину церкви превращались народом в крепости перед лицом вражеского нашествия, и становилось «святое» место полем боя.

Почему назвали на Волге одну из башен Коромысловой, хотя ее надо назвать было Алениной, по имени народной дочери, носившей воду в осажденный русскими город и погибшей в неравной схватке с захватчиками, — спрашивает поэтесса своим стихотворением. Тогда еще одно народное имя было бы увековечено. Это единственное сюжетное стихотворение у Пироговой, и, надо сказать, она справилась с трудностью повествования, не потеряв за описанием красочности образного общения. Метко сказано: «Кровь великая — плата за воду», «Коль такие в нем (в городе. — *Н. С.*) красны девицы, то какие же добры молодцы?!». В тридцати шести строках запечатлелись и судьба, и характер, и, правда, контурно, година народного горя и борьбы с ханским войском. Когда это было и где — точно не сказано. Легенда не только послужила толчком для стихотворения, но и составила его содержание, а легенда — не хроника давних лет, не страница из летописи.

В книге «Подснежники» у Молевой есть несколько исторических стихотворений. Два из них имеют подзаголовки — «Перед картиной В. Сурикова», «Перед картиной В. Васнецова».

Это, скорее, поэтические комментарии с изрядной долей вымысла, за которым не ощущается освоенного материала.

Стихотворения «Истоки» и «Лобное место» написаны на одном дыхании, искренне, звонко, но проигрывают опять же из-за обилия общих слов, которые можно было бы произнести и по другому поводу, хотя названы и «безъязыкие колокольни» на берегу реки Великой во Пскове, и Лобное место на Красной площади. Места знакомые, в том числе и по литературе, и о них хочется услышать непременно новые слова.

Да, все же прошлое лучше видится на просторах — рязанских ли, псковских, новгородских, где обостренный поэтический слух может уловить мотивы разных лет и столетий в оратории, в которой ведущую партию исполняет природа. Только слишком уж одинаковым предстает в стихах наших поэтов пейзаж разных русских земель! Нашим поэтам пока недостает живописности, умения говорить не о природе русской вообще, а о своей именно природе.

Своеобычна природа русских областей. Своеобычен их язык. Интерес к своему, местному говору проявляют, правда в разной степени и с разной степенью успеха его используют, и Молева, и Пирогова, и Морозов. Максимуму ленинградские пригороды не могли, конечно, дать подобную языковую пищу для творчества. Он обогатил лексику за счет древнерусской литературы, «Слова о полку Игореве». Не всегда уместны включения в стихотворную строку элементов местного говора и у Морозова. Пожалуй, лучше других знает и чувствует особенности речи псковичей Молева, она говорит, не сгущая красок языкового колорита, не стремясь к заведомой нарочитости, подобно иным поэтам, пишущим о деревне. Лишь изредка, и чаще в речи героев, она сознательно собьет ударение, скажет так, как на Псковщине произносятся. И, надо подчеркнуть, она соблюдает в этом меру. Вот почему ее «гожа», «кидь», «хвать», усеченные прилагательные и возвратные глаголы на «ся» не раздражают, а воспринимаются как естественные элементы народно-поэтической, песенной лексики, имеющие, безусловно, ограниченное применение — далеко не в каждой теме. Все, как и всегда в искусстве, здесь зависит от меры, вкуса. Пирогова диалектной лексикой не пользуется, но народный синтаксис она слушает внимательно и старается, где надо, его передать, что, в общем-то, совершенно необходимо в поэзии, в литературе — иначе будет нарушена психологическая достоверность.

Есть у Пироговой стихотворение с большим зарядом интернационализма — «Просьба якутки». У старой якутки сын погиб на озере Ильмень в Великую Отечественную. И просит она новгородцев: «Пришлите воды из Ильменя, в свое озерко ее вылью и дам ему то же имя — пусть рядом плещется Ильмень. . . Пришлите воды из Ильменя, где сын захлебнулся огнем». Это стихотворение особенно порадовало меня, и мне хочется пожелать Пироговой не оставлять такое произведение в своем творчестве единственным.

Четыре поэта. Четыре судьбы. Пять книжек, из которых четыре были первыми. А каким широким оказался материал, сколько вопросов и проблем он позволил поднять, какой обширный временной и географический пласт оказался охваченным! Книги эти были сами по себе, а вот встретились друг с другом — и обнаружили закономерности; сравнение и сопоставление не только не умалили значения работы каждого из авторов, но, напротив, обнаружили то, что естественно могло пройти мимо в частных отзывах на каждую книгу в отдельности. Родина детства — источник стихов. . . Как говорил Есенин, «ищите родину! Вот у меня — Рязань!».

Николай Сотников

ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ

В последние годы заметно усилился приток свежих, молодых сил в ленинградскую поэзию. И — что знаменательно — целый ряд ярких, самобытных авторов выдвинулся из гущи рабочей среды. В полный голос заявили о себе мастер-обувщик со «Скорохода» Анатолий Белов, недавний моряк, а ныне военнослужащий Владимир Головяшкин, автомеханик Валентин Голубев, штурман Ту-104 Григорий Калужный, кочегар Иван Пономаренко, инженер Андрей Романов. Их творчество во многом определяет лицо молодой ленинградской поэзии. По их стихам четко прослеживается трудовая биография современника, круг его мыслей, забот, стремлений. Именно в стихах этих авторов находишь отражение громадного созидательного содержания нашей эпохи, ее существеннейшие черты и подлинную поэтическую суть.

Сокровенные чувства поведая,
все, как есть, говори напрямик,
Мы из тех, кто отцовской Победой,
как своею, гордиться привык.

Так пишет молодой поэт А. Белов, выражая не только свои думы, а мысли и чувства послевоенного поколения.

Характерной особенностью нынешней молодой поэзии является широта, масштабность мышления авторов. Поэтов интересует буквально все, что только может насыщать подлинным содержанием жизнь сегодняшнего человека. Вот почему в их произведениях наряду с близкой им рабочей темой, поэтическим осмыслением производственных дел, читатель находит и раздумья о судьбах людских, и чисто лирические строки, и глубочайший анализ интимных человеческих состояний. Хорошо сказал об этом Валентин Голубев, выступая в ноябре 1975 года на Пленуме обкома ВЛКСМ:

— Я люблю ту рабочую атмосферу, которая воспитала меня, в которой живу. Она дает мне возможность чувствовать себя человеком, уверенным в завтрашнем дне. И хотя у меня почти нет стихов, непосредственно касающихся производственного процесса — я поэт лирического склада, — все же стараюсь, чтобы читатель почувствовал: кто мой лирический герой, к какой социальной среде он принадлежит.

Обратимся к стихам Анатолия Белова, Валентина Голубева и Григория Калужного — поэтов, не только активно печатающихся, но и подготовивших к изданию рукописи своих первых поэтических книжек.

Анализ творчества Анатолия Белова мне хочется начать с небольшой стихотворной цитаты, в которой нашло выражение философское восприятие поэтом действительности как неразрывной связи времен. Его лирический герой ощущает себя неотъемлемой частицей «сообщества людей»:

В тридцать лет иду по Ленинграду...
Чувствую отчетливо вполне:
Будущее движется навстречу,
Прошлое в затылок дышит мне.

Пишет ли молодой автор о старшем товарище («Обувщика»), или обращается к ровеснику, читатель сразу входит в мир идей и мыслей созидательной личности. Поэт на стороне тех неугомонных людей, «кто в солдатском строю — запевалой», кто берет на себя груз ответственности, готов щедро дарить тепло своей души. Лирический герой активен, утверждает

себя и в дружбе, и в своем ремесле. Он готов «рискнуть судьбой, надеясь на удачу, но более надеясь на себя».

Если вспомнить рабочую лирику прежних поэтических поколений, то строй стихотворной речи, сам стиль мышления А. Белова существенно отличается от опыта его предшественников. И прежде всего тем, что в стихах молодого поэта меньше места отдано внешнему описанию процесса труда. Поэт открывает нам внутренний мир современного рабочего человека, его духовные искания, поднимает значительные этические проблемы. Лирический герой А. Белова — это человек высоких душевных качеств и поступков. Творческое отношение к своему труду помогает ему осознать себя самобытной, ищущей личностью. И эти качества, развиваясь, находят выход в стремлении во всеуслышанье поведать о себе. Так начинает жить стихом ленинградский рабочий Анатолий Белов. Поэту важно уловить и зафиксировать в слове и образе пробуждение творческого начала в современном человеке-труженике.

Обращаясь к истокам своих собственных поэтических устремлений, он пишет в стихотворении «Двенадцать лет тому назад»:

Я повторял чужие строчки,
о утраченном скорбя.
Я, как побег в осенней почке,
еще предчувствовал себя.

Вот это «предчувствие себя», стремление разобраться в своих поступках и желаниях, «дойти до сути» — пожалуй, одна из характернейших черт молодого человека нашего времени. И сам А. Белов своими стихами лишней раз подтверждает это. Проходят годы, лирический герой поднимается все выше по ступеням знания, но, как и прежде, с той же остротой его мучают вечные вопросы бытия, с тем же упорством он ломает над ними голову. «Наша жизнь — нерешенные дробы», — восклицает поэт в стихотворении «Корень души», подводящем некоторые итоги этим поискам.

А. Белов родился и вырос в глухой деревушке на Селигере, вот почему целый цикл стихотворений является по сути своей лирическими зарисовками памятных с детства мест. Как правило, они исполнены высокого и точного поэтического содержания, обогащают наше представление о духовном мире современника. Чтобы убедиться в изобразительном мастерстве молодого поэта, достаточно перечитать «Письмо из июля», «Цвети, черемуха, цвети», «Селигер зовет».

Видимо, эта глубокая привязанность к родным местам, впечатлениям детства помогла А. Белову написать такое глубокое, по сути своей эпическое, если так можно выразиться, стихотворение «Егор Заречный». Поэт создает полнокровный, запоминающийся образ простого русского человека, дает его в развитии, подчеркивает единство отцов и детей. Видимо, эти же родные корни помогли столь успешно справиться с историческим материалом, найти тот удивительный размер, которым написано стихотворение «Из варяг в греки».

Заинтересованный, масштабный разговор о прошлом и будущем, пристальный взгляд в сегодняшний день требуют от поэта напряженной внутренней работы, глубоких знаний. Вот почему он готов «старинной прозы целые страницы заучивать ночами наизусть».

Для Анатолия Белова желание выразить себя в стихе — не сиюминутная прихоть, а глубокая внутренняя потребность. Он знает жизнь, знает своих товарищей «по делу», ему есть что сказать читателю. И он говорит ярко, сочно, в присущей только ему одному поэтической манере. Поэту не нужны «поблажки», в нем живет гордость рабочего человека, умеющего преодолеть любые трудности и преграды, стремящегося своим умом дойти до осмысления сложнейших вопросов бытия. Обращаясь к ровеснику, он пишет:

Не беда, если выпал плохо, —
не для нас протрубили отбой.
Не такая простая эпоха
породнилась со мной и с тобой. . .
Мы из тех, кто компанией вялой
в никуда под гитару не плыл,
кто в солдатском строю — запевалой,
а на стройках монтажником был. . .

Когда читаешь стихи Валентина Голубева, прежде всего бросается в глаза их почти живописная пестрота. Будто ты попал на лесную поляну летним днем. Молодой поэт работает в русле песенно-фольклорной традиции, начатой в русской поэзии еще Алексеем Кольцовым.

«В краю лесов», «Праздник», «Как постарела за зиму земля», «Гроза», «Свадьба» — это очень яркие, сочные зарисовки деревенского быта, пейзажа. Они пронизаны добром, полны радости.

Зима на родине моей
На птицу белую похожа.
На кромке розовых полей
Поземка рожицу треножит.

Лирические зарисовки Валентина Голубева точны и достоверны, написаны искусно, с большим чувством. Чтобы достичь выразительности и глубины, поэт насыщает свой язык разговорными интонациями и словами, заимствованными из живой народной речи. Это весьма плодотворный путь. Достаточно вспомнить о том успехе, который выпал на долю поэтической прозы Федора Абрамова, основанной на речевых традициях и говоре пинежских крестьян. Но у молодого поэта просторечия далеко не всегда так уместно и естественно вживаются в ткань его стихов, как хотелось бы. Частенько ловишь себя на мысли, что поэт теряет чувство меры, не может избежать сусальности, нарочитой красивости. Из-за этого отдельные стихи воспринимаются в лучшем случае только как своеобразные поэтические упражнения.

Вот почему, отдавая должное мастерству В. Голубева — пейзажиста и бытописателя, необходимо признать: подлинный успех приходит к поэту лишь тогда, когда ему удастся соединить лирическое, фольклорное начало с содержанием, подсказанным сегодняшним днем.

Тогда рождаются «Мастер», «Холодный день», «Метель времен», «Парламентер». А Белов в гражданских стихах ставит проблемы личности, говорит о необходимости саморазвития. В. Голубев идет дальше. Мало остроты чувств, он требует от читателя социальной активности, ответственности человека перед обществом. Его стихи зачастую становятся гневным упреком тем, кто уходит в себя, кто лишь философствует, стремится брать, ничего не отдавая. Говоря об этом, поэт апеллирует к памяти героев, его вдохновляют «Гагарина веселое лицо, чуть грустная улыбка Комарова». В гражданской лирике В. Голубева появляются удивительно емкие поэтические образы:

Герои не успели постареть...
Они ушли в тот вечный переplав
Лугов с цветами, пашни с перегноем,
Зеленою ракетой отпылав,
Последнею, сигнальной перед боем.

Лирический герой молодого поэта ощущает свое кровное родство с этими людьми, чувствует себя продолжателем их славных подвигов и дел:

Мне выпал жребий, жизни дар:
Когда для гроз настанут сроки,
Чтоб на себя принять удар,
Быть самым деревом высоким!

Призыв «быть самым деревом высоким», «идти на линию огня» прочитывается в стихах В. Голубева однозначно, как требование «жить страстями и идеями времени», заботами народа. Вот почему такой гневный отпор вызывают в его душе приспособленцы и рвачи всех мастей.

В его стихах находит выражение светлая вера, «не та, что нас к земле прижала, а та — что в небо подняла». Поэт декларирует великую, дерзновенную веру неспиаемых, сильных духом людей. И поэтому как поэтическое кредо звучат строки из «Парламентера», в которых В. Голубев воспевает нашу советскую действительность, общество, «где война людским карается законом». Лирический герой этого, может быть, лучшего стихотворения В. Голубева обращается к землянам со словами мира:

За то, что дождь любил, и снег,
И солнце на полях отчизны,
За то, что был азартней всех
В любви, труде и жажде жизни, —
Идти на линию огня
Я избран был среди достойных.
Все пушки разрядив в меня,
О люди, прекратите войны!

Поэт добивается удивительного сплава интимного, личного начала с пафосом подлинной гражданственности. Этот монолог, полный лиризма и в то же время драматический, даже с нотками трагизма, не может оставить читателя равнодушным. Вот почему возникает убеждение, что будущие достижения и находки молодого поэта ожидают его именно в гражданской лирике. Зажигаясь большим содержанием, В. Голубев преодолевает игру в слова, подчиняет технику стиха главной задаче поэта — «глаголом жечь сердца людей».

Уже первое стихотворение Григория Калюжного «Сом», появившись на страницах журнала «Аврора» три года назад, привлекло внимание читателей. Помимо многоплановости содержания и живописности в произведении двадцатипятилетнего поэта были своя интонация и редкая для дебюта углубленность мысли. Стремительный ритм и метафоричность «Сома» вызвали в памяти поэтический рисунок Павла Васильева.

Последующие публикации начинающего автора расширили представление о творческих пристрастиях, собственных поэтических установках, углубили наш интерес к его стихам.

Почти сразу оформилась главная особенность его творчества — неразрывная связь поэзии и «небесного» ремесла.

В наши дни многие поэты «клянут» технику, противопоставляя ей живую природу, красоты сельщины, именно там ищут вдохновения. Калюжный утверждает свою музу: «И, словно мама, авиация мне помогла». Профессия штурмана, одна из сложнейших технических профессий нашего времени, помогает молодому человеку осознать себя поэтом. Кроме того, летняя практика научила собранности, твердости, решимости. Она помогла найти свой угол обзора, на многое «посмотреть свысока». Все это вылилось в те впечатления и жизненный опыт, без которых не может начаться поэт. Понимаешь пафос в стихотворениях, посвященных «летному стажу», профессии: «Хвала всем облакам, аэродрому. В крылатом смысле слова он — Парнас!»

«Первый полет», «Алма-Ата, Ташкент, Сухуми, я спутал вас. . .», «Над Ладогой» — эти и другие стихотворения Г. Калюжного дают читателю прочувствовать трудную, романтическую профессию авиатора, но вместе с тем заставляют глубже задуматься над «земными» проблемами. «Самолет для меня орудие, посредством которого познаю мир», — признавался Сент-Экзюпери. Эти слова в полной мере могут быть отнесены и к творчеству молодого поэта. Ведь каждое новое стихотворение Г. Калюжного — это, как правило, еще один штрих, фрагмент лирической исповеди поэта и пилота.

В своих стихах он рассказывает о великом братстве авиаторов, где нет места индивидуализму, где интересы одного человека подчинены общей задаче. Экипаж — содружество индивидуальностей, сплоченный работой коллектив. Вспоминая годы ученичества, поэт пишет о трудностях роста, о «ежовых рукавицах», в которых «держал семейно экипаж», о «диспутах» с командиром. По сути дела автор на своем материале размышляет о взаимоотношениях «отцов и детей», так же, как А. Белов и В. Голубев, утверждает необходимость для молодых «братья уроки очно» у старшего поколения. Поэт пишет о своем командире:

Он объяснял мне, как по карте,
И обводил места кружком —
Где был я слеп,
Где недоучен,
Где с экипажем nelaды,
Где, словно лодка без уключин,
Ходил я около беды.

Так воспитывалось в нем чувство ответственности, гражданское самосознание. Позже, когда пробудится «дух творчества», он ощутит необходимость рассказать о своих товарищах, наставниках. «Писал я вороха четверостиший о том, что нелегко в душе ношу. Друзья шутили: «Вдруг о нас напишет!» Мне было страшно — вдруг не напишу».

Стихи Г. Калюжного насыщены образами, сохраняют изящество и легкость. Кроме того, в них есть подлинная философская глубина, второй план, без которых стихи выглядят лишь яркими безделушками. Поэзия молодого автора полна серьезных раздумий о жизни, о своем послевоенном поколении. И хотя больше тридцати лет уже прошло со Дня Победы, память сердца поэта полна признательности победителям. В стихах о войне он нашел свои слова, свой срез. Особенно удачно стихотворение «Мне безымянная приснилась высота...», написанное от первого лица. Горстка советских солдат окружена врагами, сейчас будет последний бой, неравный... Но мысли лейтенанта, лирического героя стихотворения, оптимистичны, он верит в конечную победу, в своих солдат.

Не надо им о долге повторять,
Перечислять тяжелые утраты...
Ничем нас у России не отнять.
Спасибо ей,
Что мы ее солдаты!

Г. Калюжный много работает, чувство ответственности, стремление к совершенству заставляет его переписывать стихи десятки раз. Только в поисках «великой, главной простоты» видит он свою цель, и это помогает победить «усталость». В споре с поэтами-сверстниками он формулирует свои взгляды на творчество:

Не верю я в расслабленные строчки,
музейную немую красоту,
в которой нет пространства после точки,
которая не срежет на лету...

Стихи Г. Калюжного проникнуты большой верой в человека. Вот почему без оглядки, с непосредственностью открывает поэт свой внутренний мир. Стихотворение «Яснеющие сосны в синеве...» поражает не только глубиной и выразительностью, но, пожалуй, прежде всего беспредельной искренностью, обнаженностью чувств.

Конечно, некоторые стихи Г. Калюжного, как и других молодых поэтов, не свободны от недостатков. Порой они длинные, встречаются слабые, неуклюжие строчки. Но эти беды преодолимы. Что же касается неприглаженности, некоторой «ершистости» его поэтической речи, то это едва ли можно считать недостатком. «Непричесанность» и придает тот аромат, то своеобразие, которыми отмечены лучшие стихи молодого поэта.

Сердце поэзии в ее содержательности, считал Николай Заболоцкий. А содержательность зависит от того, что автор имеет за душой, от его поэтического мироощущения и мировоззрения.

Эти проникновенные слова получают глубокое жизненное подтверждение после знакомства со стихами молодых ленинградских поэтов А. Белова, В. Голубева, Г. Калюжного. Пусть не все еще стихи и строчки написаны безукоризненно. Они поэты жизнью своей. Их поэтические голоса принадлежат не им одним, они говорят от лица своих товарищей по цеху, предприятую, от имени поколения.

Конечно, им тяжело. Нужен не только талант, но и настоящий, твердый характер, чтобы после рабочей смены высидеть еще одну — над рукописью. Хорошо об этом сказал Анатолий Белов:

Опять пишу до самой ночи,
хоть завтра мне вставать чуть свет.
Среди поэтов я — рабочий,
среди рабочих я — поэт.
А между этими словами —
невывразимое пока,
как будто между берегами —
неукротимая река.
И я — речник с немалым стажем —
по зыби «сред» и «четвергов»
мотаюсь малым каботажем
меж двух различных берегов,
И с сердцем, песнями ранним,
дела и строчки торопя,
и тут и там незаменимым
отныне чувствую себя.

И в этой нерасторжимой связи Поэзии и Труда, быть может, самое важное в их творчестве. Поэтам ничего не пришлось домысливать. Их поэтическое видение воспитано самой

социалистической действительностью, выросло из житейского опыта тридцатилетнего человека, тесно переплетено с профессией каждого из них и судьбой.

Юрий Ростовцев

ТЫ РЯДОМ И ЧУТЬ ВПЕРЕДИ

Жила-была девочка. Ходила по ленинградским улицам, смотрела на город сквозь круглое отдышанное пятнышко в морозном окошке троллейбуса. А потом пришел Гусев. Вот так это и было: пришел и обосновался в ее жизни, как в собственной квартире. Девушку звали Ольга. Или так, как ту, что держала в руках журнал с рассказом Аллы Драбкиной. Было это лет десять назад, и уже не помнится, что за журнал.

Потом была книга — «Далеко до апреля». И вот теперь — «Черно-белые улицы»¹, книга, которую не достать в магазине и приходится выпрашивать у более счастливых знакомых, чтобы несколько дней побыть с ней наедине.

Проза Аллы Драбкиной обладает бескорыстностью самого щедрого собеседника. Именно собеседника, а не рассказчика. Остается впечатление, что ты, читатель, выговорился до конца, снял с себя груз долгого молчания, потому что нашелся наконец человек, который выслушал тебя и понял. Понял, но не забрал с собой твои переживания и сомнения, оставив холодящую пустоту, как это зачастую бывает в реальном разговоре, а подарил тебе целый мир, ответил на сотни твоих вопросов. И остался с тобой навсегда, как Гусев.

1

Помните, у Нагибина девочка собирала эхо? Она всем казалась странной, потому что была непохожа на остальных. У Ольги Смирновой, героини повести Радия Погодина «Треньбрень», духовная непохожесть подчеркнута, отгнана чисто внешней — она рыжая, и потому сотни ежедневных мелких и больших случайных и намеренных обид сыплются на ее огненную голову.

¹ А. Драбкина. Черно-белые улицы. Лениздат, 1975.

Прошло время, девочки выросли — и словно шагнули на страницы рассказов и повестей А. Драбкиной. Они по-прежнему вызывают недоумение или злость у окружающих, и по-прежнему цвет их волос отдает рыжинкой.

Необычность человека, его неординарность, непохожесть на других — это тема, к которой обращаются многие писатели. Своим творчеством Алла Драбкина развивает традиции советской литературы, поворачивает тему новыми гранями. Она обнажает корни, истоки духовности своих героинь, и на память невольно приходит рассказ из ее первой книги — «Семеновна».

Только в Польшине, простой русской деревне, где щедрость и доброта не отмеряются на весах недоверия, где ставят на окно зажженную лампу, чтобы путник не сбился с дороги в непогоду, Семеновне будет хорошо и покойно. Здесь она сможет любить всех, и каждый ответит ей взаимностью. Здесь ее будут уважать, как взрослую, и баловать, как ребенка. И говорить ей правду. И из конкретно-бытовых деталей рассказа о деревенской жизни вырастет понятие огромное, позволяющее проникнуть в природу человека — Родина.

Семеновну навсегда увезли из Польшина, теперь она живет в Ленинграде, но так никогда и не сможет привыкнуть к другим меркам человеческого общения.

А потом эта девочка пошла в школу и, переступив порог нового класса, грохнулась на пол, не заметив прибитой рейки. Странная, не от мира сего девочка (об этой рейке знали все, автоматически переступали через нее, она споткнулась, потому что вечно ходила с задранной вверх головой).

А потом девушка, странно, нелепо, безоглядно влюбленная, презирающая все законы, по которым девушке положено вести себя так-то и так-то. Звали ее Васька, потому что иначе она не звучала, хотя было у нее прекрасное имя — Мария. Это уже в рассказе из новой книги — «Васька».

И если Семеновна смотрела на мир в свои шесть лет степенно и рассудительно, то у Васьки глаза были сумасшедшие — это точно! — когда она смотрела на своего любимого, которому была совершенно не нужна. И еще — когда стояла на черном от дождя тротуаре, задрав голову вверх, глядя на его окна. Есть общеизвестное правило, что девушка не должна навязываться со своей любовью, иначе ее не будут уважать. Надо обязательно скрывать свои чувства и гордо отворачивать-

ся при встрече, короче — соблюдать правила игры, которые неизвестно кем и когда придуманы. Но любовь — не шахматы. А что, если не играется в такие игры?! Есть люди, неспособные постичь правила подобных игр, а способные потерять сознание от первого поцелуя. Васька потеряла сознание. Она не могла иначе жить. Не могла не торчать под его окнами, не могла не рассказывать ему о себе — не могла она без него жить. А если бы все было по-другому, то это была бы уже не Васька, а какая-то другая девушка, которая, будучи поставлена в определенные обстоятельства, ведет себя определенным образом. Это не была бы героиня Аллы Драбкиной, потому что норма и стандарт писателя не интересуют.

Стандарт — это всегда вчерашний день, даже в технике — потенциально вчерашний, а в человеческих отношениях — тем более. Если человек определяет себе границы мыслей и чувств, то он никогда не сможет рассмотреть завтрашний день. Ведь завтра обязательно находится за гранью и сегодняшних чувств и мыслей — впереди. Человек, живущий по программе, по инерции окружающей среды, сталкиваясь с непонятным, всегда способен струсить.

Васька, полюбив Андрея, заставила его подняться до себя, понять и оценить красоту человеческого духа — на целый месяц. На один только месяц. А потом все та же инерция «мальчика без фамилии» толкнула его на предательство. И снова только Васька с ее чуткостью и цельностью смогла понять глубину этого предательства. Другая бы сделала вид, что не заметила, подавив неприятный холодок от его неузнающего взгляда. Васька поняла — предал. И поэтому сам Андрей тоже понял. И, может быть, впервые сказал себе правду.

Предателей не прощают. Даже не так. Они просто перестают существовать. Они остаются внизу, как город в иллюминаторе самолета, город, из которого улетаешь навсегда. У струсившего, предавшего человека есть два пути — или утвердиться в своей безликости и ординарности, или, преодолев себя, всю жизнь стремиться к свету, что один раз ударил в глаза. Что выберет Андрей — это его дело. Васьки ему не видеть никогда.

Неслучаен почти во всех произведениях А. Драбкиной образ уходящей женщины. Любимый смотрит ей вслед, пытается догнать взглядом, мыслью, словом — и не может. «Он стоял и смотрел на алое пятнышко там, у леса. Он смотрел, хотел

этого или нет. И хотел этого или нет, но именно там был конец света. Там свет сходилась клином».

Эти девушки, эти женщины сами выбирают себе любимых, не дожидаясь, пока чей-то снисходительный взгляд остановится на них. Они выбирают единожды и навсегда. Откреститься, не заметить эту любовь невозможно, потому что жизнь без нее будет неполноценной. Мужчины понимают это. Вот за это понимание, за возможность быть понятой и выбирают своих любимых героини Драбкиной, интуитивно ощущая с самого первого вдоха, что выбор верен.

В силу своего прекрасного таланта — быть человеком — и Васька, и героиня рассказа «Доживем до апреля», и Таня из «Желтого запаха купав» инстинктивно ищут необыкновенных людей, способных видеть и понимать больше, чем остальные. Но равных все-таки найти не могут. Вот почему они уходят. Они всегда чуть впереди своего любимого.

И только в «Желтом запахе купав» Алла Драбкина рисует встречу равных. Поэтому так светло становится вокруг, когда оказывается, что «он позвонил в тот же день». И хотя так нелегко пробивается Таня к нему сквозь его незнакомую жизнь, незащищенность и глубина ее чувства будят в нем ответный звук радости. И мир становится огромным, потому что впервые появилась у Тани необходимость поделиться, а для этого разомкнуть кольцо своего «я». . . И ночь будет шагать с ними по улицам Ленинграда, охраняя их новый путь.

Прямо скажем, такое случается не часто, и, очевидно, не случайно автором предпослан к рассказу эпиграф из сказки, не случайно вместе со светом в душе появляется грусть и возникает простая трезвая мысль: «Как далеко еще до совершенства». Но в том и сила писателя, что Алла Драбкина знает, как должно быть. Не в смысле скучного моралите, а в смысле отчетливого представления о счастье: когда два человека равны по нравственному потенциалу и идут друг другу навстречу просто, ясно и искренне. Так писатель оказывается «чуть впереди» читателя. «Ты рядом и чуть впереди».

Почему именно любовь? Почему Драбкина так последовательна в раскрытии именно этой темы? Возможно, потому, что любовь — это экзамен, проверка каждого на человечность. А человечность, одухотворенность — самые большие ценности, которые писательница видит в людях.

Повесть «Белый билет» стоит отдельного разговора. Здесь А. Драбкина возвращается к своей теме, но возвращается по спирали — на качественно новой ступени, вскрывая новые жизненные пласты.

... Что такое неудачник? Это когда все вокруг сговорилось против тебя. Мог бы ну просто горы свернуть, но ничего не получается. Планы рушатся, надежды не сбываются, и оказывается, что человек сел не в тот автобус, как Феликс из пьесы Э. Радзинского «104 страницы про любовь». А бывает, что и на тот автобус садится человек, выбирает верную дорогу, а вот пройти ее до конца не может. Как Кулюхин из повести А. Драпкиной «Белый билет».

Кулюхин был художником, молодым, талантливым, подающим надежды, так же как Леша — критиком, молодым, талантливым и т. д. У обоих что-то начало ломаться в жизни, первая слава опьянила голову, оба в результате получили «белый билет». Такой, какой дают в армии калекам. Потому что сейчас, если «потребуется поэта к священной жертве Аполлон», жертвовать ни Кулюхину, ни Леше уже будет нечем. Произошел распад личности, когда все могло бы состояться, но не состоялось. По чьей же вине? Ответ в данном случае однозначен, хотя в жизни и бывают ситуации, где все куда сложнее. И тем не менее графичность выстроенной Драпкиной композиции обнажает суть проблемы.

Человек в современной жизни очень много должен. У него порой просто не хватает времени сесть и написать стихотворение, поэму, роман. А потребность есть. И тогда возникает конфликт человека со своим миром, окружением, — возникает миф об отсутствии условий для творчества, о непонимании таланта и т. д. А суть в том, что не хватило сил писать, рисовать — работать сверх того, что необходимо. А талант — это результат процесса, по органичности схожего с химической реакцией, формула которой: способности плюс работа. Искусство, как любое настоящее дело, не прощает дилетантства, и только если человек способен преодолеть сопротивление, выдержать двойную нагрузку, он состоится и как человек и как художник. Не в этом ли заключается секрет и природа таланта — быть сильнее других людей. Помните: «Кому многое дано, с того многое спросится».

Кулюхин оказался слаб, или, точнее, по выражению самой Драбкиной, недостаточно широкоплеч душой». Мужества не хватило. Сначала — отказаться от дешевой славы, потом — сломать инерцию. Но самое главное — начать работать. Не удалось перешагнуть в себе подленький страх: «В искусстве я переворота не сделаю (так можно себя утешать, и это будет правда), а позориться, начинать все сначала — зачем? Жизнь и так прекрасна».

Прекрасна. Для потребителя любая жизнь будет прекрасна, лишь бы жить, есть, спать, пить. Приговор, окончательный и страшный, произносит Леша: «Если бы ты с самого начала писал «Добро пожаловать!», то я не назвал бы тебя бездельником. Но если человек многое может, но ни черта не делает — он, прости меня, подлец. И оба мы с тобой подлецы. Стрижем купоны с прошлого успеха, а совесть в нас не болит. Мы и начинали-то не бескорыстно, слишком удачно начинали, и продолжали только потому, что нам везло... А ты, брат, белобилетник. Тебя никто не разбудит и не призывает».

И все-таки нашелся человек, который призвал. Катя. Любовью своей, щедростью, честностью и чистотой призвала она Кулюхина. А он сопротивлялся! Всей силой своей инерции, леностью и бездействием — сопротивлялся. Понимал, ценил, знал, чем он владеет, — а трусил, лгал, боялся полюбить во всю силу своей души, которой, казалось, уже и не было. Не вспоминал по неделям, месяцам, потом, очнувшись, уводил или увозил на несколько дней — кидался в нее, как в омут, а Катя!..

Катя училась жить, не только видеть, но и понимать мир. Она приобрела самую большую ценность — свою любовь, поняв раз и навсегда, что она — счастье. Неудачную и несчастливую любовь принято оплакивать, Катя поднимает ее на щит, потому что она — любовь. А, как писал Борис Заходер, «не бывает любви несчастной».

Так полно ощущать жизнь дано большинству героинь Драбкиной. Мгновенно полностью раствориться в своем чувстве — тоже им. «Я люблю вас» — первой, под проливным дождем, звенящим от счастья голосом, наперекор всем устоявшимся догмам.

Они, правда, и страдают острее и больше других. Потому что не знают полумер чувств и не закрывают свои души на замки, когда идет беда — неважно, своя или чужая.

И этот нерв, который натянут в каждом слове — через всю книгу «Черно-белые улицы», — вызывает в читателе ответную боль и муки совести за то, что не каждый день ты делаешь шаг вперед, навстречу людям и самому себе.

Но хочется верить, «что все только начиналось, начиналось по-новому, с чистого, белого, как новогодний снег, листа. И на этом листе следовало написать только набело, без ошибок, новые слова и новые поступки, новую жизнь, которая еще впереди».

Эту веру дает Алла Драбкина.

Наталья Куранцева

СОДЕРЖАНИЕ

С. Дроздов.	Слово о «Кировце». <i>Стихи</i>	5
В. Хвощевский.	Кораблик. <i>Повесть</i>	10
Н. Гуревич.	Проектировщики БАМа. <i>Стихи</i>	82
Н. Гранцева.	«В тяжелой чаше пламя ярко светит...», «В ту ночь, когда над городом неслышным...», Гроза. <i>Стихи</i>	85
В. Скородумов.	«Броненосец «Потемкин», Страх. <i>Рассказы</i>	87
В. Голубев.	Парламентер, Снегурочка. <i>Стихи</i>	105
И. Пономаренко.	«За фермой, где...», «Всю ночь над городом мело...». <i>Стихи</i>	107
Д. Куваева.	Алешка. <i>Рассказ</i>	109
В. Шалыт.	У моря Белого. <i>Стихи</i>	115
Т. Жиркова.	Кара-Богаз-Гол. Критическая точка. <i>Рассказы</i>	116
В. Менухов.	«Светит солнышко...», «О чем задумалась, бере-за...». <i>Стихи</i>	138
Ю. Афанасьев.	Каскер, или шаги по пустыне. <i>Рассказ</i>	139
А. Беляков.	«Мы не пара...», «Шлепает дождик...», «Разговоры льются...». <i>Стихи</i>	147
А. Белинский.	Повесть не о войне.	149
А. Миях.	«Солдат, я стол хочу накрыть...», «Была веселая работа...». <i>Стихи</i>	234
А. Рассказов.	«Не за горами время листопада...», Ванька, «Надоело. Выболело. Хватит...». <i>Стихи</i>	236
Е. Барановская.	Я мечтаю о третьем ребенке! <i>Рассказ</i>	238
В. Мельников.	«Пропасть в просторе...», «Хрестоматийная свеча...», Январь, 74. <i>Стихи</i>	241
Д. Макарова.	Анкета для незамужних, Ссора. <i>Рассказы</i>	243
Г. Букалова.	«В Москве есть тоже острова...», «Не за то на меня беды сыплются...», «А когда все было чистым...». <i>Стихи</i>	274
Д. Николаев.	Кусок поля. <i>Рассказ</i>	276
А. Жульков.	«Вскрикнет птица запоздалая...», Кузнецы. <i>Стихи</i>	283
Б. Белоголовый.	Кутька. <i>Рассказ</i>	284
В. Бобрецов.	Восстанавливаю себя, Романс о вокзалах, «Твои глаза с его глазами встретились...». <i>Стихи</i>	292
Н. Линко.	Все чужое. <i>Рассказ</i>	294
В. Петруничев.	«Тишина...», «Беседую с прозрачными ключами...», «Рудой богато было Рудино...». <i>Стихи</i>	306

Л. Сидоровская.	«Листва на землю сброшена...». <i>Стихи</i> . . .	308
Э. Кундышева.	Двое в деревне. <i>Рассказ</i> . . .	309
Г. Калюжный.	Рожденный день. <i>Стихи</i> . . .	320
П. Железнов.	Макс и Валентин. <i>Рассказ</i> . . .	327
Б. Краснов.	«Лес вечерний оглашая...». <i>Стихи</i> . . .	349
Н. Ивасенко.	Чайки на огороде. <i>Рассказ</i> . . .	350
А. Красавин.	Жаворонок. <i>Стихи</i> . . .	363
Л. Замятин.	Спасибо тебе, Папаус! <i>Рассказ</i> . . .	364
Е. Александров.	«Не разбитое корыто...», «Гордость — радуга над речкой...», «Лес не лекарь, не волшебник...». <i>Стихи</i> . . .	373
Ф. Васильев.	Ананасный арбуз. <i>Рассказ</i> . . .	375
П. Першин.	«Вам приходилось отставать...». <i>Стихи</i> . . .	379
С. Хольнов.	«Трещит костер...». <i>Стихи</i> . . .	380
В. Романов.	Василий Кузьмич и погода. <i>Рассказ</i> . . .	381
Е. Пудовкина.	Осенний сонет, «Может — леший, может — бро- дяга...». <i>Стихи</i> . . .	383
В. Нестеровский.	Ковш медвежий. <i>Стихи</i> . . .	384
Г. Дединский.	Перед уходом. <i>Юмористический рассказ</i> . . .	385
Л. Хаустов.	Читая классиков. <i>Продолжение «Разговора с мо- лодыми»</i> . . .	388

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Н. Сотников.	Деревенская тема в творчестве молодых ленин- градских поэтов . . .	399
Ю. Ростовцев.	Так начинают жить стихом . . .	414
Н. Курапцева.	Ты рядом и чуть впереди . . .	423

Альманах

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1976 г. 432 стр. План выпуска 1976 г. № 32. Редактор *П. И. Кочурин*. Художники *Л. Г. Епифанов, Ж. В. Ефимовский, Н. А. Нефедов, Ю. М. Шабанов, В. Н. Шульга*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*. Техн. редактор *Л. П. Полякова*. Корректор *Н. В. Яковлева*. Сдано в набор 28/V 1976 г. Подписано к печати 28/X 1976 г. М 29270. Формат 60×84¹/₈. Бумага тип. № 3. Печ. л. 27,0. Усл. печ. л. 25,11. Уч.-изд. л. 23,04. Тираж 30 000 экз. Заказ № 649. Цена 91 коп. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3